

Литературный альманах **ДчП**

ДО И ПОСЛЕ



2012 **16**

ДО И ПОСЛЕ

Литературный альманах

Д и П

№ 16

Берлин 2012

Редакционная коллегия:

ЛЕОНИД БЕРДИЧЕВСКИЙ
(главный редактор),

ГЕНРИЕТТА ЛЯХОВИЦКАЯ,

КАРЛ АБРАГАМ,

ДАВИД ЯНОВСКИЙ

Компьютерная вёрстка
и оформление

И. МАЛКИЭЛЯ

Альманах иллюстрирован
работами
Бруно Шульца
(см. статью на странице 226)

ISBN 978-3-926652-29-4

*Произведения, представленные
на страницах Альманаха
публикуются в Берлине впервые*

*Рукописи не возвращаются
и не рецензируются,
права авторов сохранены.
При перепечатке ссылка
на Альманах обязательна.*

Conrad Citydruck
Uhlandstrasse 147,
10719 Berlin – Wilmersdorf
Tel (030)885 23 51



*Der Klub der Literatur und Kunst, bedankt
sich ganz herzlich beim Vorstand der
Jüdischen Gemeinde zu Berlin, für die
Unterstützung zu der Herausgabe des
literarischen Almanachs «Do i poßle» Nr. 16.*

Berlin 2012

ВОСТРЕБОВАНО ВРЕМЕНЕМ

Новый, шестнадцатый по счёту, альманах можно определить как «пост - юбилейный». В предисловии к предыдущему коротко рассказана история появления и развития альманаха «До и после» и, мельком, упомянут берлинский «Клуб литературы и искусства», которому в канун 2012 года исполнилось пятнадцать лет.

При его создании инициативная группа разработала «Положение о клубе». В нём определялись задачи клуба, прежде всего – облегчение интеграции еврейских иммигрантов, оказавшихся на грани двух миров – прежнего и нового – ДО и ПОСЛЕ эмиграции из СССР; привлечение литературно, художественно, музыкально одарённых иммигрантов для включения их творчества в русло живого литературного и общекультурного процесса. Планировались: систематические еженедельные встречи, на которых предполагалось обсуждение новых литературных произведений членов клуба, повышение писательского мастерства, отбор наиболее интересных работ для их издания в ежегодных итоговых альманахах; организация творческих литературно-музыкальных вечеров и художественных выставок. Оценивая результаты прошедших пятнадцати лет, можно, пожалуй, сказать, что намеченное в значительной степени удалось осуществить.

За 15 лет состоялось более шестисот клубных встреч. Это почти 1300 часов слушаний и обсуждений тех произведений, которые представлялись авторами на заседаниях. В это число не вошли бессчётные часы, затраченные вне рамок клубных встреч на индивидуальную работу с авторами; на организацию презентаций альманахов и отдельных сборников, а также тематических (нередко связанных с еврейской тематикой) литературно-музыкальных общих и персональных творческих вечеров членов

клуба и некоторого количества выставок и выездных выступлений. Но даже такая статистика не учитывает огромную работу по составлению и подготовке к печати ежегодных альманахов и трёх отдельных тематических сборников: «Еврейские мотивы в произведениях современных берлинских авторов» и два издания «Скрипач из гетто» со стихами еврейских поэтов, впервые переведенными членами клуба на русский язык. Небольшая выборная редколлегия училась «без отрыва от собственного творчества» всему тому, что обычно осуществляется профессиональными редакциями издательств (отбор произведений, редаKTура, многократная корреKTура, компьютерная вёрстка, художественное оформление и т.д.).

Все эти труды оказались не напрасными. На торжественном праздновании юбилея клуба было отмечено, что ежегодное издание альманаха на протяжении пятнадцати лет – беспрецедентное явление в современной русскоязычной эмигрантской литературе Германии. Альманах, словно связующий мост между современной жизнью еврейских иммигрантов и рассказанной ими историей жизни предыдущих поколений, сохраняет для будущего живую память о них.

Произведения членов клуба публикуются в еженедельниках, журналах и антологиях Германии, Израиля, России и других стран. В 2009, в Москве вышел литературный сборник «Антология российских писателей Европы». Есть там и имена авторов альманаха «До и после». В аннотации сказано: «В книге собраны произведения писателей, живущих в Европе, пишущих на русском языке, наиболее характерно представляющих развитие русской художественной мысли за рубежом».

Результаты деятельности клуба, материализованные в 18 книгах, оказались востребованными, иногда – неожиданно. К примеру, в марте 2006 было получено письмо из Государственной библиотеки Берлина. Туда случайно попал один из альманахов, и библиотека запросила, приобрела и продолжает приобретать не только все альманахи и сборники, но и книги авторов – членов клуба. Издания клуба широко разошлись по еврейским общинам Германии. Их можно найти в Российских национальных библиотеках и в Центрах еврейской культуры Москвы и Петербурга, Иерусалима и Тель-Авива, Украины, Франции...

Итак, юбилей состоялся, отзвучали поздравительные речи, оценены результаты пятнадцатилетних трудов.

Все эти годы альманахи (кроме первого) выходили при спон-

сорском содействии Центрального благотворительного фонда евреев Германии. С апреля 2012 клуб перешёл под патронат Еврейской общины Берлина (председатель – др. Гидеон Йоффе). Деятельность клуба не прервалась, получив поддержку со стороны нового руководства общины. Благодаря этой поддержке появился шестнадцатый альманах, и мы верим, что многолетняя традиция сохранится и впредь.

ZEITGEMÄß ANGEFORDERT

Den neuen, sechzehnten Almanach kann man als Postjubiläum betrachten. Im Vorwort zum vorherigen Almanach wurde ganz kurz die Geschichte der Erscheinung und Entwicklung des Almanachs «Vordem und nachdem» («До и после») geschildert und weniger wurde der «Klub der Literatur und Kunst» erwähnt, der kurz vor 2012 fünfzehn Jahre seiner Existenz feierte.

Bei seiner Gründung hat eine Gruppe von Enthusiasten den Vereinsstatut des Klubs erarbeitet. Dabei wurden Aufgaben des Klubs aufgezählt, vor allem Erleichterung der Integration der jüdischen Emigranten aus der UdSSR, die am Rande der zwei Welten (der Vergangenheit und der Zukunft «До и после» dahinleben. Die nächste Aufgabe des Klubs – begabte Emigranten (Literaten, Musiker, Künstler) heranzuziehen, um ihr Schaffen in den normalen Lauf der lebendigen Literatur und in den allgemeinkulturellen Prozess einzu beziehen. Es wurden systematische wöchentliche Treffen vorgesehen, wo voraussichtlich neue literarische Werke der Mitglieder des Klubs besprochen werden sollten. Dadurch sollte die Qualität der literarischen Meisterschaft verbessert werden. Dabei wurden die besten, interessantesten literarischen Werke für den Druck im Almanach empfohlen, der einmal im Jahr herausgegeben wird. Außerdem wurden schöpferische literarisch-musikalische Abende und Gemäldeausstellungen geplant.

Wenn wir heute, alles was vorgenommen wurde, bewerten, kann man feststellen, dass der größte Teil dieser Aufgaben erfüllt ist.

In den 15 Jahren fanden mehr als sechshundert Begegnungen der Klubmitglieder statt. Das sind fast 1300 Stunden, in denen Autoren ihre Werke gelesen haben, die dann von den Zuhörern besprochen

wurden. Hier muß man auch die unzählbaren Arbeitsstunden, die die Mitglieder und Verfasser bei gemeinsamer individueller Arbeit verbrachten erwähnen. Die Vorbereitung der Präsentationen der jährlichen Almanache und verschiedener Sammelbänder, nahm viel Zeit in Anspruch. Man hat sich Mühe gegeben themagebundene (darunter auch jüdische Thematik) literarisch-musikalische (allgemeine und persönliche) schöpferische Abende zu organisieren. Es wurden einige Ausstellungen veranstaltet und auswärtige Sitzungen abgehalten.

Auch solch eine Statistik gibt nur eine sehr geringe Vorstellung über das Ausmaß der gesamten Arbeit bei der Vorbereitung zum Druck der jährlichen Almanache und der drei themagebundenen Sammelbände: «Jüdische Motive in Werken der gegenwärtigen Berliner Literaten» und zwei Ausgaben des Buches «Der Geiger des Gettos». Es sind jüdische Dichter, deren Gedichte zum ersten Mal von Klubmitgliedern in russische Sprache übersetzt wurden. Ein kleines Redaktionskollegium hat dabei «berufsbegleitend» selber gelernt: Manuskripte der Klubmitglieder lesen und auszuwählen, korrigieren, redigieren, mit dem PC umgehen, gestalten – alles was dazu gehört, was normalerweise Fachleute in jeder Redaktion tun.

Diese Arbeit ist keine vergeudete Zeit. Bei der feierlichen Sitzung zum Jubiläum des Klubs wurde betont, dass die jährliche Herausgabe des Almanachs, im Laufe der letzten 15 Jahre, ein einmaliges Ereignis in der gegenwärtigen russischsprachigen Literatur Deutschlands ist. Der Almanach verbindet das heutige Leben der jüdischen Emigranten wie eine Brücke zur Geschichte der vorherigen Generationen, die von den Autoren des Almanachs überliefert wurde. Und es bleibt im guten Andenken der kommenden Generationen.

Die Werke der Klubmitglieder werden in Wochenschriften, Zeitschriften und Anthologien in Deutschland, Israel, Rußland und in anderen Staaten veröffentlicht. Im Jahr 2009 erschien in Moskau ein literarischer Band unter dem Titel: «Anthologie russischer Schriftsteller Europas». Dort findet man auch Namen von Autoren des Almanachs «Vordem und nachdem» («До и после»). In der Annotation des Bandes steht: «In diesem Buch sind ausgewählte Werke russischer Schriftsteller vorgestellt, die in Europa leben und am besten und ausdrucksvoll die schöne Literatur im Ausland vertreten».

Die häufige, manchmal auch unerwartete Nachfrage der 18 Bücher ist das Ergebnis der schöpferischen Arbeit der Klubmitglieder. Ein Beispiel: Es kam eine Anfrage von der staatlichen Bibliothek Berlin, die zufällig einen Almanach (von den fünfzehn) erworben hatte. Es wurde gebeten ihnen jeden nächsten Almanach, jeden Sammel-

band zuzuschicken. Auch eigene, selbstverfasste Bücher der Klubmitglieder wurden gefragt.

Viele jüdische Gemeinden Deutschlands haben unsere Almanache erworben. Man kann sie auch in russischen Bibliotheken und in Zentren jüdischer Kultur in Moskau, Petersburg, Tel-Aviv und Jerusalem, in der Ukraine und Frankreich entdecken.

Das Jubeläum gehört schon zu der Vergangenheit. Man hörte dabei viele Glückwünsche. Es wurden die Leistungen der fünfzehnjährigen Arbeit bewertet.

All diese Jahre wurde der Almanach von der Zentralen Wohlfahrtsstelle (ZWST) der Juden in Deutschland finanziell unterstützt. Ab April 2012 steht der Klub unter der Schirmherrschaft der jüdischen Gemeinde zu Berlin (Vorsitzender Dr. Gideon Joffe). Die Tätigkeit des Klubs ist somit nicht unterbrochen. Dank der Unterstützung durch den neuen Vorstand der Gemeinde, halten sie jetzt den Almanach Nr.16 in der Hand. Wir sind fest davon überzeugt, dass die vieljährige Tradition des Klubs und dessen Werk fortgesetzt wird.



Марина Авербух

ДАР БОЖИЙ

Как будто только что

У меня на письменном, а заодно и конторском столе, между компьютером и настольной лампой, в старинной бронзовой рамке, стоит большая цветная фотография. Группа знакомых и близких мне людей окружает пожилую женщину, странно одетую в какой-то полубольничный балахон-куртку-халат скучного больничного бесцветья. Она полулежит в широком кресле и, не смотря на в целом бездарное одеяние, явно довольна жизнью и окружением.

Ближе всего к этой женщине находится беленькая девчушка лет четырёх-пяти (на самом деле четырёх лет, восьми месяцев и трёх дней). Девочка ласково прижимается к бедру дамы и явно ласкает её руку, поглаживающую, в свою очередь, кудряшки девочки.

Сбоку, сзади девочки, стоит мило улыбающаяся молодая, двадцати пяти лет, очень схожая с девочкой – скорее, это мать девчушки. Именно мать! и никто иной. Дальше идёт – то есть стоит! – совсем молодой ещё мужчина, папа девочки. Увы, это всё-таки отчим! А справа от дамы – врач-профессор – потому и в белом халате. И неплохо ещё выглядящий мужчина весьма позитивного характера. Это, конечно, мой Сева. Вы с ним позже познакомитесь.

Всем, явно, весело, так как только что закончилась долгая и не всегда радостная семейная история, о которой и пойдёт речь.

Сейчас

Клавдия не знала, как долго она пробыла в этом тёмном и липком забытьи. Кто-то звонил в дверь. Вовсю трезвонили оба телефона – хэнди и комнатный, что торчал на базе около подушки.

Но, слыша всё, она не реагировала ни на что. Как будто она была вне реальности, вне внешнего времени. Часовые стрелки и тиканье часов проходили для неё с иной, не с общемировой, а с её – особой скоростью. Не большей и не меньшей, но с особой. Словно и само время было иным.

По голове неприятно-ласково двигались, как-то постоянно извиваясь, тяжёлые щупальца: они то быстро и гладко проскальзывали с одной позиции на другую – то слева направо, то со лба на затылок, а то застывали на избранных ими же местах и совершали что-то ей непонятное, но явно ей ненужное, и тем неприятно-непонятное. Да и понимать не хотелось.

И вот, то ли по прошествии всех этих смутных и не очень уж торопких манипуляций, то ли по указанию свыше, в голове возникло *осознание*: «Это была Я!».

Клавдия, поняв это, мгновенно испугалась сама и тут же испугалась мгновенно возникшего вопроса: «Что со мною? Почему так темно?»

И ВСЁ вдруг вспомнилось! И пришли и Боль, и Горе. «Нет моего Петеньки! Больше нет и совсем, совсем и никогда, не б-уд-е-т! Такой умненький, красивый и такой сильный, и такой весёлый! Какая-то грязная, вонючая, газовая гангрена оказалась сильнее. Сильнее всех.

И сестёр, и профессоров, сильнее всей медицины. И не в древние времена, не в окопах на войне, не в заброшенных кавказских пещерах, а вот тут и сейчас, в 21-м веке, при живых и матери, и отце. Вот так просто взять, где-то по-глупому заразиться. Взять и у-м-е-р-е-т-ь... О-о-о!!!

Просто, как по прописи медицинского учебника – в три дня и три мучительные ночи.

Как ей, осиротевшей матери, жить дальше? Да и надо ли ей жить, если её Пети не будет больше рядом. Зачем она вернулась из своего беспамятства, из этого плотного небытия и мёртвого покоя!?»

Июньская ночь цвета серого жемчуга распласталась над Москвой, над опустевшим домом Клавдии–Патриции, и над каталкой в морге, где лежало уже неживое и полностью холодное тело сына.

Одна-одинёшенька. «На всём белом свете одна как пушинка» – вспомнила Клавдия напевные причитания бабушки, оплакивавшей своего мужа.

И тут же почувствовала мягкое и тёплое касание своей сия-

мочки, мягко вспрыгнувшей на кровать и примостившейся у изголовья. «Ах ты бедная и терпеливая умница. Прости, я совсем позабыла о тебе. Еда-то твоя вся вышла. А ты молчишь, терпишь. Всё понимаешь, как всегда...»

Семь лет тому

Семь лет тому назад Петя принёс сиамскую кошечку странного голубоватого оттенка. И с такими же, но более яркими, практически синими, глазами. «Это тебе в подарок! Редкость – отчаянная. Наверно, поэтому и умница: всё понимает, всё излечивает. Эта кошечка жила ранее в полуголодной семье, поэтому и сама стала «плохеть»: вон – шерстка потускнела и свалялась как-то неряшливо. Но у нас она выправится. Я на тебя надеюсь. Ты с ней найдёшь общий язык! Давай, назовём её: «БЕТСИ!» Я читал такой «клёвый» американский роман. Он так и называется – «Бетси». Красивое женское имя, не так ли?!»

Через месяц новой семейной жизни Бетси – имя к ней так и приклеилось, и ей самой, по-видимому, нравилось. Кошечка отъелась, рёбрышки покрылись лёгким жирком, она похорошела и весело носилась по «своей» квартире. Бетси быстро поняла, что ей можно – дозволяется почти всё, что она пожелает. А на то, что ей категорически воспрещалось, самую-то малость, она и не обращала внимания...

Сейчас

«А ведь ты, Бетси, осиротела! Понимаешь ведь! Обе мы с тобой сироты...»

Бетси внимательно глядела в глаза своей хозяйке – а скорее самой любимой из многочисленного человеческого народа, тоже достаточно древнего и не менее умудрённого, чем кошачье племя. Слегка сочувственно мурлыкала, почти неслышно перекатывая воздушные шарики через своё горлышко, и ждала новой команды, уверенная, что после грустных, обращённых именно к ней за особым, именно кошачьим, советом, слов воспоследует какое-нибудь лакомство.

Вот что значит существовать с малых лет не на коммунальной кухне, а в дорогой гостинной самой правильной для кошки семьи.

«Пойдем-ка, полистаем вдвоём наши фотографии». Взяв с

полки, самый левый из ряда фотоальбомов, Клавдия начала с первого листа перекладывать плотные страницы с вклеенными в них фотографиями. Указывая Бетси на самые большие и интересные из них; а есть ли в семейных альбомах ненужные или малоинтересные страницы, о которых ничего уж, и сказать нельзя внимательной и сочувствующей подруге?: «Вот это я – совсем маленькая. Примерно с тебя размером. Узнаёшь? Вряд ли. Тогда тебя ещё и самой-то не было, да и родителей твоих, да и деда с бабушкой, скорее всего. А вот – я в школе. Обрати внимание – это город Рим – «вечный город». Москва для него что пра-пра-правнучка. Вот я – дочка Советника Российского Посла в Италии, учусь в школе при нашем Посольстве. Вот Мама – знающая шесть языков – переводчица в том же советском Посольстве. А ты сколько знаешь? Только Мур-Мур и Миаоу??? Правда, у тебя говорят и уши, и хвост! Но мне больше нравится твоя говорящая спинка.

Если тебе кто-то по душе, ты именно спинкой всю свою любовь объясняешь. А ежели рассердишься, то тут спинка с хвостом и ушами вместе так разговаривают, что только круглая дура тебя не поймёт, ну а дураку ты уже лапой, вооружённой коготками, договоришь, что надо! Жалко, что в Италии у меня не было ни кошки, ни человеческой подруги. Знакомых – хоть пруд пруди.

Все хотели дружить с дочкой господина Советника... Но Мама мне объяснила, что я должна уметь хранить Советские Тайны, и поэтому дружба с иностранными детьми не поощрялась! При переводе на нам с тобою понятный язык – категорически запрещалась! Поэтому мы – Папа, Мама и Я – их маленькая дочка Патрисия-Клаудиа – всегда отдыхали, как говорили, в узком семейном кругу, и внутри этого круга не допускали никого чужого.

Кстати, имя моё придумал сам Папа – он всегда что-нибудь придумывал. Мама говорила, что у него так устроена голова – всегда что-то новенькое придумывать. Иногда по несколько раз в один день! Когда я была совсем маленькой, то часто, сидя на его коленях, потихонечку щупала его умную и красивую голову – вдруг обнаружу это секретное устройство для выдумывания. Но так и не нашла, настолько оно сильно было засекречено от иностранных шпионов.

Я всегда так правильно понимала свою Маму – как женщина женщину: «Нельзя было не полюбить такого обаятельного Мужчину, каким был мой Папа! Настоящий «МАЧО»! Высокий – Мама с трудом, и то на высоких шпильках, доставала головой до его плеча. Ловкий, спортивный, ВСЁ знающий и ВСЁ умеющий! Все-

то книги ОН прочитал, и о каждой так рассказывает, что хочется тут же побежать за нею в библиотеку. А как он в карты играл – азартно и добро, без обид на проигрыш и без шумных, и поэтому обидных для проигравших, восторгов.

Это, наверное, о таких людях говорили: «Характер нордический, выдержанный». А руки у него были золотые и платиновые – ну просто драгоценные. Сильные, ловкие, всё умеющие – вот именно он, а не какая-то мифическая Некрасовская «женщина из русского селенья» на моих глазах останавливал на скаку не в меру резвившегося коня.

И здоровый жеребец, чемпион нашего Посольства, утихомиранный моим Папой, шёл за ним, как мальчишка-жеребёнок!.. Когда у меня начинались каникулы в школе, Папу отпускали с работы в отпуск, и мы всей семьёй ездили кататься на горных или водных лыжах. Не знаю, понравился бы тебе наш отдых – вы, кошки, воды не любите, да и снега морозного тоже не очень, так что ты и не завидуй моему счастливому детству. Тем более что почти всегда мы заканчивали мои каникулы в нашей московской квартире – в доме, построенном Министерством Иностранных Дел.

В этой квартире у меня были своя комната, своя кровать, свой диванчик, который смотрел на мой же телевизор. Был даже свой маленький бильярд. Вот ты бы наигралась, катая маленькие стальные шарики от лузы к лузе.

А после пятого класса я насовсем переехала в Москву, и с тех пор всё время живу в одной и той же квартире. А почему насовсем переехала – это долгие годы тоже была «Государственная Тайна»! Я только тебе, моя Бетси, и расскажу. Расскажу только то, что сама видела и в чём сама участвовала. Ну и то, что рассказал мне Папа и велел никому (из людей, разумеется) не рассказывать. И в письмах не описывать. И лучше вообще не вспоминать – как будто этого как бы и не было. Чтобы совсем позабыть, что меня, маленькую девочку, – УКРАЛИ иностранные шпионы! Украли не понарошку, чтобы, может, испугать или что нехорошее сделать, а для того, чтобы спасти своего – забравшегося к нам, в советское Посольство, и там затаившегося, американского ШПИОНА!!!

А я случайно его РАЗОБЛАЧИЛА. Позже я узнала, что русское слово «разоблачить» означает «раздеть» или «снять облачение» – это церковная одежда священника в церкви. Она всегда очень красивая, хотя поэтому очень тяжёлая и, наверно, дорогая. А в «Политике» – «разоблачить» – всё наоборот – догадаться, кто

прячется в какой-то одежде, и узнать, даже не снимая его одежды, кто он на самом деле, а потом его надо будет «облачить» в стальные и блестящие наручники.

Но случилось это не сразу».

Лет двадцать пять назад

«Вначале, когда я была совсем маленькой и не ходила ни в школу, ни в детский сад, я иногда ночевала у Папы на работе. Наверное, это тоже не разрешается обычно, как я теперь, став взрослой и немножко старой, понимаю. Но у Папы были «особые» или, ещё их называют – «чрезвычайные» – обстоятельства. Мама в это время была в особой командировке, и меня некому было из ответственных людей укладывать спать в нашей посольской квартире. Поэтому Папе разрешили во время ночных дежурств на работе держать в своей комнате меня. Папа, укладывая меня спать на большой (огромный, если сказать правду) кожаный старинный диван. Сам же он ночью сидел за своим письменным столом или обходил Посольство: заходил в телефонную комнату или куда ещё надо. Я привыкла быстро засыпать и могла проспать до самого завтрака без передышки.

Но в эту ночь, когда я увидела шпиона, я проснулась почему-то сама и тихо лежала с открытыми глазами. Слышала, как какой-то мужчина в тёмном костюме открыл дверь папиного кабинета, включил маленький узко-лучевой фонарик и стал тыкать лучом по книжным полкам, потом добрался до стола. Этот лучик чуть-чуть освещал и самого человека. Незнакомец как-то странно двигался – бесшумно и какими-то необычными шагами – словно у него одна нога всё время была прямая и поэтому казалась очень длинной – как у клоуна в цирке.

Лучик света из фонарика пробежался по папиному столу, как будто порывлся в папиных бумагах. А папа будет потом этим доволен? Сомневаюсь. Потом проскочил к несгораемому сейфу – это такой железный шкаф для самых секретных бумаг. Недолго там попрыгал и вдруг повернул к моему дивану. Я тут же закрыла глазки, и как бы по-настоящему заснула. Луч упёрся в моё, наверно – зажмурившееся, лицо. Я лежала как крепко спящая девочка – тихо дыша, не шевелясь. Мне показалось, что чужое мужское лицо приблизилось к моему, но я его не видела, хотя слышала запах чужого мужчины: женщины всегда сладко пахнут духами, а мужчины почти всегда табаком, таким про-

тивным. Только мой Папа, который курил какие-то особенные сигары, всегда был приятным на запах. Но чужое лицо отодвинулось, потом прошуршали шаги от дивана, и дверь папиного кабинета, тихонько звякнув язычком замка, вновь закрылась. Я долго боялась открыть глаза и тем более встать с дивана. Так и заснула. А потом пришёл Папа.

Уже кончалась ночь, но день ещё не проснулся. Всё было серо и скучно.

Поцеловав Папу, я без слов мгновенно уснула и проспала, как мне потом сказали, до самого обеда. Наверное, я по-настоящему испугалась ночного посетителя и должна была во сне вылечиться от этого страха. А потом приехала из Москвы Мама, и я уже спала в своей домашней комнатке и всё, всё, всё как бы забылось. Я даже Папе забыла обо всём приключившемся рассказать. Может, всё-таки боялась вспоминать.

Прошли годы. Много, много. Лет пять, наверное. Я стала большая. Ходила в школу. Учила иностранные языки. И итальянский, и английский, ну и, конечно, русский – и грамматику, и литературу. Нам литературу преподавала очень старенькая графиня – она была раньше революционеркой, а потом разведчицей и знала всё и обо всём. Имя только у неё было очень странное – Леокадия Трифоновна.

И однажды, в летние каникулы, когда мы с Мамой и Папой ездили на море в Плаза-ди-Диезо, на нашем пляже я увидела странного мужчину – не очень молодого, но и не старого ещё.

Он только что вышел из воды и пошёл в нашу сторону – и вдруг я страшно испугалась: он шел, странно хромая: одна нога двигалась нормально, как у всех мужчин, а другая – как у циркового клоуна – не сгибалась и как бы выстреливалась немного вперёд.

Наверное, со мной что-то произошло особенное, потому что мама вдруг стала мне протирать лобик мокрым полотенцем, а я, сидевшая только что с биноклем, вдруг оказалась лежащей на матрасике. Когда же я перескочила на него?

Мама щупала мне пульс (нас в школе учили, как это делать) и звала скорее Папу, а Папа был почти у воды и тихо разговаривал о чём-то с – вы не догадаетесь – с этим хромым мужчиной. Потом они разошлись, и Папа вернулся к нам.

Мама спросила его о хроме. Им оказался давний сослуживец, который теперь работает в какой-то американской фирме. Только дома я позвала Папу (без Мамы!) к себе в комнату и впер-

вые подробно рассказала о своей «сонной» истории. Папа сразу погрузился и стал вдруг спешно собираться в Посольство.

А на следующий день меня украла!!!

Моё похищение было организовано, как в лучшем американском фильме.

Я обкатывала новый, почти взрослый «велик». Упивалась новой скоростью и не заметила, как «совершила наезд» на чёрный автомобиль. Откуда тот вынырнул и так ловко подставился багажником под мой велосипед, да так, что я почти нырнула под колёса этого чёрного автомобиля.

Слава Богу, колёса уже стояли неподвижно, а я, тоже неподвижно, улеглась прямо около них.

А тут и «скорая помощь» как бы случайно «вынырнула из кустов». Два санитары (а может их было больше?) выскочили и, меня даже не осмотрев, в обнимочку, как кулёк, положили на раскладушку внутри санитарной машины.

Ехали – ехали и остановились в каком-то парке.

Я давно уже освоилась в машине и с удивлением знакомясь с новым миром.

Меня ещё ни разу не забирали в карету скорой помощи. Но потом мне поднесли к носу сильно надушенную ватку. Всё потемнело, и я скоро – так мне показалось! – проснулась.

Тёмная и незнакомая комната. Я лежу на диване, под тёплым мохнатым одеялом. Зову Маму. Никто не отвечает. Зову Папу – тоже тихо. Открывается дверь и входит... Вот тут-то я по-настоящему (как на пляже!) испугалась... Как тогда, у Папы в кабинете, входит в комнату тот самый, странно хромающий человек... Не включая свет, он подошёл ко мне, поднёс телефонную трубку и хрипло сказал: «Не бойся! Поговори с Папой и скажи, что у тебя всё в порядке, ничего не болит... Потом я с ним поговорю... И не бойся ничего, скоро дома будешь...»

Так и получилось.

А потом мы с Мамой быстро собрались и уехали в Москву – навсегда!!!

Уехали мы тоже непросто. Не уехали, а улетели на военном самолёте! Мы с Мамой летели одни, сидя вдвоём на узкой скамейке совершенно пустого транспортного самолёта. Прилетел этот самолёт на военный аэродром, и оттуда нас доставили домой. Больше я в Италии не была.

А в Москве я поступила в советскую школу, и в ней проучилась до самого аттестата зрелости. Стала пионеркой, а через не-

сколько лет – комсомолкой, была даже пионервожатой в одном из четвёртых классов нашей же школы. И однажды, возвратившись домой, (а я всё время уже жила только с Бабушкой, так как Мама сразу же после нашего побега – вылета из Рима опять вернулась на свою работу в Посольство в Италии), я застаю у нас большую и непривычную компанию.

За нашим огромным, ещё оставшимся от бабушки, обеденным столом, на котором сейчас были только водка и рюмки. Две рюмки с водкой были накрыты ломтиками чёрного хлеба, сидела Бабушка. Почему-то в чёрном платке. Сидело ещё трое почти незнакомых мне посольских папиных сослуживцев. Двоих я помню – они встречали нас с Мамой на военном аэродроме, а женщину я видела впервые.

И бабушка, и эта женщина сидели заплаканные и молчаливые. Около рюмок с водкой лежала фотография Папы и Мамы, внутри красивой машины «Феррари». Машина была ярко-красная, а Папа и Мама весело смеялись и махали нам руками. А кругом были невысокие итальянские горы.

Когда я присела за стол, женщина достала из папки какую-то важную и красивую бумагу и прочла печально и торжественно: «Указ о присвоении звания Героя Советского Союза моему Папе и о присуждении Ордена трудового Красного Знамени Маме». А в самом конце было добавлено – ПОСМЕРТНО!

Бабушка стала плакать. Я, ещё никак не освоившись, хотела задать глупейший вопрос: «А где Папа и Мама и что с ними?», но вдруг всё сама поняла до самого страшного КОНЦА и, плача, выбежала из-за стола.

Уже много месяцев спустя я узнала о деталях трагедии, случившейся в горах южной Италии. То ли трагедии, то ли тщательно выполненного политического убийства. Разведчик, как и минёр, ошибается только один раз. Если, конечно, он не успеет скрыть следы своей ошибки. И одним из способов сокрытия ошибки служит уничтожение разоблачителя.

Последняя поездка моих родителей в гористую южную Италию была, очевидно, прикрытием какой-то очередной спецоперации. А красный «Феррари» был их «прикрытием».

По практически пустой горной дороге машина лихо преодолела виток серпантина за витком. Недалеко от места назначения машине предстояло круто свернуть в довольно глухое и очень узкое горное ущелье. Не снижая скорости, Отец повернул руль, но, лишь въехав в ущелье, увидел совсем вблизи, метрах

в пятидесяти, огромное стадо «молочно-мясного скота», наглухо загородившее машине дорогу! Впереди бежали здоровенные, весом не менее тонны, быки - производители, а за ними, не отставая, сами коровы, лихо размахивая бежево-розовыми гигантскими выменами. На мощной шее каждого животного висело своеобразное опрокинутое ведро – «ботало. Оно лихо болталось в такт бегу и звенело колокольным тоном – внутри суетился «язык» – железяка весом с полкило. По-видимому, эта была демонстрация скотины по случаю какого-то агрономического праздника: быки и коровы все поголовно украшены венками, да и с трудом догонявшие их пастухи – тоже изящно, на пастуший манер, были выряжены и были чуть-чуть пьяноваты.

И вот навстречу этой гигантской «животной массе» выскочил, по существу перегородив ИМ дорогу, маленький автомобиль КРАСНОГО – столь ненавистного свободолюбивому бычьему сердцу – цвета. Словно услышав спецсигнал, передовые быки ринулись, но не в обход уже останавливающейся машины, а прямо на неё. Пара передовых гигантов попытались, приподнявшись, как при случке, на задние копыта, ударить передними копытами по капоту. Один из быков соскользнул и завалился на шоссе. Но уже подбежали другие, за ними и коровы. Они окружили автомобиль и стали таранить его рогами!.. И вот добрались до пассажиров! Это была не Памплона, где все сотни бегущих людей соревновались в беге и увёртливости лишь с десятком разрозненно скачущих бычков. Это не походило и на корриду – один бычок на десяток пикадоров и, как минимум, одного вооружённого тореро.

Пастухи не успели и добежать, как машина была растерзана – растоптана стадом озверевших – осатаневших животных»

(Продолжение в следующем номере)

Борис Э. Альтшулер

КАББАЛА

Много лет тому назад один из моих знакомых, узнав, что я хочу купить квартиру или маленький домик в Германии, сказал:

– Зачем тебе связываться со всякими маклерами, когда есть возможность купить недвижимость напрямую, без посредников. Я познакомлю тебя с одним стариком, который покупает и продаёт дома. Если ты ему понравишься, он может тебе здорово помочь: и с банками, и со страховками. И, почему-то понизив голос, прошептал:

– Старик-то этот – еврей... Как будто разговор этот происходил в средневековой Испании, а не в сегодняшней демократической Германии. Общение с евреями всё ещё не сама собой разумеющаяся, каждодневная рутина. Правда, есть тут профессиональные евреи, сделавшие на своём еврействе настоящую карьеру. Они выступают по радио и телевидению, участвуют в диспутах, пишут книжки, которые обычно мало читают, и распоряжаются состоянием общин, которого не наживали. Но эти люди вошли когда-то в струю, они активны, и они даже зарабатывают иудаизмом себе на жизнь. Молодое поколение немцев начинает обходиться с еврейской тематикой без невроза, с большим интересом. Во многих произведениях немецкоязычной прозы теперь часто неожиданно появляется протагонист-еврей, и тогда оно, произведение, почему-то становится исполненным смысла...

Есть малочисленные коренные немецкие евреи, успевшие давно оставить гитлеровскую Германию, чтобы потом, после войны и Холокоста, вернуться в свой любимый ландшафт, к родному немецкому языку. Таких немного, остатки немецкого еврейства осели большей частью в Америке, Израиле или во Франции.

Много выходцев из Восточной Европы, польских евреев и их детей, оставшихся после концлагерей в Германии в качестве «перемещённых лиц». В еврейских общинах немало израильтян, чьи родители были когда-то немецкими гражданами и считали себя патриотами. В последние годы появилось много выходцев из бывшего СССР, приехавших сюда «по еврейской путёвке».

По русской еврейской путёвке приехали целые украинские и кавказские деревни и роды, приходящие по пятницам и субботам в синагогу, где они блестят металлическими зубами, нательными православными крестами или золотыми исламскими медальонами. Бабушка или дедушка – еврей, и этого достаточно.

Кто только сюда не приезжает! Приезжают фашисты из общества «Память», антисемиты из Чечни и Азербайджана, утверждающие, что они горские евреи Кавказа, таты; христианские, православные и неправославные фундаменталисты, которых вообще не колышет тот факт, что они приехали в обеспеченную Западную Европу за чей-то еврейский счёт и, наконец, крещёные евреи, обозлённые на самих себя и весь еврейский народ.

Это – еврейская эмиграция, которую организывают и чьи проблемы решают неевреи. Значительная её часть приехала, похоже, по недоразумению и состоит из крещёных людей, которые сразу же уходят в общины протестантов, баптистов, меннонитов, миссионерствующих на каждом шагу, поют молитвы в церквях, в католических хорах. Одна знакомая семья из русской глубинки приехала сюда с тремя религиями: древние дед с бабушкой ещё еврей, приехавшие насладиться немецкой социальным помощью; дочь-филолог, когда-то крещёная из-за мужа в православную веру, а с ними бойкая и очень эмансипированная тринадцатилетняя внучка-католичка, мечтающая через пару лет уйти в монастырь...

С точки зрения всех этих людей их приезд в Германию за счёт шести миллионов погибших в Холокосте евреев – дело совершенно нормальное, хотя у меня лично на голове встают дыбом волосы из-за такого смятения умов. Фамилия старика, с которым меня познакомили, была... скажем, Гродецкий. Он приехал в Германию из Польши как беженец в 1968 году, во времена Гомулки, когда евреев гнали вон из страны. Старик говорил, что когда-то он был министром. До сих пор не знаю: была это липа или нет? Возможно, он и был министром после войны, в короткий период, когда Сталин ещё не приказал задавить Михоэлса грузовиком, не раскрутил в Чехословакии злобещий «процесс Сланского», а

перед своей смертью ещё и «дело кремлёвских врачей-отравителей». Был он мужиком видным и успел ещё в Польше жениться несколько раз. Его сын, с которым я позже познакомился, был рослым блондином, работавшим на таможне в Гданьске. Бывший министр, выкинутый из своей страны, стал на старости лет искать заработка. Поскольку это было и тогда тяжело, ему пришлось самому о себе позаботиться. Он нашёл фирму по установке игровых автоматов, которая в отчаянии искала агентов по раскрутке бизнеса, которым никто не хотел заниматься. Тогда же старик женился уже в Германии в очередной раз. Со сбытом автоматов было не так уж просто. Немецкие пивные, кнайпе, не очень спешили ставить у себя эти автоматы, поэтому Гродецкий решил эту проблему гениально-просто: он стал покупать старые дома, ремонтировать их, приводить в порядок, заселять жильцами и оборудовать на первых этажах пивные, которые он тоже сдавал в наём, но с условием установки игровых автоматов. Причём все эти годы он оставался единственным евреем в городке. Все, конечно, это знали, крутили носом по поводу его заработков и завидовали. Два раза в неделю он объезжал со своей женой пивные, выгребал свои автоматы и с мешками, полными мелочи, заявлялся в банк. Со временем такие инвестиции стали для банка неудобными, тогда он со своей немецкой женой, вдовой одного из его бывших партнёров, стал сам подсчитывать и заворачивать мелочь в свёртки и приносил их в банк, так сказать, в готовом виде. Их пытались несколько раз ограбить, но старик оказался боевым, мужественно сопротивлялся, и его в конце концов оставили в покое.

Это была просто-напросто гениальная идея: доходами от своих игровых автоматов он финансировал покупку старых домов, на переустройство которых он получал ещё дополнительно новые кредиты. В этих домах он открывал новые пивные, а в них в свою очередь размещал всё новые и новые автоматы. Система «автоматы – доходные дома – автоматы» успешно функционировала много лет, пока не, наконец, настала тяжёлая пора. Жирные, сытые годы остались позади, пивные закрывались и, соответственно, всё меньше денег стало поступать из автоматов. Старик начал распродавать свою недвижимость по частям. Это было тоже не совсем просто, потому что рынок был и тогда забит предложениями.

Господину Гродецкому выпала беспокойная старость. Его рабочий день начинался рано утром и кончался поздно ночью, потому что у его жильцов постоянно что-то горело, текло, раз-

бывалось, обваливалось и разрушалось. Управдомов он, экономя деньги, не нанимал. Поэтому с утра сам садился в свой 500-й «мерседес», и начинал инспекционную поездку по объектам. Ему было скучно вот так продавать дома и квартиры, поэтому он стал заезжать за мной на своей машине в обеденный перерыв или вечером, чтобы показать свои владения, похвастаться, а заодно и поболтать.

Он купил старый доходный многоквартирный дом в Америке, в Вест-Голливуде, отремонтировал по своим немецким стандартам, поселил там сестру с племянницей, чтобы приглядывали. Один из апартаментов был зарезервирован для самого хозяина. Им Гродецкий и его жена пользовались летом, когда наезжали в Штаты, чтобы смотаться в Лас-Вегас, где он обязательно смотрел шоу немецких фокусников, Зигфрида и Роя, с их белыми тиграми, а потом играл на автоматах, так хорошо знакомых ему по Германии. Очень часто он выигрывал, тогда его фотографировали, и фото помещали в качестве рекламы в стенгазету казино. Один раз Зигфрид и Рой услышали в толпе немецкую речь и охотно помогли с входными билетами в распроданный зал, – так Гродецкий лично познакомился и сфотографировался с замечательными артистами. Эти фотографии в рамках из Лас-Вегаса и Голливуда пользовались большим успехом у рабочих в его фирме в Германии. Дом или квартиру у него я так и не купил, но мы подружились. Однажды вечером он сидел как-то у меня в саду, и вдруг признался без всякой, казалось бы, связи:

– Моя настоящая фамилия совсем не Гродецкий. Я еврей из Галиции, где наши милые соседи вырезали всю мою семью. Я забыл русский и украинский, но понять кое-что могу. Только вот польский ещё остался в башке.

В конце июля, когда нашу колонну вели на расстрел, я бежал, прятался несколько ночей по лесам, уходил от облав, пока не нашёл мою Ганку. Она пустила меня к себе на хутор, спрятала в подпол, где я просидел всю войну. Только по ночам выходил подышать свежим воздухом. После войны я на ней женился, ведь я был ей многим обязан. Оказалось, что не один я выжил с помощью польки... Многие такие пары уехали в Израиль.

Моя жена умерла через три года после войны от рака. Я остался с двумя маленькими детьми, женился потом ещё три раза. Мои дети крещены, они не захотели жить в Германии. Внучка выходит сейчас замуж в Гданьске. Венчание будет в костёле, надо теперь ехать в Польшу и везти подарки.

– А заодно рассказать вашим детям и внукам правду о вашей семье, уничтоженной в годы войны.

Я попал в самое больное место, потому что старик стал вдруг так вопить, что соседи вышли из домов:

– Ни в коем случае! – кричал он. – Они христиане, они поляки, и я не желаю им моей судьбы. Я еврей, я несу с собой свою судьбу, я умру евреем, но моим детям это ни к чему. Где был еврейский Бог, когда убивали евреев на Украине и в Польше?

Мой отец был известный хасид и каббалист, но это его не спасло, хотя ему даже удавались чудеса. Он верил в грядущее царство Мессии, когда все двенадцать колен Израилевых вернутся в Палестину. Мой тате строго следовал учению великого каббалиста, рабби Исаака Лурия из Цфата. Хотя Каббалой по еврейскому Закону можно заниматься только с сорока лет, я успел узнать от отца очень многое.

Вы же знаете, что праведник, «хасид», а в идеальном случае Спаситель, Мессия – это те личности, которые должны спасти мир, окружённый тонкими «клипот», сломанными в результате космической катастрофы, разрушения Второго Храма, за прегрешения людей. Хасид чинит эти оболочки, и только тогда течёт вновь по скорлупам эликсир жизни и восстанавливается гармония во Вселенной.

Мой отец был хасид, который никому не сделал ничего плохого. Мы жили мирно вместе с поляками и украинцами, но настала война, и они вместе с немцами вырезали всю мою семью.

Старик вдруг заплакал.

– Еврейский мир стоит на Торе, Талмуде и на Каббале, но моему отцу, каббалисту, моей маме, братьям и сёстрам это не помогло – они все сгорели в огне Холокоста. Скажите мне: где был Бог?

– Есть очень печальная шутка, – ответил я. – Господу было тогда некогда, потому что Он вышел на минутку пописать и покурить...

Прошло несколько месяцев после этого разговора, и Гродецкий позвонил мне вновь. Его жена совсем сдала, и нам надо поговорить. Когда мы встретились, я обнаружил, что не жена, а сам он здорово сдал. Старик пережил инсульт, и теперь тянул левую руку и ногу, но всё ещё ездил на своём «мерседесе».

– Вы не хотите отдать ваши права? – спросил я его.

– Ни в коем случае! – ответил Гродецкий. – Моя жена разрешает мне ездить лишь на этой машине, потому что в ней я хорошо защищён.

– А что с пешеходами? – спросил я.

– Я за рулём уже сорок лет, – ответил старик. – Пока ещё никого не задавил. – Потом последовала пауза. – Мы дружны с одной семьёй. Он сантехник. Симпатичный такой мужик. Уж не знаю: было у него что-то с моей женой или нет, но это была такая дружба, такая дружба...

Дела шли у него не особенно, поэтому он занялся вдобавок ещё и маклерством. Но таким подонком, как большинство маклеров, он не стал, поэтому и не очень преуспел. Жена уговорила меня дать ему частную ссуду. Ссуду я дал, но и это не помогло. Четыре дня назад его нашли в подвале фирмы, он повесился там на трубе. Вот я и спрашиваю вас: это тоже было угодно Богу?

– Господин Гродецкий, – ответил я, – я читал недавно работы Гершона Шолема. Так вот, он исследовал очень интересное понятие, которое, кстати, впервые ввёл в Каббалу Исаак Лурия – «цимцум» . Это добровольное сокращение божественного начала, прежде заполнявшего всю Вселенную, для того, чтобы дать место материальному миру людей. Бог преднамеренно сокращает свои размеры и уходит от нас всё дальше и дальше во Вселенную. Другими словами, он уходит от нас в диаспору. Это очень интересная идея Гершома Шолема и современной еврейской теологии: Господь Бог оставил нас наедине с самими собой, и найдется Сам в диаспоре. Поможет это вам понять Холокост?

Старик побледнел:

– Вы хотите мне сказать, что я, сын каббалиста, жил без Бога, если все эти годы после войны ни разу не был в синагоге, ни разу не молился, не искал Его, а мои дети и внуки католики. Но как вы объясните мне убийство всей моей родни, а их было сорок семь человек? Я давно уже подозревал, что Он сбежал и оставил нас в этом жутком мире одних!

Мы ещё поговорили и пофилософствовали, и Гродецкий уехал на своём мерсе. После обеда позвонила жена, искавшая его по всем знакомым: очень пунктуальный, он не явился к обеду. Вечером мы нашли его, наконец, в Уни-клинике, в реанимационной неврологического отделения.

После нашего разговора, по дороге домой, в Сульцбахе с ним случился за рулём очередной инсульт. Тяжёлая машина вдруг замедлила ход, выехала влево, на встречную полосу к шарахавшимся от неё автомобилям и врезалась в забор с рекламой, ободравший весь бок тачки. Приехавшие на место происшествия полицейские обнаружили вместо пьяного шофёра г-на Гродецкого

с перекошенным от инсульта лицом, который с трудом говорил, скорее мычал.

Через несколько недель он умер. Я узнал об этом из газет. Его вдова довольно быстро продала почти всю недвижимость, с таким трудом нажитую её покойным мужем на старости лет тяжёлой работой. Позднее я узнал, что он очень хотел меня видеть и в клинике звал меня всё время к себе. Врачи и его жена не нашли это такой уж хорошей идеей.

Дело было в том, что Гродецкий нёс в больнице всё время какую-то околесицу: он утверждал перед смертью, что нашёл в диаспоре Бога, и теперь знает совершенно точно, где Его надлежало теперь искать мне. Меня об этом не известили, и этот важный для нас всех каббалистический секрет исчез из жизни вместе с Гродецким.

О ЛЮБВИ

Он был высоким, пожилым, красивым и хорошо одетым мужчиной. Мою практику ему посоветовали после операции мениска в колене, сделанной в Голландии. Пациент ездил туда с женой кататься на велосипеде по побережью, пока порванный мениск не заставил его лечь в больницу. Задний рог мениска оказался неудалённым, и мне пришлось оперировать ещё раз. Результатами он остался, очевидно, вполне доволен и стал приходить каждый квартал на контроль. У человека была явно масса свободного времени. Он флиртовал с моими молодыми ассистентками в регистратуре и долго охотно болтал с пациентками в комнате ожидания. Пенсионер-бабник с хорошей рентой и при деньгах. Со мной он тоже искал более тесных знакомств, дружбы и даже пытался несколько раз повести в ресторан, от чего я с благодарностью отказался. При моей тогдашней нагрузке этот поход был нереальным.

В конце зимы у католиков Германии начинается сезон карнавалов, Fasching. На одном таком веселье карнавального клуба, куда меня пригласили, мы неожиданно оказались соседями по столу. Пациент сидел рядом с молодой смуглой женщиной со слегка раскосыми глазами, оказавшейся турчанкой из Ирака. Я тогда представил себе, что он, наверно, разведён или вдовец и эта красивая экзотическая женщина – его молодая жена. Каково

же было моё удивление, когда где-то через месяц он вновь появился в моей практике с ухоженной, элегантной пожилой дамой.

– Вы развелись с той турчанкой? – тихо спросил его я.

– Это моя подруга из Фэльклингена, – также тихо ответил он. – Мою жену я привёл к вам в качестве пациентки.

У жены моего пациента и новой пациентки были какие-то странные боли по всему телу. Рентгеновские снимки и лаборатория оказались без особых патологических находок. Когда я стал обсуждать с ней результаты обследования, она вдруг расплакалась. Полгода назад во Франции умерла её единственная дочь – она и муж до сих пор не могли оправиться от шока. Зять тоже умер. Во французском Метце остался ребенок, внук, которого почему-то было очень сложно забрать из Лотарингии в Германию, в Саарланд. В общем, чистой воды психосоматика, решил я. Несколько таблеток ибупрофена под другим фирменным названием должны были поэтому сделать чудеса. Любвеобильный пациент, коллекционировавший на старости лет молодых женщин, искавший дружбы и душевных разговоров, также почему-то захотел таких таблеток, поэтому я оставил его для короткой беседы после приёма больных в самом конце рабочего дня.

– Для чего вам эти таблетки? У вас же нет боли, – сказал я.

– Я не нахожу себе места в жизни. Особенно сейчас, после выхода на пенсию. А был на работе в Управлении шахтами в очень хорошей позиции. У меня была прекрасная зарплата, сегодня – хорошая пенсия. Но я не нахожу себе места.

И неожиданно он добавил:

– У меня в Фэльклингене растёт двухлетний сын от Фатимы, моя взрослая дочь от одной владелицы ресторана живёт в Люксембурге и работает в большом американском банке. У неё у самой уже семья. Так что мне есть чем заняться в конце недели. Это же всё у нас тут, в Саарланде, под боком. Но это моя жизнь, а супруга выпадает из неё.

Он вздохнул и сказал:

– Я и моя жена, – мы были красивой парой. А уж она-то отличалась пронзительной нордической красотой. Такая, знаете, высокая прекрасная блондинка с попой, тонкой талией и высокой грудью. Всю жизнь к ней клеились мужики, но она никому другому не давала. Смотрите, она ещё и сегодня блестяще выглядит!

– Я не обязательно хотел всё это знать, – ответил я. – Вы здорово запутались в своей жизни. Вам не позавидуешь.

– Я люблю свою жену и не представляю себе жизнь без неё. Мы женаты уже 40 лет.

– Вы оба выглядите намного моложе. И если такая любовь, то для чего вам этот дорогостоящий гарем в пожилом возрасте?

– Вам этого, доктор, не понять. Я не пью и не курю. У меня диабет и я воспринимаю любовь и наслаждение уже не так остро как когда-то в молодости. Я ищу всю жизнь, даже сегодня, любви у моей супруги и не нахожу хотя бы эха моих чувств. Она не фригидная, она просто не растворяется во мне. Всю жизнь я искал нашей гармонии и не мог её найти.

Вы же видите, в каком состоянии она теперь после смерти нашей дочери. Я – католик и не могу оставить её одну. Всё очень и очень сложно...

– Девушки из практики сказали, что дочь нашего пациента ещё подростком сошлась с французом из Кольмара в Эльзасе, стала известной в городе наркоманкой, родила сына, порвала с родителями и уехала во Францию для того, чтобы полностью отдаться своему хобби. Мать из-за стыда перед знакомыми оборвала все контакты с ней. А о смерти своей дочери из-за передозировки героина она узнала через два месяца после похорон. После этого из их виллы часто раздавались крики, соседи жаловались в полицию на громкие скандалы пожилой пары.

Где-то через несколько месяцев дама пришла в практику в чёрном. Она дождалась конца приёма больных и сообщила мне, что её муж внезапно скончался ночью во сне. Я был ошеломлён и попытался её как-то утешить.

– Зря вы это делаете, доктор, – ответила она. – мой муж был плохим человеком. У него оказались ещё двое детей, рождённых вне брака. Этот старик ходил в по воскресенья в церковь на исповедь, а потом трахался, как сумасшедший, под каждым кустом.

– Мне он сказал, что вы были его самой большой любовью в жизни.

– Пациентка неожиданно вспылила, расплакалась и стала кричать:

– Вы этого знать не можете, но его сейчас жарят черти в аду. Когда мы ещё были молодыми людьми, он прожужжал мне уши своей любовью и своими извращениями. Вы знаете чего он хотел от меня? Blowjob – вот что надо было всю жизнь от меня этому развратнику! Но я порядочная девочка, – заорала вдруг старуха – Я никогда не позволяла засунуть себе такую гадость в рот. Я говорила с пастором об его извращениях, и тот подтвердил мою правоту.

– Я воздерживаюсь от какой-то оценки. Это настолько личное. Может быть, не к пастору, а к семейному терапевту надо было идти...

– Да и я его любила, но он этого не понимал, не слушая меня, – вдруг тихо сказала вдова в чёрном, – на днях я разыскала во Франции, в Метце, своего внука и решила, что возьму его к себе. Я уже ездила к нему, осмотреться. Он очень хороший мальчик и там, где он сейчас находится, совершенно неподходящее для него окружение.

Две недели спустя, моя пациентка в чёрном – появилась в практике в сопровождении здорового упитанного верзилы, где-то метр девяносто ростом, прекрасно говорившего по-немецки и по-французски, и сообщила, что ему 19 лет.

– Он очень хороший мальчик, хотя и вырос в приюте, – сказала его бабушка, – а вы уж сами понимаете, какие там дети и подростки. Было, возможно, ошибкой полностью порвать контакт с моей покойной дочерью. Но на ошибках надо учиться и ошибки не поздно исправлять.

Прошло несколько недель, и мои ассистентки вдруг сообщили о вчерашних похоронах старушки. В газете я прочитал, что её внук перерезал бабушке ночью горло, взломал и опустошил сейф в вилле, и удрал через границу. Жандармы задержали нового Раскольникова в Реймсе в одном из борделей около знаменитого собора, где ещё в средневековье короновали легендарных властителей Франции.

Людмила А. Белоусова

ПЕРЕЕЗД

Пролог. 1940год

Международный вагон скорого поезда мягко покачивался. В полированном дереве коридора отражались лампы, бархатно лоснилась ковровая дорожка.

В третьем купе жена английского дипломата, красавица блондинка лениво раскладывала пасьянс. Внезапно – скрежет, вагон завалился вниз, покотился с насыпи, ломая деревья. Звон расколотого стекла, летящие в воздухе чемоданы, куски железа и страшная боль во всем теле. Она истошно кричала: «Кто-нибудь, хоть кто-нибудь, помогите!»

Неужели никого? Неужели так и погибнуть с переломанными ногами, раздавленной грудью, истекая болью? Неожиданно перед глазами появилось залитое кровью лицо.

«Спокойно. Вы ранены?»

Она из последних сил вцепилась в жесткие корявые руки и огромными расширенными болью зрачками впиалась в нависающие над ней глаза.

Только бы не выпустил её руки. Только бы не отвёл глаза.

«Sleep», – тихо произнесла она. Веки мужчины послушно опустились.

Из-под искорёженных обломков поезда вытаскивали трупы, откладывали в сторону. Особенно пострадал международный вагон, все пассажиры погибли. Чудом остался жив чекист, наблюдавший за иностранцами.

Он был почти не ранен, только несколько порезов стеклом. Но от контузии стал очень сильно заикаться, и заработал ам-

незию – потерю памяти. Жену не признал, от детей шарахался, имя-должность позабыл, людей дичился. После госпиталя в службу уже не годился. Определили его к комдиву, по-новому – генералу, водителем. Машину не забыл, но головой после катастрофы двинулся сильно. Как раз с началом войны, 22 июня, увёл малолетнюю дочь командира. Два дня искали, генерал всех на ноги поставил – единственный ребенок, позднее дитя. Наконец догадались в комнатёнку водилы заглянуть. Там и нашли зарёванную генеральскую дочку. А рядом труп. Сердце остановилось у бывшего чекиста. Одним словом, контуженный. Девочка, Валечка, от пережитого два года ничего не говорила, потом в себя пришла. Забыла и никогда не вспоминала.

Наше время.

...Ленка с детства знала, что она красивая. Не просто красивая, а очень красивая. И что её ждет блистательное будущее. Мамашка в молодости, пока не прилипла к бутылке, тоже была хороша. Но Ленка наверняка пошла в отца. Кто приходился ей отцом, мамашка припомнить не могла. Заезжий итальянец – в эту басню Ленка не очень верила. Откуда взяться в их богом забытом посёлке, 20 километров до Чагоды, иностранцам. Но мамашка, особенно когда вволю нацелуется с бутылкой, упрямо твердит – были итальянцы, чевоёй-то строили, вроде церковь реставрировали. Этот, как его, Пабло, нет, Педро, да нет, Паоло. Точно, Паоло. Любовь была. Жуть! Как в кино. Она тогда красоткой была, картинка. Хотя реальнее была другая версия – какой-нибудь хачик с базара. Они, грузинцы, армяшки, ничего бывают. Если нос не румпелем. А, чёрт с ними. Красоту дал – и на том спасибо. С такой внешностью все пути открыты – хочешь в манекенщицы, хочешь в киноактрисы. Ленка свято верила в сказку о голливудской золушке. Знала всех актёров. Была подробно осведомлена, кто на ком женат, кто с кем развёлся. Кто какую премию и где получил. С горящими глазами изучала платья звёзд. И мечтала, мечтала... ..Театральный институт. А дальше – как в голливудских биографиях. Её тут же заметили, пригласили на главную роль. Елена Лебедь – девушка Бонда. Каннский кинофестиваль. Вручение Оскара. Она гордо идёт по красной дорожке. Всенародная слава. Фотографии в журналах. Елена Лебедь разводится с третьим мужем. Елена Лебедь вышла замуж за принца Гарри.

Валентина Сергеевна только сегодня заметила, что она постарела. Лифт не работал – такое случилось впервые в их элитном доме, и ей пришлось пешком подниматься на пятый этаж. Сердце билось в горле, колени скрипели и отказывались сгибаться. Даже ключ не смогла сразу вставить в замок. Так дрожали руки. Она внимательно оглядывала себя в зеркале. Да, с внешностью ей не повезло. Из пухленькой курносенькой девчушки выросло ширококостное существо с толстыми ногами и бычьей шеей. А Валентина Сергеевна так любила красоту во всех её проявлениях. Массажисты, обёртывания, делали своё дело. Тело у неё крепкое, здоровое. Она никогда не болела. Не нуждалась в очках. Потому и проморгала наступление старости.

Валентина Сергеевна сидела в кресле и размышляла. Как же это случилось? Как же она и не заметила? Да, она давно нигде не была. Отговаривалась – занята, работа, бизнес. А на самом деле ей не хочется никуда идти. Да и не с кем. Последний муж скончался лет... сколько ж лет назад? Последнего любовника она выгнала, дай бог памяти...года три назад. Старички, которые на неё, затянутую в вечернее платье, сально поглядывали, вызывали только лёгкое отвращение. Молодые, сорокалетние альфонсы её тоже раздражали – продажные душонки. Жиголо. К вечеру тянет не в ресторан или на модную премьеру, а в уютное кресло перед телевизором. Чай, лёгкое чтение... Но стопка модных книжных новинок так и лежит не пролистанная. Всё уже написано. Сил нет. Словно кто-то недобрый выдавил из неё жизнь, осталась одна жалкая оболочка.

Последние тридцать лет, когда всё в России пошло кувырком, ах, какое чудное время для активных натур, она наслаждалась свободой. И не заметила, как подползла старость.

Сегодняшний мучительный подъём по лестнице открыл ей глаза. Пора переезжать. Валентина Сергеевна обвела глазами свою уютную гостиную. Папу-генерала в конце войны обуяла страсть к прекрасному. И он прихватил из Германии пару вагонов с мебелью, антиквариатом, картинами. Папины вещи очень органично вписались в интерьер её огромной квартиры.

Генерал-выдвиженец сделал прекрасную карьеру в Советское время, пристроил дочь в МГИМО. А с началом перестройки умело приватизировал несколько доходных объектов. Тем и положил начало семейного бизнеса. Она много поработала для умножения капитала. Теперь бизнес катился сам по себе. Хватало на все прихоти. Валентина Сергеевна не забывала и искусство,

была спонсором нескольких театральных постановок, финансировала пару мыльных опер. Любила она театр. Любила бывать на премьерках, вращаться среди театральной элиты. Её знали, ценили, заискивали перед ней.

Кому всё достанется, если она внезапно умрёт, печально размышляла Валентина Сергеевна, переводя взгляд с Фалька на Шагала. Родни у неё нет. Племянники первого мужа? Его же двоюродные сестры-братья и их потомки? Она с ними не знакома. А после её смерти понабегут, вспомнят родство.

Ленка почти бежала по улицам на расплывающихся каблуках. Злые слёзы застилали глаза. Её не пропустили даже на первый тур! Как такое возможно? Больше четырёх часов протолкалась она в коридорах перед таинственной дверью с надписью «Актёрское мастерство». Наконец, усталая, издёрганная, пропотевшая, она вошла в зал. Никто не удивился её красоте, не удостоил особым взглядом. Бросили лишь холодное «Пожалуйста, начинайте». Она прочла басню, отрывок. И получила ледяное «Спасибо». И всё! Даже не попросили станцевать. Сволочи! Только за взятки, только по блату! Ну, погодите, вы ещё пожалеете!

А по всем приметам всё должно быть отлично. Сон сегодня приснился ей ярко-солнечный. Хороший знак. И на тебе! «Ну, почему, почему? – твердила она, – почему?» От слёз и пота потекла тушь, щипало немилосердно. Ленка присела на скамейку и бумажным носовым платком принялась вытирать слезящийся глаз. Сначала сквозь слёзы она рассмотрела только туфельки, фирменные, из страусиной кожи. Потом быстро скосила глаз и разглядела тонкую льняную ткань брюк и сумку, лежащую на неблагородном дереве скамейки. Она сглотнула от зависти – такие сумки по цене от 15000, нули считать собьёшься, она вожделенно рассматривала в витринах бутиков. Ленка откинула волосы с лица и повернулась к даме. Старуха! Лет 70, а как одета, как причесана! Ну, где в мире справедливость? У неё, молодой, красивой ничего, а у тётки, явно доживавшей чужой век – всё! В Ленке закипала классовая ненависть. Всё захапали, народ опять обобрали. Промелькнула мысль – схватить драгоценную сумку и дунуть по бульвару. Ленке и раньше случалось подворовывать. Вот только вчера налетела она на выползающую из Сбербанка старуху. И пока ахала, извинялась, незаметно прихватила бабкин кошелек. Доход невелик, пара тысяч, но по бедности – сойдет. Ленка оценивающе осмотрелась: нет, не выйдет, наро-

ду слишком много, обязательно какой-нибудь активист ножку подставит.

[34]

Валентина Сергеевна сидела, устало откинувшись на спинку бульварной скамейки. Переезд не складывался. Может сперва отдохнуть съездить? За город, на природу. На море куда-нибудь?... Опять одной? Она оставила в агентстве по найму самые чёткие указания: компаньонка с проживанием, не старше двадцати, здоровая, красивая. И ни слова об интеллекте. Так нет, посылают очкастых уродок с высшим образованием. Или явных прохиндеек. Такие на второй день проживания голову хозяйке отрежут. Неужели в мегаполисе невозможно сыскать нужный объект? Валентина Сергеевна недовольно покосилась на девушку на другом конце скамейки. Москву наводнили провинциалки-уродины. Вот ещё одна. Патлы висят нечёсанные. Ковырятся в глазах грязным платком. Маечка с базара. Пластиковая сумка и кособокие босоножки.

Провинциалка откинула свисающие на лицо волосы. И Валентина Сергеевна едва не задохнулась от восторга. Какой безупречный профиль! Она во все глаза рассматривала девушку. Почувствовав пристальный взгляд, Валентина Сергеевна едва успела отвести глаза. Девушка повернулась и недовольно нахмурилась.

Какая красота! Какие чистые линии! Совсем рядом с ней сидела неумело намазанная дешёвой косметикой изумительная красавица. Из тех, что появляются раз в столетие и оставляют о себе долгую память и легенды. Старуха глянула на неё, сверкнув темными очками, и начала копаться в сумке. Вытащила на свет божий бутылочку минералки, потом роскошный дорожный бумажник, какую-то книжку. Побросала все внутрь и снова принялась копаться. Поднялась, ухватившись за спинку скамейки, тяжело сделала несколько шагов и начала валиться прямо на Ленку.

– Вам плохо, вам помочь? – всполошилась та, подхватывая обмякнувшее тело.

Старуха вцепилась в худенькое плечико. Рот полуоткрыт, как у снулой рыбы:

– Ничего, ничего. Жара. – Старая женщина попыталась выпрямиться, но снова привалилась к Ленке. – Простите, дорогая. Простите, вы не можете мне до дома дойти? Тут совсем рядом.

– Конечно, конечно. Давайте потихонечку, – согласилась де-

вушка, нежно взглянув на бумажник с золотым замочком, выглядывавший из сумки.

Они устроились на кухне. Валентина Сергеевна благодарно выпила приготовленный Ленкой чай. Съела большой кусок шоколада.

– Сахар резко упал. И давление очень низкое. Чуть на улице сознание не потеряла. Спасибо вам. Помогли. Да вы ешьте, ешьте, – потчевала она свою спасительницу и подпихивала смутившейся девушке деликатесы – красную икру, салями, рыбу.

Ленка ела с удовольствием и рассказывала о своей горькой доле. Выпивавшая по выходным мать превратилась в запойную алкоголичку. Ленка – в старательную Золушку. Снимает койку в Митино. Била на жалость, неизвестно на что надеясь. О провале на просмотре она поведала со слезами на прекрасных голубых глазах.

– А кто набирает курс? – поинтересовалась Валентина Сергеевна.

– Александровский.

Валентина Сергеевна тонко усмехнулась.

– У тебя не было шансов. Лет десять назад он развелся со скандалом и женился на своей студентке, очень красивой. Но красotka стареет и бдительно охраняет своё высокое положение супруги знаменитого режиссера. И ни одна мало-мальски хорошая девочка и близко не подойдёт к дверям института.

Ленка смотрела во все глаза, слегка приоткрыв рот.

– Его студентки – мыши серые. Можно подумать, их в тыл врага забрасывать собираются, настолько незаметные. Ну, а ВГИК? Туда пробовала?

– Не, там, говорят, только блатные и платные.

– Говорят те, кто не поступает.

Она взяла телефон.

– Витюша, – запела в трубку. Что-то тебя давно не слышно. Да, да. А Катя как? Замечательно. Когда на экран? Чудесно!

Она улыбалась и кивала: – Ах, ты старый льстец! Витюша, у меня тут чудесная девочка. Да-да, можно сказать... в родне. Редкая красавица. Алмаз необработанный.

Она снова послушала неразборчивое рокотание мужского голоса. – Посмотришь? Да? Да. Моя настоятельная рекомендация.

Не зря, не зря приснился Ленке золотой сон. Вон оно, сказочное везение! Она смотрела на пожилую женщину, как Золушка на Фею. И ждала новых чудес. И чудеса начались. Только плохо чита-

ла Ленка сказки в детстве, и напрочь забыла, что в чудесах доброй Феи всегда заложено маленькое, но очень неприятное условие.

А на завтра они уже были на просмотре. И Ленке не пришлось часами ждать у дверей. Её пригласили в зал и внимательно выслушали и басню, и стихотворение. И по просьбе улыбающейся комиссии она и спела, и станцевала. И рассказала о себе. И услышала благожелательное: «Спасибо. Подождите в коридоре»

Знаменитый кинорежиссёр долго жал руку Валентине Сергеевне, её волшебной Фее. Ей, Ленке, кивнул с улыбкой. Но она не слышала, что он шептал Фее.

– Валюшенька! Красавицу твою... может лучше в рекламу? А? Трудный экземпляр. Себя не видит, не слышит. Вальс изображала, хоть плачь – ни разу в ритм не попала. Манерная. Произношение... воОлОгда. Развитие нулевое. Но главное – нет в ней манкости.

– Я вижу потенциал. Поверь мне. В сентябре ты её не узнаешь. Не получится – отчислишь.

– Хорошо, хорошо, возьму твою протезе. Но, учти, только из уважения к тебе. Только потому, что я тебя так люблю.

(И потому, что я финансирую сериал, где блистает твоя супруга.)

– Она тебе кто?

– Не важно. У каждого в шкафу свои скелеты.

– Ну, ладно. Я позвоню девочкам, пусть её поднатаскают к турам. А то совсем уж стыдно.

«Скелеты в шкафу» Валентина Сергеевна очень удачно вернула при разговоре с «девочками» – Тамарой Николавной, специалисткой по сценической речи, народной артисткой, и с Алевтиной, бывшей балериной Большого Театра, преподавательницей танца.

Уже через день по Москве пошли гулять слухи про незаконную то ли дочку, то ли внучку миллионерши Баграмовой. Перевес был в сторону внучки. Подсчитали: лет пятьдесят назад нравы были построжее нынешних. Да и папа-генерал бдил моральный облик советского офицера. Незаконнорождённый внук! Партия осудила бы. И сбросили байстрюка в деревню к родне. А сейчас, к старости, совесть заговорила. И решила миллионерша внучку облагодетельствовать. Тем более, что законных детей-внуков не нажила.

Валентина Сергеевна поместила Ленку в гостевую комнату. Объяснила просто: «Во все века были меценаты... – сделав скид-

ку на интеллектуальное развитие своей подопечной, добавила, – или как сейчас говорят, спонсоры. Помогали художникам, артистам, музыкантам».

У Валентины Сергеевны словно открылось второе дыхание. Она буквально летала. Апатия и скука исчезли. Каждый вечер выводила свою протее в нужные места, знакомила с нужными людьми. Красавицу-абитуриентку ВГИКа замечали. Приглашали на просмотры. Валентина Сергеевна внутренне ликовала. Всё идет по плану. И бдительно оберегала Елену от знакомств со светскими ловеласами. Помянут обещаниями, увлекут, увезут. И всё испортят. Она крутилась, как молодая. Везде успевала, всё переделала. А дел было много, особенно бумажной волокиты: прописала Елену постоянно. Потом оформила квартиру на её имя. Организовала ей заграничный паспорт, побеспокоилась, чтобы получить все визы – и Шенгенскую, и американскую, и английскую... Составила завещание на половину состояния. Вторую половину перевела на Елену Лебедь.

Она снова начала заботиться о себе: заваривала полезные для здоровья чаи из редких тибетских трав. Пила сама и поила свою протее. «Для подъёма сил». И каждый день несколько часов медитировала.

Ленка ликовала. Её маленький алчный умишко быстро просчитал все плюсы и минусы: живёт в шикарной квартире, на всём готовом. Лучше, чем в Митино на продавленной койке. Старуха то денегат подкинет, то сумку или туфли подарит. И всё так тактично, словно Ленка ей одолжение делает, что берёт. Главное, конечно, старухино влияние. Каждый день она куда-то идёт. И Ленку с собой берёт. Раз были на премьере в опере – скучища, чуть не заснула, другой раз в Доме Кино. Тоже фильм занудный был. Главное начинается потом, после окончания. Тусовка. Подходят знаменитости, здороваются, старуха представляет Ленку. Всех она знает, и её все знают. Или в ресторан идут. Не в простой – Дом Композитора, Дом Писателя. Похоже, старуха все-сила. Устроить в институт, найти роль в кино – для неё нет проблем. Хотя с такой красотой Ленка и сама бы поступила. Не в этот, так в другой – театральных в Москве много.

К минусам относилась необходимость заниматься, работать – для Ленки вещи совершенно непривычные. Старуха заставила её каждый день ходить «на речь», и «на танец». Бесконечные артикуляционные упражнения. «Шла Саша по шоссе...», «Надо

колокол переколоковать да перевыколоковать...» Кому это надо?. А уроки танца? Это-то зачем – по два часа корёжиться у палки. Она не в балет собирается. Но до зачисления приходится терпеть. Старуха с режиссёром друзья-приятели.

Ленка честно отработывала благодеяния: терпела старухины беседы, смотрела вместе с ней допотопные чёрно-белые фильмы с давно умершими звёздами.

А по ночам её охватывал страх. Необъяснимый, неоправданный, нелогичный. Бежать, бежать отсюда. Куда угодно. Снова в конуру в Митино, на вокзал, в привычную скуку родного посёлка. Только подальше от этой доброй, ласковой и щедрой старухи. Она крутилась под одеялом, так и эдак взбивала подушку. Засыпала и снова её вздергивала вверх волна липкого ужаса.

Ей не так уж и хотелось в актрисы. Ленка понаслушалась рассказов о студенческом ВГИКовском быте. Всё не так, как она представляла. Что ж такое получается? Каторга какая-то! Актёрское мастерство, сценическая речь, танец, сценическое движение, вокал, индивидуальные и групповые занятия, а ещё и лекции – по истории театра, кино, иностранному языку, ИЗО и ещё, и ещё. А жить-то когда? Захлёбываясь от счастья, новоиспечённые студенты делились сведениями. Занятия начинаются в 9 утра и кончаются в 10-11 вечера, а то и позже. Ну, есть перерывы, поесть можно, в киношку сбежать. И пропуска в театр. Бесплатно можно на любой спектакль. Постоять. И на Мосфильме можно в массовках или групповках подработать. Ленка общих восторгов не разделяла. Половина студентов были актёрские дети. Некоторые уже имели опыт, снимались в небольших ролях, эпизодах, и ходили гоголем. Одна девчонка, совершенно не видная, оказалась почти звездой, с детства снималась. Ленкину красоту словно и не замечали. Расчетливым умом она понимала, что «студентка ВГИКа» – это знак принадлежности к элите. И поставила себе другую цель – найти богатого мужа. Миллионера. Жить в такой же квартире, как и старуха, ходить в такие же рестораны. На премьеры, и не постоять, а в лучшие места. Вовсю наслаждаться жизнью. И без кино. И без доброй феи Валентины Сергеевны.

Темные драпировки окон задернуты, стол накрыт особенно празднично и богато. Лучились свечи, легкий дымок поднимался от курильниц. К запаху восточных благовоний Ленка успела привыкнуть. Но нынче пахло сильнее, чем обычно.

– Торжественный день сегодня. Ты студентка ВГИК! Выпьем,

Леночка, за твой успех.

Это было необычно. Таская её по ресторанам и тусовкам, Старуха никогда не допускала её до алкоголя. Правда, и сама не пила. А тут – в старинном хрустале вино из благородной тёмной бутылки. От первого маленького глотка в ленкином теле появилась приятная расслабленность. Нежные волны поплыли по рукам, по ногам. В голове возник едва заметный лёгкий гул. Её уносило, и она уплывала...

– Давай я тебе погадаю.

Валентина Сергеевна взяла Ленкины тонкие руки в свои широкие сильные ладони.

– Такую красавицу ждёт совершенно необыкновенная жизнь.

Она держала тёплые ладошки и ждала, когда ритм её пульса совпадет с ленкиным. И вот их сердца бьются в одном ритме. Словно у них, как у сиамских близнецов, единый круг кровообращения.

Она впиалась расширенными зрачками в уплывающие глаза напротив и тихо и твёрдо произнесла: «Спать».

Густые длинные ресницы послушно опустились.

Валентина Сергеевна закрыла глаза и наслаждалась полным совпадением вибраций, полным слиянием организмов. И тогда она начала медленно и деловито перетекать в Ленку.

Сахасрара, Аджна... и дальше вниз по Сушумне и чакрам. По всем нади и каналам. Она вливалась в новое тело. Она в нём прорастала.

Медленно открыла глаза, проверяя свои ощущения, слух, зрение. Освободила пальцы из крепкого захвата чужих рук и внимательно осмотрела женщину напротив. Старое лицо. Спокойное и умиротворенное. Отрешённое и опустевшее, как дом, из которого навсегда уехали хозяева.

Она глубоко и счастливо вздохнула и осторожно начала проверять контакт с телом. Замечательно! Переезд удался! Она обживалась в новом доме, в новом теле. С удовольствием потягивалась, привыкая к забытым ощущениям. Понятно, почему Ленка последние дни такая квёлая ходила – от усиленных занятий балетом мышцы и теперь побаливали. Ах, хорошо! Как приятно ощущать чуть постанывающие крепкие мышцы, гибкие эластичные ноги, руки. Она радостно засмеялась.

Ленка, совершенно ошалевшая, металась по комнате, натываясь на стены, потолок, мебель.

«Почему? Как? Что такое? Как это? Она украла моё тело! Подлая старая ведьма. А-а-а», – пыталась она выкрикнуть, но крика не получалось. Даже звука не получалось. Её заносило то вверх, то вниз.

– Нечего беситься, – отмахнулась рукой вверх, в сторону люстры Валентина Сергеевна. Она не видела Ленку, но отчетливо представляла, что та вытворяет. При желании она могла напрычься и разглядеть тонкие материи. Но не хотела.

– Ты не заслужила такого тела, – наставительно сообщила она в потолок. – Да и досталось оно тебе наверняка по ошибке. Такой подарок от судьбы, и как ты его использовала? Ни ходить не умеешь, ни говорить.

Валентина Сергеевна с удовольствием рассматривала в зеркале своё, – теперь уже своё, идеально красивое лицо. На сей раз она обо всём позаботилась заранее. У неё было достаточно времени, чтобы изучить объект. Хватило времени и хоть немного поднять уровень вибраций. Не зря она отпаивала Ленку тибетскими травами. Девушка-то была совершенно дремучая, абсолютно не развитая ментально. И материальные проблемы решены лучшим образом. Не придётся, как прошлый раз, начинать всё с нуля.

Но надо же, как тогда не повезло! Скрежет, хаос, ужас, боль, переломанные кости... Она едва успела шмыгнуть в первого, повалившегося под руку. А первым оказался убогий чекист. НКВД-ешник Мужчина. И очутилась она вместо лондонского особняка в 10-й метровой комнатёнке. Это бы полбеда, она оказалась в мужском теле.

Когда она теперь слышит об участившихся случаях перемены пола, то не поджимает губы, как её закостеневшие однолетки. Нет, она-то прекрасно понимает какво жить в чужом теле. Чудовищно. Как в тюрьме. И опасно. Выдает всё – походка, манера говорить, двигать руками, смотреть. Теперь таких называют «голубые, швули, трансвеститы». На Западе даже в правах уравнили, однополые браки разрешили для сексуальных меньшинств. А в то суровое предвоенное время подобные персоны подлежали строгому пролетарскому осуждению.

А тут еще война! Чтоб не загреметь на фронт пришлось быстренько переезжать. Выбор был не велик. Комсомолки-пролетарки не годились. Хорошо, у генерала дочка была трёхлетняя. Переезд был простой. Пришлось, правда, пройти весь скорбный путь – нянька, школа, институт. Но расчёт на папу-генерала не подвёл.

Валентина Сергеевна не могла налюбоваться собой в зеркале. Наслаждалась ощущением, как завихряются молодые бурлящие силы. С удовольствием наблюдала, как изменяется её лицо, как появляется то, что называют манкостью, или харизмой. Талант идёт изнутри, зависит от души. С такой красотой, – конечно, в актрисы. Когда-то, много-много лет назад, она звалась Адриена Лекуврер и блистала на сцене. Правда, играли тогда по-другому. Она снова радостно засмеялась и продекламировала на французском отрывок из монолога Федры, сопровождая чтение драматической жестикуляцией. Как изменились времена! С таким чтением осмеяли бы на первом туре. Но талант остаётся талантом. Теперь актрисы рвутся не в Комеди Франсез, а в Голливуд. Туда и двинемся! – Ты здесь ещё? – снова обратилась она к Ленке. – Ты ничего бы не достигла. Ты не прочла ни одной книги. Что ты знаешь о театре, о кино? Об искусстве? Посмотрела пару американских фильмов. И туда же, в звёзды. Ты даже не потрудилась за собой следить, грязнуля. Нажила грибок на ногах. Что трудно было ноги мыть? А мне теперь избавляться. Лети отсюда. Лети. И будь в следующем воплощении умнее. Она взяла телефон и набрала хорошо знакомый номер домашнего врача:

– Извините, – дрожащим от слез голосом прошептала в трубку, – это Лена Лебедь. Да, воспитанница Валентины Сергеевны. Вы не могли бы приехать? Кажется, ей плохо. Кажется, она умерла.

И зарыдала.

(Я всегда умела вживаться в образ).

Через полтора года Елену Лебедь, студентку второго курса ВГИКа, Джеймс Кэмерон¹, пригласил в Голливуд.

¹ Джейм Кэмерон, режиссер, снявший «Титаник», «Аватар», «Терминатор». Награды: Оскар, Золотой Глобус.

Леонид Бердичевский

ЗВУКИ (диптих)

1. Как невесом скользящий звук,
он ненадёжен, словно пена.
Не задержался и мгновенно
умчался, ощутив испуг.

И даже незаметный след
не смог оставить за собою.
Пустяк, – он ничего не стоит,
как промелькнувший силуэт.

Порыв рассыпавшихся нот
не тронул даже занавеску,
а за окном надрывно, резко,
толпа спешит, и жизнь идёт.

2. Чеканит звук ночная мгла,
не согласуясь с тишиною.
Так с набежавшею волною
не справится удар весла.

И этот беспокойный звук,
сквозь камертон души пропущен,
не в состоянии расплющить
его любой мажорный трюк.

Не заглушить его никак,
себе он бесконечно верен.
В своей назойливой манере
в ушах устроил кавардак.

* * *

Куда я спешу за расхристанным ветром?
Полнейшая то ерунда.
Со свистом он мчится, берёт километры, –
ни совести в нём, ни стыда.

Как ветреный парень, всегда шаловлив он
и тёплый, как летом дожди.
Но если он зол, – беспощаден, как ливень, –
пощады от ветра не жди.

Но, в общем-то, ветер – бродяга отпетый,
унять его, – не по плечу.
Вот-вот догоню его, кажется, где-то,
ан нет, – он подобен лучу.

* * *

Хочу я «всё» мгновенно получить,
чтоб это «всё» не провалилось в Лету,
сомнений не коснулось и советов,
не закрубились, как витая нить.

А если «нет», то так тому и быть,
пускай себе кружит по лабиринту,
я подчинён мгновения инстинкту,
в рассрочку мне неинтересно жить.

* * *

А.П.

Вот листопад уж на носу,
деревьев кроны пожелтели,
и вскоре робкую росу,
дожди заменят и метели.

Осенний холод на дворе
своим бесчинствует сюжетом...
Ведь я родился в ноябре,
забыла явно ты об этом.

А я вот помню, что апрель
весне принёс тебя в подарок,
чтоб я, его услышав трель,
был опоён твоим нектаром.

МОРЩИНА

Как шрам, глубокая морщина,
во всю щеку, наискосок.
Метаморфоз в ней список длинный,
как в тексте интересных строк.

Она крикливо-молчалива
цветной палитрой разных чувств:
то вдруг взрывается, как ливень,
то ею управляет грусть.

Она украсила собою
овал брезгливого лица.
Она наград высоких стоит,
высокомерья гордеца.

В ней слиты мужество и горечь,
и вспышка, и желаний суть.
В её страдальческом задоре
читается нелёгкий путь.

Бывает пафосной, надменной,
при возмущении красна.
Но остаётся непременно,
для собеседника ясна.

СЮРРЕАЛИЗМ

Мой взгляд уткнулся в пустоту,
сперва случайно, как бы всуе,
а после, строго по холсту
гуляет, словно бы рисует.
Вот проступает, наконец,
мозаикой замысловатой
бегущий в никуда мертвец,
как дьявол, –
злобный и лохматый.

Взгляд тешит всё, до мелочей:
желанье, огорченье, позы,
часы, плывущие в ручей,
со стрелками, как две занозы.
Тут безголовой дамы стан, –
он с похотливостью блудницы,
кипящий, с грешниками, чан. –
реальность: правду с небылицей...

Дали, Танги, Рене Магритт –
все живописные фантасты –
и власти собственных флюид
отдались с непомерной страстью

РАЗГУЛ ПОГОДЫ

Идёт перебранка каштанов и лип
с подначками ветра,
их хруст переходит в нервический скрип –
фокстротом из ретро.

Вдруг пакостный дождик собрался в грозу,
и громом затаивкал.
Затеяли в воздухе ветры бузу –
толкучую давку.

Но тучам наскучил природы скандал, –
рассеялись в небе.

И гром задохнулся, наверно, устал,
оставил лишь трепет.

ЧИРИКАНЬЕ

Я.Б.

Февраль-плутишка
прорвался в март.
Хоть и одышка,
зато азарт.
Весне навстречу,
вот так фигляр!
Но как беспечен
хитрюга-март.
Сыграл интрижку,
как пастораль.
Как «чижик-пыжик»,
игрив февраль.
Март рад стараться,
стремится вдаль.
Луч брызнул вкратце
и чист асфальт.
Куда стремится?
Ах, ну и ну! –
ловить на лицах
свою весну.

* * *

Тосклива ночь и неприветна,
пугливой тишины полна.
Но ветер шёпотом заветным
вползает грёзой в прорубь сна.

По дому, что живёт напротив,
мрак от зашторенных окон.
Фонарь погас на повороте,
лишь пьяный катится жаргон.

И ночь томительна и длинна,
в ней урбанизма силуэт.
Но из-под ночи балдахина,
вот-вот проявится рассвет.

[47]

Рождение дня начнётся яро
привычным шумом за стеной.
И горло запершит катаром
от суетливости дневной.

ЭЛЕГИЯ

Когда уходит свет,
проваливаясь в сумрак,
и Вечность шепчется
о чём-то с тишиной,
тускнеют кроны лип,
окрашенные в умбру,
и облака плывут
на временный постой.

Тогда под робкий свет
своей настольной лампы
пытаюсь воскресить
заветные мечты,
хоть краем зрения
мне оказаться там бы,
где юность расцвела,
где помыслы чисты.

Где был простор страстям
заполнен не напрасно,
он создавал в душе
особенный настрой...
Укрыло время всё
своей злорадной маской,
чтоб юность схоронить
под призрачной плитой.

О, сколько лет ещё
проглотит серый сумрак,
и не мелькнёт просвет
в обыденности дней?
Когда б судьба моя
свой отменила юмор,
под клавиш перестук
назойливых дождей.

ЗЛАТАЯ НИТЬ

Куда спешу я мыслью яркой,
кого стремлюсь опередить?
Я знаю: царственным подарком
в моей судьбе золотая нить.

Я преданным судьбе слугою
безропотно стараюсь быть,
чтоб молниєю золотою,
мне до конца служила нить.

* * *

В ручье гекзаметровых строчек
ритмический заложен строй,
и то, чтоб сделать их короче,
наивней глупости любой.

Гекзаметр, всего скорее,
поэтов сможет так увлечь,
что ямбы, дактили, хорей,
ему не помешают течь.

Его спокойное дыханье,
как вся бесспорность аксиом,
поэтам бросила посланье:
«Гекзаметр – ваш вечный дом!»

ВИНСЕНТ ВАН ГОГ

Константину Кербелю

Я с детства чувствовал фактуру
и технику мазков Ван Гога.
Он трепетно, но очень строго
не уклонялся от природы.

Был неуклюжим, рыжим, тощим,
у женщин не имел успеха.
Ну, словом, как живые мощи,
но это не было помехой.

Его бодрил гашиш с абсентом,
и подрывал здоровье климат.
В карманах лишнего сантиметра
не заваялось у Винсента.

Мир принимал всерьёз и грустно,
не улыбался, не рыдал он.
Творил Ван Гог своё искусство, –
был честным, работающим малым.

Писал картины чистым цветом:
портреты, небо, солнце, крыши,
подсолнухи – без передышек, –
любил он Арль жарким летом.

Пленэр его сплошные сутки
то лихорадил, то бациллил,
привёл к лишению рассудка,
а после, в тридцать семь, в могилу.

Михаил Верник

СПИНА!

Где она только начинается, и где заканчивается? Неужели всё, что от макушки и до копчика, спина? Если да, то у меня всё болит. Но ведь ноги не спина, но и они у меня болят. В общем, я весь состою из спины. Мне всё болит. Каждый шаг, каждый наклон и попытка выпрямиться, доставляют мне боль. От этой боли я иногда смеюсь. Нет, я не сумасшедший, я смеюсь над собой от безысходности. Помочь мне никто не может.

Жизнь моя на этом закончена. А ведь как всё начиналось...

Сначала всё было хорошо. Я жил, любил, занимался спортом. Играл в большой теннис. В Берлине это модно. Но однажды во время игры, принимая мяч, я подпрыгнул и уже в воздухе понял – доигрался! Как я приземлился, не помню. Помню крики – вызывайте скорую, он умирает. Я пошевелил ногами и руками и понял: я ещё живу.

В больнице мне сделали рентген и сказали, что у меня сместился пятый позвонок и немного шестой, что это не страшно, и что я буду жить, но плохо. То есть, до тех пор, пока мне вставят позвоночки на место. Немецкие врачи пытались, но не смогли. Тётя Ася купала и натирала меня мочой, но и это не помогло, и к боли прибавился страшный запах ослиной мочи.

Потом меня мазали синей глиной. Глина сходила с трудом, и моя кожа посинела. К боли, запаху, прибавился синий цвет кожи. И когда я уже думал о смерти и перевязал живот верёвкой, чтобы задохнуться, моя тёща вызвала за большие деньги тибетского монаха Чжасчи Тобгял и его помощника Церин Вандю.

Моя квартира превратилась в центр тибетской медицины. Как я говорил, слухи в нашем городе распространяются быстрее, чем... в общем, быстрее, чем надо.

В самый разгар лечения, когда Чжасчи Тобгял разложил на моей спине кости умерших животных, а Церин Вандю запел грустную песню, в дверь позвонили. Тёща открыла и я услышал:

– Циля, я случайно узнала, что к вам приехал сам Чжасчи Тобгял, это правда?

Не успела тёща ответить, как тётя Ася уже стояла рядом с Чжасчи Тобгяла.

– Циля, что он делает?

– Он лечит Мойшу. Ты что не видишь?

– Циля, я вижу какие-то кости, и кто-то воет. И пахнет у вас, как в рыбном ряду на Привозе.

Сейчас я буду лечить Мойшу по новой системе.

Чжасчи Тобгял не успел вернуться, и кости полетели в его сторону. Тётя Ася недолго думая, забралась на мою спину и стала ходить по ней, как по земле. Последнее, что я увидел, было искажённое от страха лицо Чжасчи Тобгяла и летевшая ко мне тёща.

В туалет меня заносили на руках. Ел я сам. Чжасчи Тобгял и его помощник пропали, и больше в Берлине их не видели. И на Тибете тоже.

На этом можно было бы закончить мою историю.

Но!!!

Слухи в нашем городе опережают рост цен на бензин. Но слухи слухам рознь.

Сначала о нём заговорили шёпотом и оглядываясь по сторонам. Говорили, что он приехал из Москвы. Потом тётя Ася доказала всем, что он прилетел из Киева. Но хромой Эберхард, сам, лично побывав у него, выяснил, Fisioterapoit родился в Одессе.

И тогда город вздохнул. Одессит, да ещё массажист высшего разряда, этого в Берлине ещё не было. Записывались к нему на приём, как когда-то в ОВИР за визами. Моя тёща сделала то, что вошло в историю Германии.

С помощью тёти Аси она взяла где-то инвалидную коляску и два белых халата.

Утром вдоль очереди шли две медсестры и толкали впереди себя коляску. В коляске, как вы понимаете, сидел я.

Тёща сквозь зубы шептала мне

– Мойша, сделай идиотское лицо. Покажи им, что тебе больно.

Очередь попыталась нас остановить, но тёща кричала:

– Эр ис кранк! Эр зи ниht верштеен. Их кракеншвестр. Унд дус ист майне помошница.

Нас пропустили.

Увидев меня, массажист, он же Антон, сказал: – Очень хорошо! Где болит?

Доктор, вы что, не видите, он в коляске, спина у него болит, – вместо меня ответила тёща.

– Очень хорошо, болит, значит, жив – и массажист крикнул, – на стол его, на стол.

Появились люди в белых футболках, подхватили меня и понесли. Больно мне не было, нет, я не чувствовал боли, я ничего не чувствовал. Я просто хотел убить массажиста и людей в белых футболках.

Меня положили на стол с дыркой для лица. Пол был паркетный и чистый.

– Ну, будем вас лечить, если будет больно, кричите, – сказал доктор, и я почувствовал, как его пальцы побежали по моей спине.

– Больно?

– Очень.

– А теперь?

– Тоже.

– А сейчас?

– Нет.

– Так я вас не трогаю, как же вам может болеть, – пошутил массажист.

– Ты на ком эксперименты делаешь доктор? На мне? Ты это брось. А не то я тебе больно сделаю.

Целый час массажист крутил мне ноги, руки, голову и гладил копчик.

Через час, вспотевший, голодный, но довольный массажист закричал: – Ставьте его на ноги.

Появились люди в белых футболках, подхватили меня и поставили на паркет.

– Ну, идите, идите, вам уже легче.

Я закрыл глаза и пошёл. Дошёл до стены, развернулся и пошёл обратно. Дошёл до массажиста, развернулся, и открыл глаза. Оказывается я стоял на месте.

– Ну, идите, идите...

На крик – да, идите, – в комнату забежала тёща.

– Вы кого и куда посылаете, массажист несчастный? Моего зятя?

И тёща левой рукой, заехала массажисту по печёнке. Люди в белых футболках откатали массажиста быстро. Увидев, что я стою, как памятник, а тёща немного отвлеклась, он подскочил

ко мне, и со всего маху, коленом вlepил мне в районе копчика и седалищного нерва.

Ток пробежал по моему телу. Из глаз вылетели искры. В голове что-то загудело, и мой позвоночник зашевелился. Я чувствовал, как он вытягивался, как боль уходила в копчик, потом ниже и пропала.

Не дожидаясь второго удара коленом, я побежал к двери. За мной с коляской на спине бежали тёща и медсестра.

Я выздоровел. Я снова стал человеком. Правда, когда начала побаливать спина – тёща лечила меня коленом.

В общем спасибо Антону. Если бы не он, я бы полетел на Тибет. Чжасчи Тобгял и Церин Вандю не оставили бы меня в беде.

ПОКАЯНИЕ

Я сидел на скамейке в больничном саду и наслаждался прекрасным летним утром. Аппендикс мне удалили, жизнь казалась прекрасной, и вдруг:

– Вы меня извините, но мне нужно поговорить с кем-то. Я знаю, вы меня не понимаете, ведь я из России, и по-немецки разговариваю плохо, а вы настоящий немец, но вы не волнуйтесь, не бойтесь меня, мне просто хочется поговорить. Вы только слушайте...

– Вы понимаете, я ведь думал, что мне каюк, сам врач сказал:

– Вам, господин Шибсик, осталось жить недолго. Мы пока не знаем, что у вас, но рентген обмануть нельзя, поэтому – готовьтесь!

Вот я и перепугался! Меня в палату поместили, где два немца, а я же по-немецки ни бэ, ни мэ, ни ку-ка-ре-ку. Лежат они, на меня смотрят и что-то мурлычат. Потом тот, кто постарше, подходит и говорит:

– Du bist russe? Kans du mich verschteen?

Понимаешь, это он у меня спрашивал, понимаю ли я его, а я, дурак, ему ответил:

– Ja, ja, verschteen!

И он два часа что-то мне рассказывал, потом повернулся и показал... в общем, шрам у него через всю... ну, ты понимаешь, оказывается, он на войне был лётчиком, вот и получил очередь из пулемёта в то место, на котором сидел. Потом, ему все пули

вытащили, а одну не заметили. А теперь она дала о себе знать, и её будут удалять. Так он мне два часа голову крутил, а у меня там одна мысль: – у меня времени на эту чушь нет, мне скоро умирать. Так я на него, как крикнул: – niks verschteen, понимаешь – niks verschteen, и пошёл ты...

Потом долго лежал и думал, что делать. Времени жить не осталось, а прожил-то всего ничего... вот и решил покаяться перед теми, кого обидел.

Позвонил жене, рассказал всё, попросил привезти водки. Всё равно мне уже ничем никто помочь не может.

Жена примчалась, на кровать упала, меня придавила и кричит, кричит... еле успокоил.

Потом говорю: – Хочу перед тобой, жена моя, покаяться, ты уж меня извини, если что не так было. Прости меня, если можешь.

А она мне: – А за что прощать? Ты что натворил? Ты уж признавайся, ведь если на земле извинят, то и на небе простят.

Велел ей налить водки, признаваться будет легче. Она бутылку вынула, полный стакан налила и говорит: – Давай, любимый, как перед Б-гом.

Я раз, стакан пропустил, а старый немец, как это увидел, так белый стал, и трусить его начало, и трусить.

А я жене: – Налей ещё граммуюлку, а то в горле пересохло.

Она налила, я выпил и так тихо, по-семейному, ей говорю:

– Так вот, Наденька, я тебе изменил с твоей подружкой Светкой. Четыре раза. Чёрт попутал, извини, если можешь.

Лежу, жду, когда она меня бить начнёт. А она:

– Дурак ты, Сашка, вот дурак! Ну, изменил, погулял, так на то ты и мужик, а что со Светкой, так лучше с ней, чем с незнакомой. Я-то её знаю, хорошая женщина, интересная, значит, вкус у тебя есть. Ты лучше не умирай и гуляй, как хочешь, ты мне живой нужен. Что мне за польза от мёртвого?

Тут мне легче стало, и я ей:

– Налей, Наденька, налей и иди домой, завтра придёшь.

Допил я бутылку, посмотрел на старого немца, а он одеяло на голову натянул и так тихо, тихо:

– Hilfe, Hilfe, er ist verrückt...

В общем, он подумал, что я сумасшедший. А как остаться нормальным, когда тебе осталось жить пару дней?

Вот я и подумал, а ведь Светкин муж мне вроде сосед и друг. Ну, если не совсем друг, то товарищ – это точно, а после все этой

истории мы с ним почти родственники. И решил я перед ним извиниться.

Позвонил, сказал, что умираю, попросил привезти бутылку водки. Он приехал.

Увидев меня, сразу принялся меня успокаивать:

– Ты того, и не думай, врачи тоже люди и ошибаются, вот моему знакомому... И начал нести чепуху.

Я его остановил и говорю:

– В моём случае врачи не ошиблись, и мне осталось жить не долго, вот и решил я перед тобой покаяться. Налей нам по стаканчику.

Выпили мы. А немцу старику ещё хуже стало. Он вообще перестал шевелиться.

– Ну, – говорит мой друг, – кайся.

– Понимаешь, Толик, – это друга моего так зовут – у тебя есть жена, и у меня есть жена, и обе они женщины, а я... ты, Толик налей нам, а то мне говорить трудно, налей.

Выпили мы. Закусили мандаринкой, я её у немца со столика взял. Ему она не нужна, он как увидел, что мы бутылку допили, так с выпученными глазами и замер. Подул я ему в глаза, а он и не моргнул.

А Толик требует: – Кайся, раз позвал, мне ещё домой надо.

Я продолжил. – Толик, хочешь – верь, хочешь – нет, но согрешил я с твоей женой. Говорил я ей, что плохо это, а она мне: – Ты трус. Вот я и доказал ей, что она ошибается. Жене я всё рассказал, она мне простила. Говорит, всё равно умираешь, какая польза мне с тобой ругаться. Так что, Толик, можешь ударить меня, плюнуть мне в глаза, а хочешь, убей. Мне всё равно осталось жить пару дней.

Смотрю, Толик побледнел, на меня смотрит, кулаки сжимает, вот - вот ударит.

Потом Толик на пол плюнул и говорит:

– Ну, блин, сейчас я ей покажу, кто трус, а кто нет. Сейчас я её в гипс уложу.

И не прощаясь, ушёл. Так я и не понял, простил он меня или нет.

А утром на обходе врач меня спрашивает:

– Господин Шибсик, так мол, и так, вы, случайно, никаких железок не проглатывали на днях?

И тут я вспомнил.

– Как говорю, не проглатывал, проглатывал, и не случайно. Выпил я с друзьями и поспорил, что проглочу два еврика. И про-

глотил. Так они не поверили с первого раза, и я ещё два еврика проглотил.

Тут доктор, как закричит:

– *Ihr seid verrückt! Wir haben gedacht ihr seid Tot krank.*

Ну, в общем, доктор кричал, что я дурак, они подумали, что смертельно больной.

Потом они вытащили четыре еврика и говорят:

– Идите домой... и ещё что-то сказали, но я не понял

А я вот теперь стою и не знаю, идти домой или как? Там жена и Толик.

Может, мне действительно лучше было умереть? Ладно, пойду, скажу, что разыграл их, может, поверят. Как вы считаете, поверят мне или нет?

Я сделал вид, что не понимаю его, и ответил:

– *Ich sie niks verschteen, понимаете – niks verschteen, и пошёл ты...*

Нора Гайдукова

ПЛАТФОРМА №17

Тысяча двести разных людей
Пришли на платформу №17 .
Они положили вдоль неё пять тысяч роз.
Старая дама с глазами зелёными
Рассказала, как ей удалось спастись.
Бургомистр был очарователен.
Руководительница еврейской
Общиныы, как всегда, мила.
Хор пел о маленьких детях,
идущих на прогулку.
Кто-то прочел чудесные стихи о том,
Как мы разобьём лёд непониманья.
Раввины не смотрели друг на друга.
Молодые люди из еврейской гимназии
С любопытством смотрели на публику,
А пожилые немцы смотрели на них.
Гамбург уже отрапортовал,
Что он «юденфрай»,
Когда восемнадцатого тишрея
Отправился первый поезд в Освенцим.
Семь тысяч людей оторвали от их близких.
Семь тысяч рук прощально машут из окон.
Семь тысяч оборванных песен
На ноте боли, повисли в воздухе..

Теперь мы стоим на платформе
Номер семнадцать -
Это счастливое число
Мы еще живы.
Нам повезло.

ОТВЕТ ГЮНТЕРУ ГРАССУ

*Пришел Святой Дух
и убил Ангела Смерти...
Козлёнок, козлёнок*

Пасхальная Агада, 5772

За жестяным не прячьтесь барабаном,
Стараясь здесь прослыть гуманным.
Конечно, старость не подарок,
А жажда славы из таких приманок,
Что отмечает всё, помимо темы.

СС-солдат остался в теле,
Стареющем, но помнящем былое.
Нацистское счастливейшее детство
Осталось в сердце.

Израиль — это маленькая
Дверь Вселенной —
Место встреч, потерь
И мысли нетленной.

Но безумья черная волна,
Как бурка, что женщине
До смерти суждена.
Иран с аяталлю Хомейни -
Ах, Гюнтер Грасс -
Вы больше не в тени.

Не надо лгать —
Еврей и Израиль — синонимы,
Как нацист и антисемит.
Так пусть труба трубит

И заглушит ваш ржавый барабан.
Здесь Холокоста лжец и ветеран
Приветствовал темнеющую тучу.
Пусть не прольётся атомным дождём.

А ложь о «бедных палестинцах»
– такое же клише,
как «всемирный заговор еврейский».
Все это — порожденье тёмных сил,
Их Дух Святой, как прежде, победил.

РОДИТЕЛИ

Никому не нужны старые родители.
Ну, что вы попусту терзаете
Телефонную трубку?
Оставайтесь там, где вы есть.
Ваша жизнь, полная
Бессмысленной суеты,
Уже никого не волнует.
И только редкие
Телефонные звонки,
Таких же как вы,
Никому не нужных,
Нарушают тишину
Вашего уютного склепа.
Но когда вы отправитесь
В ваш последний полёт,
Не берите с собой
Ваши обиды.
Возьмите только
Вашу Любовь.

Марлен Глинкин

УХОДЯ – УХОДИ...

Абрам Иванович прошел большой жизненный путь. Судьба одарила его разными профессиями, в том числе и литературным дарованием.

Он стал писать, будучи школьником. Как-то в классе задали сочинение на тему «Куда летишь ты, Русь?» (по Гоголю.) Он написал, куда она несется. Директор сжёг сочинение и развеял пепел над улицей, через окно.

Мальчик, – сказал он, – что я сделал плохого? За что ты хочешь меня посадить? Ведь я уже сидел. И завуч, Илья Петрович, сидел. И математик. Почти вся школа сидела. Что ты написал? Ты прекрасно знаешь, куда мы несемся. Мы несемся в светлое будущее... Бери ручку – и пиши! Я тебе расскажу о нём». Так начался путь большого таланта. Сколько было написано за годы творчества: ни пером описать – ни устно рассказать... Рассказы и очерки, сценарии и пьесы. Он был уверен, что пьесы будут ставить, а по сценариям снимать. Но выходило наоборот: сценарии ставили на полки, а пьесы снимали в день премьеры...

Когда ему всё это надоело, он эмигрировал в Германию. Здесь его жизнь напоминала спальный вагон поезда, стоящего на запасном пути.

Он поселился в одном из лучших городов Западной Германии и стал завсегдатаем литературного клуба. Прозаики, поэты и начинающие переводчики с иностранных языков (которыми они не владели!), купались в рифмах серебряного века, вдали от окружающего мира среди ямбов, хореев и прочего.

Стремилась писать прозу, так как их авторские амбиции окупались представлениями, восприятием их опусов возможно

большим числом разнообразных героев. Авторы просто ставили себя на их место, пытаясь реагировать, думать и чувствовать в их стиле.

Абрам Иванович, более опытный среди них, доказывал, что литература – особая форма того, что можно назвать или, точнее, дать почувствовать при помощи исповеди. Литературные хитрости – это приёмы, увеличивающие исповедальность на единицу сказанного.

Однако только исповедальность сама по себе не является литературой, потому что её сюжет не является материалом искусства, хотя, по сути, ничем от него не отличается, и даже, более того, остаётся им самим и вне бытового, обыденного применения; потому что её проза звучит в контексте жизненных обстоятельств, ощущаемых нами и изложенных рассказчиком в контексте заданных условностей, ибо автором слышимого должен быть слушатель. Он мысленно переписывает произнесённое исповедующими, как переписывает действительность писатель. Только тогда возникает дыхание литературы. После творческих дискуссий Абрам Иванович заходил с друзьями в немецкую кнайпу или турецкий имбис, где расслаблялся водочкой, закусывая сосисками или кебабом, подкрепляя все это пивком.

Там-то впервые, после третьего пузырька водки, он увидел невдалеке от себя саму Смерть. Он побледнел, закричав: « Смотрите! Вот же она, прямо предо мной поджидает, Смерть! »

Друзья, естественно, ничего не видя, сердито говорят: « Ты с ума сошел, Абраша! Возьми себя в руки! »

Абрам Иванович, немного успокаиваясь, стал соображать, что Смерть стоит вдалеке, а не вплотную. Смерть стояла немного и исчезла, словно растаяла в сигаретном дыму. Он понимал, что Смерть никуда не делась, а лишь временно отступила. И теперь она реально, почти вплотную подступила к нему.

Жена говорила, что на всё воля божья и не следует о смерти думать. Когда придёт, тогда и надо о ней печалиться. « Уже поздно будет » – увещевал её Абрам Иванович.

Иногда он вспоминал пьяную рожу алкаша из кнайпы, который внушал ему мысль о его предназначении и жизненных задачах.

В ответ Абрам Иванович сокрушался, что нет у него никаких предназначений и задач, что родился и живет, как все, не испытывая радости от жизни. « Поэтому и подступает к тебе Смерть », заключал алкаш.

В эту сентябрьскую ночь Абрам Иванович не сомкнул глаз.

Утром предстояла сложная операция на сердце, связанная с ишемической болезнью, требующая замены четырех «сосудов-байпасов», питающих кровью сердечную мышцу.

Всё было неожиданно, хотя последние годы его не покидало чувство приближения смерти.

Абрам Иванович прикоснулся к виску и услышал его неритмичную работу, деятельность поразительного живого сердца – это был шум чуда, никогда ранее не воспринимаемый звук размашистой работы, как потайная сказочная быль, рассказанная кровью. Он стал понимать, сколько трудов проделывают его органы, клетки, молекулы, сколько происшествий на венозных дорогах и капиллярных тропах случается незримо, каковы столкновения – между жизнью и смертью.

Он лежал в палате Главного сердечного центра Германии, где целыми днями велись насыщенные откровенные разговоры... Его, явно, ожидали коллеги по койкам, когда он отлучался, он и сам скучал, когда на полчаса расставался с ними. Здесь была зона пониженного лицемерия. Роскошь, возможно, умирающих – в искренности, в состоянии ожидаемого конца.

Абрам Иванович взглянул на двух мирно спящих соседей, вспомнил их вчерашний разговор и улыбнулся... Тогда один спрашивал у другого:

– Как вы думаете, если резник сказал надо, – значит надо резать?

– Что вы имеете в виду? – спрашивал второй.

– Я имею в виду левый сердечный клапан правого желудочка...

– Не жалейте ничего: режьте правый и левый. У них здесь есть всё: хорошая техника, инструменты, руки...

– Вы попали в самую точку: меня таки очень волнует вопрос кошерности их инструментов. У них ножи и вилки могут быть разные?

– Могут. Но вы же будете спать, а во сне вы ничего не увидите.

– А если нужно будет влить кровь? От кого она будет? От немцев?

– Почему от немцев. Лично для вас пригласят делегацию габаев, из синагоги, которых приглашают, когда на похоронах не хватает для миньяна, и они за те же 10 евро, отнесут вас на руках в операционную, где вам пустят кровь и, даст Бог, принесут обратно! Мой сын тоже там подрабатывает. Вы же знаете, что деньги не пахнут, особенно после дезинфекции.

Умирать Абраму Ивановичу не хотелось, но подготовиться к этому он считал необходимым.

Он сочинял эту подготовку весело, она захватывала его.

Гонораром за этот опус, материалом, служило его поведение, увиденное зоркими свидетелями, по нему составилось бы мнение о нём, как о человеке, показавшем, как надо достойно умирать.

Может быть, так вели себя перед дуэлями гордые, юные гусары.

Абрам Иванович улыбнулся, посмотрел на часы: до рокового путешествия в неизвестность осталось четыре часа. Он спешил завершить «прощальные» письма к жене и к сыну, давая, на всякий случай, последние указания относительно своих похорон, сохранения его «литературного наследия», советы, если их жизнь продлится без его участия.

В частности, он просил похоронить себя на православном кладбище, ибо ему очень не нравился иудейский ритуал, когда покойника хоронят в закрытом гробу, без цветов и напутственных речей. Правда, репетицию всех этих речей он уже слышал, когда отмечал свой 75 летний юбилей, но хотелось на прощанье услышать голоса друзей в последний раз. Кроме того, открытый гроб давал возможность увидеть собравшихся на погребальный ритуал. Показать себя соратникам по литературному цеху и малочисленным родственникам.

Он советовал жене заказать двойной участок земли, чтобы они были рядом и в загробном мире. Под утро Абрам Иванович задремал над рукописью. Ему привиделся его кумир – Миша Жванецкий, с которым, много лет назад он познакомился в Подмосковном Болшево, на семинаре эстрадных авторов.

– Миша, – сказал Абрам Иванович – тебе не обидно, что ты всю жизнь боролся с бюрократами, приспособленцами, стяжателями, а их ряды растут бесконечно. Сквозь сон, он услышал в ответ:

– Они бессмертны. Знаешь почему? Мы улучшали их породу, съедая слабых.

– Да, Миша, сейчас, когда тебе за семьдесят, когда пора уже подвести первые итоги, ты уже познал успех, славу, дружбу, зависть, любовь женщин и радость отцовства, чего тебе еще желать? Разве что бессмертия?

– Не надо бессмертия. Пусть я умру, если без этого не обойтись, но зачем же так быстро! Нельзя ли просто: упал и перестал....А

если этого не избежать, то хочу в ком-то произрасти или перейти в кого-то и посмотреть, что будет дальше.

– Как бы ни сложилось дальше, – сказал Абрам Иванович, – уверен, что тебя, Миша, не забудут наши потомки.

На словах о потомках Абрам Иванович проснулся, чуть не проспав момент, когда за ним приехали с каталкой медсестры. Его повезли по белоснежным коридорам к лифту, затем в операционный зал.

У лифта его встретила жена, напомнила о своей любви, добавив, что ЛЮБОВЬ побеждает смерть, значит все обойдётся, ибо пятьдесят лет совместной земной жизни – гарантия благополучного исхода операции.

Вначале ему сделали укол в вену левой руки, он начал уходить в наркоз с мыслью, что человек рождается для других и только умирает для себя...

В сознании промелькнуло состояние клинической смерти, случившейся с ним в шестидесятые годы, во время операции, при перитоните. Тогда казалось, что он влетал в черную трубу, похожую на аэродинамическую. Внутри неё было что-то вроде вознесения. Покой и легкость. Вылетаешь на яркий свет. Родственники, умершие когда-то, встречаются. Вокруг ангелочки порхают. Абрам Иванович подумал, что традиция таких положительных эмоций большинства «покойников» связана с мистикой убеждения в существование души или той незримой части индивидуума, которая оказывается частью мировой души, вселенского духа, а потому приобретает мгновенное могущество...

С этой мыслью он погрузился в глубокий сон, из которого ему не суждено было вернуться...

Сначала все шло хорошо, но в какой-то момент сердце неожиданно остановилось, ибо оторвавшийся тромб закупорил артерию, питающую сердечную мышцу.

Все усилия хирургов и анестезиологов были тщетными...

Абрам Иванович ушел в мир иной с умиротворённой улыбкой, душевным спокойствием и верой в Высший Разум. Возможно, впервые произнеся имя Бога, потому что попал в беду. Просил прощения за то, что не верил в Него по слепоте своей. Бог звал его к себе, предлагая спокойствие и холод. Была бы ЛЮБОВЬ настоящая, она возможно и продлила бы счастливые минуты его земной жизни...

Теперь Абрам Иванович лежал в простом сосновом гробу, подготовленный к прощанию. Впервые лежал на спине, а не в

любимой позе, на боку, скрестив на груди руки. Гроб пахнул сырой древесиной и лаком, что было не особенно приятно, так как Абрам Иванович привык к теплу и уюту.

Выставленный на всеобщее обозрение, как Ленин в Мавзолее, он чувствовал себя экспонатом, телом давно минувших дней. Однако лежать было удобно, и он мог не спеша рассмотреть пришедших проводить его в последний путь.

Народу, судя по гулу голосов, собралось много. Его любили за честность, добропорядочность и чуткое отношение к людям. Предполагалось традиционное поминальное застолье под водочку с селёдкой и другими блюдами российско-украинской кухни.

Он живо представил себе заполненный провожающими зал ресторана «Голубая луна», где не однажды устраивались поминки ушедших друзей. Представил, как согласно его просьбе Жена поставит записанную им «прощальную» кассету, с его текстами и голосами любимых исполнителей: Высоцкого, Галича, Шевчука и Талькова... Прозвучат его прощальные стихи:

Ну, вот и нам пришла пора прощаться...
Банальная развязка.
Вчера она касалась лишь других,
А нынче, словно чёрный ворон,
Влетела в мой прощальный стих.
Душа задохнулась от боли
И сердце на части рвётся,
Сегодня прощальный ужин,
И жизнь за чертой остаётся...

Люди будут говорить о нём, утешая Жену, что всё она сделала правильно, что достойно организованы похороны, что, несмотря на её возраст, жить необходимо для сохранения памяти о нём, для сына и будущих внуков.

Многие будут советовать, где заказать памятник, чтобы не дорого, но красиво.

Отрицали его желание сделать на памятнике надпись: «Рождённый ползать – взлететь не может!».

Слушая их речи, Абрам Иванович вспомнил, что в больнице слышал от соседей по палате образцы надписей на кладбищенских памятниках:

«Циля! Теперь ты веришь, что я был очень болен?»;
«Здесь лежит тот, кто должен был сидеть»;
«Дорогому брату от сестер и братьев – на добрую память»;
«Спи спокойно, дорогой муж, кандидат экономических наук»;
«Ты ушла от нас так рано, дорогая мама! Благодарные дети».
«Вот и всё!»

Абрам Иванович попытался улыбнуться, хотя это было не к месту и не ко времени. Провожаящих в ритуальном зале прибавилось. Отсутствие руководства еврейской общины, отдельных представителей клубов городов-героев, научного общества и литературного клуба немного огорчало Абрама Ивановича, но он поймал себя на мысли, что сам виноват, так как пренебрёг еврейскими традициями, бросив вызов общественности.

Но это были мелочи. Он был благодарен Жене, что она надела на него почти новый итальянский костюм, белую рубашку и дорогой шёлковый галстук – подарок французского друга. Было обидно лишь, что Жена не надела ему новые лакированные туфли. Берег на свадьбу сына, но так и не дождался её...

Подумал, что женщины обычно спотыкаются на мелочах. Он это понял ещё в молодости, когда остро чувствовал мир с его оттенками. Все правильно делают женщины, когда обнимают и говорят ласковые слова, но вот, устав играть по правилам, чувствуя, что все получилось отлично, они отпускают себя, и становятся сами собой, и тогда, в мелочах, в жестах, в неловком брошенном слове, всё рушится. Женщины этого понять не могут, и объяснить им невозможно, но всё кончается сразу. Тогда приходишь в себя и тихо говоришь: «Жизнь! Такова жизнь! С этим надо смириться».

Абрам Иванович понял, как было тяжело Жене с ним в их долгой и нелёгкой жизни, с его загулами, изменами и «подвигами»...Ведь его Жена была преданной женой, заботливой матерью, мечтающей об отдельной квартире, семье, детях... А он сопротивлялся. Поэтому, на протяжении пяти лет их «свиданий», а потом пятидесяти лет семейной жизни ей приходилось нелегко. Она подчинялась его решениям, но при этом безмерно страдала и физически, и душевно.

Только теперь Абрам Иванович, каясь и прося прощения, понял: каким был безжалостным и жестоким, как это было ужасно и непростительно.

Очевидно, за это Бог его и наказал. Самое суровое наказание он уже получил: Бог отнял его у неё!

Он понимал, что время изменилось, и Бога признали вновь, но для него, полуиудея – полухристианина, не принято звать священника или раввина к мёртвому, и его Жена их не позвала. – Ведь дело вовсе не в молитвах, – думал Абрам Иванович, – дело в голосе с печалью об ушедшем, пусть и многократно уже отзвучавшем по многим другим».

Он лежал и вспоминал любимые пушкинские строки, лучшее, что он знал на земле.

Наш голос создан для стихов и для псалмов, для речи, в которой нет всякой дури.

Он давно хотел что-то сочинить на этот счет – не собрался.

Ещё думал, что последнее время, всё как-то перемешивалось в возгласах Жены. Казалось бы несовместимое: счастье и горечь, радость и уныние, свобода и заточение.

Абрам Иванович тогда ещё забывал о законе единства противоположностей и приходил в бешенство вовсе не от жизни, имеющей развивающиеся свойства, и не от этих свойств, а просто от непонятной позы жены, от её платья или ударения в слове, или желания его, Абрама Ивановича, тела. Теперь всё казалось заурядным, и те волнения, что тогда переживались, сегодня не существовали в отдельности, а причины их стали смешны или непонятны, и даже постыдны... Что это было? Просто молодость... А счастливая или нет – не знал. И никто не знал... А казалось бы, всё было, все любили. Надо уметь быть счастливым...

Вдруг он представил, как Жена, пригубив стопку водки, со слезой в углу глаза, скажет о том, что жизнь прошла без остатка, что надо доживать. Это всё было понятно, и Абраму Ивановичу стало грустно. Грустно от того, что подумал о Боге, который наделил его привлекательными качествами с малой толикой таланта – и он этим пользовался, прыгая по жизни и, как говорила Жена, «срывая цветы удовольствия».

Тешил честолюбие успехом своих книжек, фильмов и представлений, полученными аплодисментами и похвалой читателей и зрителей. Он не делал подлостей и не совершал благих поступков – жил самоуверенным эгоистом, уверенным в том, что всё должно вертеться вокруг него...

Думал, что жизнь – машина без тормозов. В детстве везёт нас на первой скорости, поэтому детство тянется долго. В отрочестве вторая скорость, в юности – третья. В зрелости скорость достигает четвертой, а в старости – мчим на пятой передаче, летим, несёмся к пропасти. Пытаться тормозить, – бесполезно: тормозов

нет. Поэтому надо наслаждаться этой скоростью и радоваться ей, каждому дарованному дню жизни, ценить личное счастье быть вместе и не уставать повторять друг другу добрые слова...

Незадолго до роковой операции Абрам Иванович услышал мудрый афоризм: «Плохо не то, что живём один раз, а то, что один раз, но плохо».

Когда один из друзей, после разлуки, посетил его в больнице и задал вопрос:

– Абраша, ты доволен своей жизнью?

Он ответил: – Доволен.

– Тебе хорошо?

– Так, как мне хорошо, так мне и надо! – завершил диалог Абрам Иванович.

Это была их последняя встреча.

В зале царил приглушённый звук множества голосов. Многие входили с венками и букетами цветов. Они подходили со сдержанной скорбью, клали цветы на грудь Абрама Ивановича, заслоняя обзор зала. Но он продолжал различать голоса.

Каждый пришедший здоровался с присутствующими, и они начинали вести разговоры, не относящиеся к виновнику «торжества»: о социале, о пенсиях, о новых гениальных произведениях, о научных открытиях бывших академиков и докторов наук.

Среди пришедших были внимательные, искренние люди, признавшие себе в такой же скорой беде. Многие могли бы поддержать разговор о забытых страданиях, отошедших со временем в разряд незначительных, однако бывших когда-то всепоглощающими и всеохватывающими спрутами, электрическими скатами, мифическими саламандрами, создающими вокруг себя пустыню. Каждый в чужом хотел отыскать своё, родное, но отыскать трудно было чрезвычайно – в собственных недрах копать никто не позволял, а, судя только по внешности, часто и горько приходилось ошибаться.

«Как долго нужно присматриваться к лицу, чтобы оно стало родным? – размышлял Абрам Иванович. Сколько слов надо услышать от человека, чтобы его голос перестал быть чужим и в его обертонах появился признак теплоты и связующего начала? Все случается незаметно и случайно, и одному только Высшему Разуму Природы известно, как это происходит. Вот руководитель нашего клуба у него за ширмой горения, руководство настроением творческого застолья? Я знаком с ним долгие годы, – промелькнула мысль Абрама Ивановича, – могу вспомнить каким

он был в молодости, могу проследить, как год от года грустнели его глаза, говорящие совершенно явственно: «Как мне все надоело!»

Подозреваю, что не в старости дело, а в непрерывных утра-тах, казалось бы, крепкой нити жизни.

У изголовья гроба два старика, числящих себя в молодых, талантливых писателях, беседуют:

– Знаешь, Миша, у меня последнее время развивается гоно-рарная недостаточность...

– Ну?! – Я же неистощим на местечковые рассказы!

– Ты просто чудо!

И вдруг они замолчали, как будто услышали внутренне: «О чем говорим? Абрам Иванович, как писатель уже умер. Именно в эту золотую осень, весьма богатую смертями, убийствами, не-счастьями и прочим. Умер, говорят, от инфаркта. А ведь совсем недавно он вел новогодний вечер, говорил автоматические хо-мы, оставаясь мыслями в себе, в своих, не выходя за пределы по-кальваний в сердце, тяжёлых предчувствиях, порывах бросить даже иногда выпивать, наконец, меньше заниматься писанием бредовых и непонятных рассказов, или даже вообще бог знает чего – словесных намеков на якобы подлинное, а на самом деле совершенно иное в глазах большинства коллег по клубу.

Так что?

А ничего... Скорей бы помянуть усопшего, ибо, как писал А. Чапыгин в своей

«Чемере»: «Пить надо непрерывно, дружок!»

И в этот момент Абрам Иванович слышит хриплый голос, как будто после операции на гортани:

– Ну, как вам борьба за власть в нашей общине? Позорят ев-рейство... Перегрызлись, как пауки в банке!

– Потому что их девиз: «Власть и деньги!» Они имеют нас всех, как девиц с Курфюстенштрассе.

– Им бы наши «цорэс», они бы по-другому смотрели на жизнь.

– Я желал бы, чтобы у них была «опухоль» не в кармане, а... – прозвучал еще один голос, – и чтоб у них ни один вопрос не сто-ял на повестке дня, как у нас!

Другой картавый голос заговорщически прохрипел:

– Господа! Придержите свои языки, всюду есть уши. Зачем наживать себе врагов, когда мы уже имеем...

И тут первый голос произнес:

– Господи, как во всех нас ещё с советского времени укоренился страх! Он просматривает и прослушивает всё, о чём мы думаем, все оценивает – цензурное и нецензурное, всё разделяя на «можно» и «нельзя»...

Неужели так было во все времена, начиная с первобытной общины? Неужели люди всегда должны давить в себе неуклюжие потаённые мысли, чтобы сохранить жизнь, и опять бояться и думать по шаблону?

То, что часть руководства общины – сволочи, знают все. Но существует рак действий, намерений и мыслей – СТРАХ!

Ты тут говоришь, а там стоят и слушают двое в кипах... Все понимают, что господин Икс, по сути, нравственный подлец, он пролез в правление общины, чтобы стать кем-то там, наварить «бабки». Но все молчат, потому что воображаемая опухоль страха поразила метастазами совесть. А это похуже сердечных заболеваний...

– Да что вы болтаете о нашей общинной жизни? – вклинивается в разговор ещё один голос. – Грядут, грядут в России и Украине тревожные времена...

Правит власть миллиардеров, коррумпированная и самая жестокая власть в мире.

Они боятся потерять награбленное, поэтому могут пойти на всё. У них нет аллергии на кровь. Президент стал вплотную заниматься бизнесом, мало того, что в России каждый мент, каждый чекист, каждый прокурор и следователь занимаются бизнесменами. В результате ментам живется хорошо, а бизнесменам – плохо. Следовало бы президенту заняться не бизнесом, а, страшно вымолвить – государством!

Тогда глядишь, и бизнес вырастет и экономика, и национальная безопасность будет на высоте. Если он это знает, почему ничего не предпринимает? Если не знает – что он вообще знает?

– А я стишок сочинил, – пропищал тоненький голосок, в котором Абрам Иванович сразу узнал поэта-переводчика Кицнельсона: «Смотрите люди! Почти даром, Москва в кольце лесных пожаров Лжедмитрию с Вованом отдана. Там олигархи молодые и кагэбисты удалые по всей России правят бал, какого мир еще не знал!».

И тут, другой внезапно добавляет, продолжая свое внутреннее молчание вслух. Жалуетесь, что в этом мире нужно жить настороже, днём и ночью помня то, что необходимо наглухо забыть,

чтобы не проговориться. Он говорит, что несколько раз рискнул: один раз, рассказал в клубе о поездке на фестиваль искусств в Канаду (по приглашению правительства Канады!), а другой – прочел стишок о президенте и...наши люди сообщили куда надо... Настучали, как в прошлой жизни. И сейчас он в опасности. Ему нужно быть осторожным. Каждую секунду может случиться. Мол, он и там, и здесь – всегда ожидает.

Помню, – говорит, – как пару лет назад за нашего покойного брались...

Незнакомец, в черном костюме, его как-то отзывает и тихо говорит:

– Я за вами давно наблюдаю. Рассказики, стихата ваши почитываю... Узрел, вы в людских душах стали копаться... Связь с врагами нашими налаживаете, лидеров наших своей писаниной пачкаете...Мы вам все припомним!..

После этого разговора сердце Абрам Ивановича и не выдержало.

– Все мы куклы, – сообщил другой. – Ты только посмотри...

Сплошные карикатуры и дружеские шаржи... Нет, я их люблю, всех этих, люблю.

А в себя смотреть страшно... Знаешь что?

– Я слушаю, – откликнулся собеседник.

– Никогда не заглядывай в себя. Так лучше. Просто живи – и все. Просто. Как собаки, как деревья... А иногда встречаются милые люди, которые всех раздражают. Слишком проникают и проникаются...

«Открыть глаза или нет? – решал Абрам Иванович, – глядеть или нет?»

Кажется, что и так всё вижу. Насквозь. Всё вокруг и самого себя. Всё кружится, но я вижу всякие подробности, сканирующим микроскопом в души к ним заглядываю, уже и сам весь в них нахожусь. Трудно открыть глаза. Даже когда они, вроде бы, закрыты. Смотрю то на того, то на другого и чувствую, что у всех есть что-то...

Каждый держится за свое огорчение, как за спасательный круг, боясь потерять индивидуальные признаки. Радость – цветные воздушные шарики, наполненные особым прозрачным туманом, легче воздуха. Радость может вознести и этим убить. Нужен балласт горестей. А посередине – эти пробковые спасательные пояса огорчений. Так и держимся. Не тонем и не взлетаем»...

Абрам Иванович продолжал смотреть на них, слушал их реплики и ощущал, что хочет, уходя, еще раз поговорить о чем-нибудь важном. Что-либо о «здесь – бытие», об их эмигрантском круге. Об одном из тех, кто в последний раз пронесится на его веках изнутри. Хотелось сказать, что «здесь – бытие» – это круг. Потом хотел спросить: «Что есть у каждого из вас «здесь – бытие»? Что есть у каждого из вас «здесь нахождение»? Что есть? И пусть кто-нибудь ответит, хотя бы попробует». Он хотел спорить. Хотел говорить о «здесь – бытие», о сотрудничестве, в котором стирается его личность и он становится средним, как и сам Абрам Иванович.

Завистники всегда на полпути к ненависти. Оставшийся путь может помочь преодолеть самая невзрачная случайность. Возможно, у зависти не может быть иного маршрута, лишь только к ненависти.

Думается, что за эти мысли многие Абрам Ивановича и не любили.

– Не мудрено излагать бесспорные вещи, – донеслось у изголовья Абрам Ивановича. Современную литературу все больше интересует спорное.

Моцарты не придумывают принципиально новых стилей. Что-то велит им делать так, а не иначе. Гениальный А. Рембо требовал от собутыльников: «Будьте современными, во что бы то не стало!» Его послушал П. Верлен.

Современно – на сегодняшнем уровне миропонимания языка, всеобщих человеческих задач. Или – непрерывно меняя оттенки всего этого? Можно поспорить...

«Давайте поспорим! – вступил второй, очень знакомый Абраму Ивановичу голос:

Последние в жизни слова были сказаны Ф. Шиллером полтавыни, в бреду. Это было в мае 1805 года, ровно за сто сорок лет до конца второй мировой войны, день в день – 9-го числа. Каролина фон Вольцоген сообщила, что у него была «крупная, пропорционально правильная фигура, что-то имеющая от военной выправки», что «руки его были более сильные, чем красивые, а их игра – более энергична, нежели грациозна».

Ещё она доводит до нашего сведения, что о своем крупном искривленном носе Ф. Шиллер говорил в шутку что, мол, он сделал его себе сам – нос был якобы от природы коротким, но в академии он дергал его до тех пор, пока не произошли заметные

изменения. Волосы великого немецкого поэта были длинными, тонкими, слегка отдавали рыжинкой. Он легко краснел, смеялся как ребёнок, громко, но как бы немного стеснялся этого смеха. Он говорил, что «тот, кто смог бы смеяться над всем на свете, смог бы подчинить себе весь мир».

Кажется, у него перенял эту мысль А. Эйнштейн, чья принципиальная улыбочка была известна до времени возникновения концентрационных лагерей. Это, разумеется, предположение, но А. Эйнштейн был и сам силен в афоризмах, – еще труднее предположить, что он не читал Шиллера».

А вы начитались, чтобы здесь, совсем не к месту, показать свою эрудицию?

– Мы все, члены нашего круга, пишем не жизнь, а примечания к ней, – вступил третий голос. – Полки заполнены собраниями сносок. Популярны те из нас, которые поприметливей. Позади у многих остается след, отпечатанный мелким шрифтом, который не рассмотреть без хорошей лупы. Многим трудно расстаться с только что написанным. Его отголоски не дают слышать новое, резонируют в пропасти своего «Я», борются с собой за продолжение существования.

Поэтому Анна Каренина была жива для Л.Н Толстого еще долго после написания романа. Сначала не прибывал поезд, вокруг что-то случалось и не позволяло её жизни окончиться. И, вероятно, всё это, оставшееся за пределами произведения, могло бы стать неожиданной другой книгой.

Казалось, что в компании «скорбящих» накапливались биологические единицы, достигая критической массы, взаимопропиная и взаимопропитывая.

Особи обоего пола подзаряжались, как аккумуляторы, от общения друг с другом, неважно с кем, не важно, плюс или минус в отвлекающих от «основного действия» разговорах. Говорили явно не об Абраме Ивановиче, а о том, кто и как выглядит, потому что с похорон предыдущих люди не виделись и спешили узнать последние новости.

Наконец, стали произносить речи, звучащие изъявлением любви к усопшему. Говорили, каким он был замечательным человеком, другом, отцом, – и вообще, какая это была светлая личность.

Одни пытались понять, дать ответ на вопрос, – почему нас покидают прекрасные люди, совершив «ампутацию счастья» для любимой жены, детей, многочисленных друзей...

Другие говорили, что он осознал своё предназначение и задание Всевышнего на земле; что только Любовь способна победить Смерть; что каждый человек ведом Богом. Узнал основной закон Его Вселенной: непричинение зла никому даже мысленно. Какие бы неприятности не случались, его любовь к Нему, Господу, никогда бы не ослабевала, а любое крушение человеческих ценностей Абрам Иванович принимал, как очищение любви к Нему, родным, друзьям – в целом, к людям.

Третьи вспоминали, что даже облик его говорил о нелепости постоянной и безутешной грусти, ибо только в малых дозах это полезно, как прививка.

Абрам Иванович говорил, что «есть, есть экстракт долголетия здоровья! Улыбки и смех – вот лучшее лекарство, и главное, бесплатное» Он щедро дарил людям это своё лекарство. Возможно, что на всех его не хватило. Произошла передозировка счастья. Вспыхнувшая на небосводе для людей «Вифлеемская Звезда» – древнейший символ человечества, погасла. Погасла, успев осветить наш маленький добрый мир, став символом созданного им Ветхого Завета. Завета, в котором он призывал отдавать людям свою душу и сердце без состраданий, свои дары духовности, чистоты, любви и нежности.

Речи никто не слушал, ибо непрерывный гул заглушал голоса.

Все ждали ритуала захоронения, а Абрам Иванович ждал сына, который поехал в аэропорт, встречать «высоких» гостей. На мгновенье гул смолк, толпа расступилась, и к гробу приблизились «три богатыря»: старший сын Георгий и, как догадался Абрам Иванович, два внебрачных сына, Марат и Кирилл, – результат полузабытых курортных романов. Их каким-то образом разыскал Георгий, пригласив проститься с «неизвестным» отцом.

Уехав в эмиграцию, Абрам Иванович старался не вспоминать о них, не поддерживая отношения перепиской, не говоря о материальной помощи.

Какая материальная помощь от старого, больного человека на социале.

По слухам, Абрам Иванович знал, что, несмотря на все жизненные трудности, Марат и Кирилл получили высшее образование. Первый стал главным менеджером крупной фирмы по торговле недвижимостью, разбогател... Второй, как отец, стал режиссером, поэтом и сценаристом, работником телевидения.

Правда, Марат мечтал стать певцом, (он обладал прекрасным голосом!), но из-за врожденной инвалидности (его руки были лишены лучевой и локтевой кости и кисти росли сразу от локтей) – стал тем, кем стал. Говорили, что он гордился своим отцом, который, по рассказам его матери, был командиром танка и героически погиб в Афганистане.

И вот через годы – эта встреча!

– Ну, вот и соприкоснулись, – пронеслось в голове у Марата. – Реально. А сколько раз я вскакивал среди ночи, когда мне снилось, что отец, наконец, объявился. И я его не знаю. Попытался прикоснуться, но понимал, что «папой» будет не он. А потом,.. потом, когда я возмужал, я хотел прийти к нему и сказать: «Ты мне дал жизнь, но ты мне не отец. Отец – не отец. Но познакомиться любопытно. Один раз живём. Писатель-танкист. Недавно он писал для кино о танкистах...

Я ждал этого дня. Опасался прижизненной, случайной встречи. Иногда во сне чудился мне его голос, чаще всего исполняющий роль моего внутреннего голоса. И лицо его, то расстроенное, то улыбающееся, то спокойное, может, самое понятное пока лицо в мире – было лицом Марчелло Мастрояни или Жерара Филиппа в моем пожизненном внутреннем кинофильме, который ставила, чего уж бояться пышных выражений? – она, непостижимая Жизнь.

Абрам Иванович хотел на радостях заплакать, но вспомнил, где он находится, и пресёк в себе эту минутную слабость.

Вдруг гроб подняли и понесли. Жена и дети шли рядом.

Абрам Иванович вспомнил этот скорбный маршрут по зелёным аллеям кладбища, ибо не раз бывал здесь на очередных похоронах, задавая себе риторический вопрос: «Кто следующий?»

Несли его, по традиции, вперед ногами, отчего ему казалось, что это он сам идёт.

Пожелтевшие листья деревьев осыпались золотым дождем, что создавало ощущение финального действия эстрадных концертов. «Может, и я – уходящая звезда нового века?» в последний раз подумал Абрам Иванович, неестественно улыбаясь.

Гроб поставили на катафалк, который, покачиваясь на ухабах неширокой аллеи, доставил его к конечной точке маршрута. Он продолжал слышать приглушённые голоса провожающих, но не видел завершающих процессию.

В последний раз, ему показалось, что зазвучали голоса артистов, с которыми ему и Жене, довелось работать в перестроечные

годы: Ротару, Кобзон, Винокур, Лещенко, Задорнов, Петросян...

Вот уже гроб поставили на могильный холмик для последнего прощанья.

Над ним склонились, кто-то целовал в лоб, отчего лоб взмок, и капли влаги скатывались по щекам на подушечку под головой.

Подняв глаза, он увидел у изголовья, до боли знакомые ветви маленького, тоненького деревца – плакучей ивы. Абрам Иванович сразу вспомнил, что посадил такую же на могиле родителей, в ушедшие в небытие годы.

Деревцо выросло, превратившись в гигантское, глубоко ушедшее корнями в землю, а могучими ветвями упиралось небо. Обладая огромной жизненной силой, желая вырваться из-под бетонных фундаментов, его корни перевернули родительский памятник и задавили кусты, лишив их солнечного света.

«История повторяется», – в последний раз, промелькнула мысль Абрама Ивановича. – Деревцо вырастет и раскинет свою зелёную крону над моей усыпальницей.

Вновь зазвучали речи – сиюминутные, фальшивые признания...

Абраму Ивановичу это изрядно надоело, и он отключил звук. Теперь, в тишине, он наблюдал за проплывающими в небе облаками и думал о своем последнем, единственном в жизни полёте в небесную даль, когда можно почувствовать себя сильным, свободным, невесомым... Пелена белого покрывала накрыла его лицо. Он догадался, что это наступила последняя мизансцена на земле.

Крышку гроба захлопнули, наступила темнота. В следующее мгновение раздались звуки падающих на крышку горстей земли и глухие удары земляных комьев. Похоронная команда приступила к финальному аккорду ритуала.

Вдруг Абрам Иванович услышал ласковые голоса давно умерших родных и друзей... Они подбадривали его, но не одобряли... Умытый горькими слезами, увидел, как мамочка открывает ему двери... и говорит: «Сынок! Уходя – уходи...»

И он ушел. Заснул, теперь уже навсегда.

Виктория Жукова

МОТИЛЬДА И РОМУАЛЬДА

В одном прекрасном городке, что на склоне холма, поселились приехавшие сюда две не самые плохие дамы сильно бальзаковского возраста. Звали их Мотильда и Ромуальда, но откликались они на простые и близкие сердцу имена Мотя и Рома.

Городок был маленький, с достопримечательностями, указанными в путеводителе, такими, как замок, кладбище, на котором была похоронена местная святая, и большим количеством мрачных сараев, в которых в незапамятные времена находились пыточные инквизиции. В этой стране инквизиция бушевала постоянно, ослабевая лишь на короткое время. Затишье определялось сменой поколений, когда предыдущее было выбито войнами, а молодёжь ещё не обрела должную силу. В стране попеременно уничтожались либо женщины, либо мужчины, а иногда и все вместе, и это наложило неизгладимый отпечаток на облик страны. Но там, где прежде жили Мотя и Рома, было ещё хуже, и здешний правитель разрешил им приехать, чтобы отдохнуть от непосильного гнёта того государства. Это оговаривалось в официальном документе, а в кулуарах правитель подмигивал сначала одним голубым глазом, потом другим – коричневым и радовался, что ещё раз смог натянуть нос ненавистному конкуренту – правителю соседней страны.

А как радовались дамы, оказавшись в этом краю! «Рай, мы попали в рай», – шептали они друг другу, глядя увлажняющимися глазами на светлую полоску небольшой речушки, теряющейся в живописных холмах. В речке плескалась рыба, большие важные лебеди, горделиво выгнув шеи, неторопливо проплывали мимо. Бобры, опираясь на крутленькие хвостики, восседали в отдалении на берегу, будто парламентарии от фракции речных

жителей. На берегу местные мужики, потягивая пиво, обсуждали свои дела. Выводок нутрий резвился тут же, плотно отобедав принесенными подношениями в виде морковок, яблок или пучков салата. «Эдем, право слово эдем» – повторяла более трепетная Мотя, глотая лекарство, чтобы унять разбушевавшееся от волнений сердце.

На другой день в постепенно толстеющей папочке появлялась новая бумажка о том, что госпожа Мотя принимала участие в собрании на берегу Ртолла и выкрикивала слова поддержки на непонятном языке. Госпожа Рома при этом настойчиво пыталась увести госпожу Мотю с места собрания. Ещё через несколько часов там же возникала приписка уже другим почерком, что, дескать, требуется усилить наблюдение за именуемой госпожой и нужно ещё раз по имеющимся каналам проверить её родословную.

Время шло, госпожа Мотя вела себя столь же опрометчиво, цветы не сажала, бельё не вывешивала, занавесками не хвасталась, а получаемые на прожитие небольшие деньги тратила в соседнем городке на книги и выставки, хотя и те и другие, по специальному распоряжению правителя, были баснословно дороги.

Госпожа Рома вела себя более осмотрительно. Ходила на разрешённые городские собрания, влилась на правах дружбы в официально зарегистрированный кружок тех, кто, как и они, приехали по приглашению. Долгими летними днями романтическая Мотя, повязав голову кружевным шарфом, просиживала под огромным платаном, под номером 6574, куря одну за другой самокрутки, плотно набитые сухим хмелем и полынью. Этим она выражала молчаливый протест против ввозимых в страну ядерных отходов, преследования бобров – нелегалов и бессмысленного, с её точки зрения, выкорчёвывания деревьев. Но почему-то прогрессивная общественность не спешила приглашать её в свои ряды и Мотя подумывала, что для усиления эффекта не помешало бы внести в ингредиенты самокрутки ещё какую-нибудь траву. А Рома тем временем наслаждалась жизнью. Катаясь на речном трамвайчике с местными жителями, она довольно бойко обсуждала на их языке рецепты местных кушаний и способы вязания изделий из бобровой шерсти. Спокойно, говорила она себе, внезапно поняв невозможность окончательно сделаться своей и быть приглашённой в чей-то дом на один из многочисленных праздников. Не такое терпели, пронесилось в её голове, пока губы растягивались в искательной улыбке. Итак, над Мотей шелестел платан, под Ромой плескалась река, но и то, и это

вдруг стало казаться враждебным. Цвета и запахи были другие, не такие, как на их родине. Не то, чтобы это особенно удручало, но надежда на светлое будущее постепенно ускользала, вызывая сосущее под ложечкой разочарование. Даже переходящая ночью маленький пешеходный мостик семья валунов, шаркающая каменными подошвами по асфальту, уже перестала вызывать улыбку умиления, хоть луна и отражалась изо всех сил в их мокрых от росы спинах, а в соседнем лесу в это время кто-то заливи́сто ухал и кряхтел.

Прошел год, и Рома вдруг всерьёз затосковала. Она начала худеть и в один прекрасный день как-то с горечью призналась Моте, что совершённое ею переселение было крупной ошибкой. Но обратного пути не было, так как границы за это время закрылись на замок и тот уже успел слегка проржаветь. Оставался единственный путь – обратиться к бобрам. Инициатором и исполнителем этой акции стала Мотильда. За время сидения под платаном она свела с ними знакомство и оказалась накоротке с самим Доминго. А в серьезно потолстевшей папочке их имена наглухо сплелись и пылающие негодованием строки ослепляли решивших ненароком заглянуть в секретные анналы. Доминго, крупный немолодой бобёр с многочисленными шрамами на поседевшей морде, молча слушал захлебывающуюся словами Мотю, сосредоточенно вертя в руке кусок обгрызенной удочки. Да, сказал он после долгого раздумья. Тоска по родине мне знакома. Я тоже иногда перестаю спокойно спать, но моя река искорежена атомными плотинами. И сколько моего народа там погибло, не передать. Но твоя Рома, наверное, понимает, о чём просит. Что же возьмём её в нашу семью, покажем ей путь домой. А ты-то как? Решила остаться? Обрела место под солнцем? Учти, тобой интересуются разные люди... Так что жди гостей и с той, и с другой стороны. Интересно, кто скорей успеет?

Первыми успели зелёные. Но странное дело, их долгожданный приход почему-то не вызвал у Моти ожидаемой радости. Мотя вяло перебирала траву для самокрутки, кося больными глазами на стоящий в отдалении дуб, и на наводящие вопросы равнодушно отвечала, что да, она против или да, она, конечно, за. Но воодушевлённые её молчаливой покорностью гости уже начали строить далеко идущие планы о том, как они выберут её лидером своего движения... Нет, нет, конечно, вы и говорите еле-еле, и живёте за государственный счёт, но не волнуйтесь, за вас всё скажут и всё сделают, а если и посадят, то ненадолго,

адвокат найдёт возможность смягчить приговор, а там, глядишь, и амнистия подойдёт. Вы же понимаете, что с нами будут обходиться не в пример более сурово. А мы уж постараемся сделать из вас героиню. Ещё прославитесь.

Мотя вдруг почувствовала, как тонкая цепочка, связывающая её с новой страной, превращается в тяжелую цепь со строгим ошейником на конце, который, вгрызаясь в нежную плоть, перекрывает ей воздух.

Она судорожно вздохнула и, не прощаясь, побрела в глубины рощи. Вы подумайте, неслось ей вслед. Мы к вам ещё наведаемся. Мотя оглянулась. Интеллигентные улыбающиеся лица, не они ли снились ей, не о них ли мечтала, сидя под платаном? Как ей хотелось тогда быть полезной, найти единомышленников, как хотелось проломить глухую стену, окружающую её на новой, такой прекрасной родине. Так хотелось вырваться из той искусственной среды, в которую её поместили. Но, видно, здесь надо было родиться, всосать с молоком матери их обычаи, законы, образ жизни. Нет, чужая она была и останется чужой, и домой путь закрыт, печально размышляла она.

Около платана её ждал Доминго. Хочу сообщить тебе печальную новость. – произнёс он сухо. Не уберегли мы Рому. Погибла она, не сумела преодолеть плотину, и ведь левая была плотина, доброго слова не стоила, а вот поди ж ты... Он отвернулся, чтобы не видеть Мотиных слёз.

Мотя взглянула на такой родной платан, на понуро стоящего Доминго, на всю эту сказочную природу и, слепо шаркая, пошла к дубу. Она обвила руками его шершавое тело, зарылась лицом в неровную кору и прошептала: «Забери меня отсюда, я устала, больше не могу». Дуб зашумел, заволновался, всколыхнулся и изловчился встать так, чтобы Моте было удобней прижаться к нему, и Мотя почувствовала, как её душа, вырвавшись из тела, сливается с душой дуба, обретает его независимость, его мощь, его волю. Пришло понимание, что природа едина, что она теперь всё – и деревья, и горы, и реки. Границы исчезли, люди потеряли для неё свою значимость, и, взглянув с брезгливой жалостью на своё опавшее в траву тело, она зашелестела листьями и ей показалось, что деревья всей огромной земли зашумели, исполняя неведомый ей пока гимн, провожая её в прекрасное, долгожданное путешествие.

КУДАСИК

[82]

Дип 16 / 2012

«Стасик-кудасик» – мурлыкала мама, поправляя сползающие чулочки. Резинки лифчика растянулись, и чулочки норовили собраться гармошкой на толстеньких ножках. А Стасик выгибался у мамы на руках от крика. «Куда тётя пошла?» – требовательно вопрошал он, хватаясь за круглые мамины щеки и пребольно щипля их. Мама смеясь отворачивала голову и отвечала: «На кудыкину гору!!» Она сидела с ним на полусгнившем бортике песочницы и, пытаясь отвлечь, ковыряла круглой алюминиевой ложкой заскорузлую землю: «Смотри, сейчас куличик слепим». Но Стасику было чрезвычайно важно узнать, куда пошла тётка, битый час рассказывавшая маме про идиота мужа и негодяйку портниху, которая испортила ей отрез крепдешина, и, представляешь, хоть бы хны, бесстыжие её глаза!

Около мамы постоянно кто-нибудь останавливался, и после долгих задушевных разговоров он слышал прощальное – ну, я пошла! Стасик, набирая в старую треснутую чашку грязную землю, именуемую почему-то песком, поднимал голову и смотрел вслед с завистью, представляя себе места, прекрасные, волшебные, куда по силам попасть только взрослым, а маленьким туда хода нет. У них нет даже своих денег на билеты, и поэтому они должны ездить со взрослыми, как багаж. А, может, если попроситься, они его возьмут? Вряд ли. Хоть они и разговаривали с мамой, но ровней себе её не считали.

Мама не работала, была матерью-одиночкой, а значит, шлюхой, которая нагуляла, принесла в подоле, и еще много странных слов. Они произносились с напором, с обидой и злостью вслед Стасику, ковыляющему вокруг лавки с тётками, караулящими бельё.

Из их семьи работала одна бабушка. Она приходила поздно вечером усталая, раскладывала на обеденном столе какие-то бумаги и, машинально черпая ложкой горячий суп, что-то читала, черкая карандашом. Когда Стасик был маленький и не мог ещё связать двух слов, он, понаблюдав за усталой бабулей, решил ей помочь. Забравшись на стул, когда бабушка пошла занимать очередь в уборную, а мама побежала на кухню за чайником, он яростно закалякал все лежащие на столе листы. Бабушка, вернувшись, схватилась за голову и заплакала. Мама с виноватым видом оправдывалась, держа Стасика на руках. Больше Стасик таких ошибок не допускал.

Он многое понял за прошедшие годы, научился соразмерять силу своей любви и осторожно использовать свои способности, стараясь не навредить близким. Он требовал, чтобы мама каждый раз отчитывалась перед ним, куда-либо уходя. Так он продолжал с мамой общение, перемещаясь следом за ней в пространстве, появляющемся благодаря его воображению.

Он ненавидел людей, которые говорили: «ну, я пошёл». Его желание сопровождать и охранять казалось навязчивым, но он чувствовал, что за пределами его сознания с ними могло произойти все что угодно. Это Стасик понял, когда мысленно сопровождая мать, буквально вытащил её из-под машины. Она, видно, что-то почувствовала, и, вбежав в комнату, прижала его к груди, шепча слова благодарности.

Стасик ощущал пространство как продолжение своего тела, где был хозяином. Тоска, возникающая от невозможности оказаться во всех тех местах, куда уходили знакомые взрослые, исчезла. Он понял, что ему делается с каждым днём все легче мысленно следовать за близкими. Достаточно было представить себе это место, и он начинал перемещаться, следуя путеводной нити своего воображения. Но слово «куда» еще долго раздражало слух людей, слышащих его стонущее: «Мама, куда эта тётя пошла?» Однажды он так оказался на работе у бабушки, понял смысл её труда и больше не пытался ей помочь.

Через какое-то время дворовые тётки вдруг начали прислушиваться к нему и подробно рассказывать, куда и зачем они направляются. Все заметили странную закономерность: когда перед Кудасиком отчитывались, путь оказывался лёгок и дела успешны. Когда же от него отмахивались, приходилось или возвращаться, или потом сетовать на всевозможные трудности. Так и повелось. Даже вечером, когда он засыпал, его будили и жарко нащёптывали свои планы. Он становился талисманом двора. Его начали оберегать, и чужих, прослышавших о его способностях, яростно изгоняли.

Но прозвище осталось, и всё детство во дворе его ласково называли «наш Кудасик». Бабушка посмеивалась, да и сам Стасик был изрядно смущён, но протестовать не решался, понимая, что его слава является охранной грамотой семьи.

Потом его повели в школу, в первый класс, и счастье кончилось. Первого сентября мама, держа в одной руке букет, в другой – влажную ладошку сына, торжественно вышагивала по знакомым переулкам. Вдруг Стасик почувствовал неладное. Глухая, тяжёлая

ненависть придавила воздух вокруг квартала. Чем ближе он подходил к школе, тем явственнее ощущал волны не просто страха, а ужаса, исходящего от мальчигов, собравшихся на школьном дворе. У него заболел живот и ноги стали ватными.

А мама радовалась погоде, большому скоплению людей, своему новому платью и что она такая молоденькая, просто девочка, ведет взрослого сына в школу. Ей казалось, что все смотрят на неё с умилением и думают, наверное, это его старшая сестра, какая хорошенькая. Стасик замедлил шаг, мама тревожно наклонилась над ним и заглянула в лицо. Глаза были зажмурены, губы сжаты, и лоб покрылся бисеринками пота. «Я туда не пойду. Там страшно. Пойдём домой», – прошептал он. Мама растерянно оглянулась. Потом посмотрела на сына и дрогнувшим голосом спросила: «Ты что? Обалдел? Ты же так радовался... Что тебя напугало?» Она попыталась взглянуть на темно-серую колышущуюся толпу глазами ребенка, и резкая боль полоснула её по животу. Она почувствовала страх приведённых насильно детей, вырванных из тихой дворовой жизни. Казалось, страх этот окрасил всё вокруг. Поседали начинающие желтеть деревья, загустились облака, как-то враз закрывшие солнце, даже здание школы начало расплываться, и пришлось сощуриться, чтобы рассмотреть стоящего на крыльце директора. А Стасик остановился и, подняв глаза, посмотрел вдруг на мать тяжёлым взрослым взглядом: «Как ты не понимаешь, нельзя мне туда, я только сейчас это почувствовал. Тебе же не хочется, чтобы я страдал?» – «Нет», – пролепетала мать. «Тогда идём домой». Мать, молча развернулась и повела сына домой.

Через месяц к ним нагрянула комиссия из РОНО, и толстая женщина в мужских ботинках, зажав в коленях перепуганного Стасика, начала его расспрашивать. Перед этим она быстрым профессиональным взглядом оглядела углы комнаты в поисках образов и, не найдя, недоверчиво взглянула на мать. «Тебя молить будут? Нет? Чего же тогда в школу не идёшь? Ах, боишься? Мамаша, это вы его так настроили, что он боится идти в советскую школу? Домашнее? Как это домашнее? Придется его тогда в детский дом, а вас, мамаша, будем лишать родительских прав. Вы ещё набегаются, чтобы я вас в обычную школу записала. Домашнее, видите ли, образование... придумали тоже, вы ему ещё гувернантку наймите». Члены комиссии угодливо засмеялись, а на Стасика навалилась тяжёлая тоска.

После ухода комиссии, дождавшись бабушку, сели думать,

как быть. Бабушка робко спросила: «Может, пойдёшь в школу?» «Нет», – твёрдо ответил Стасик. Бабушка покивала. «Веруша, – после долгого молчания произнесла бабушка, – надо звонить. Вызови его к нам, хотя нет, лучше к Атоннам».

Сёстры, Вера Антоновна и Наталья Антоновна, или просто Атонны, были их железобетонной стеной, на которую можно было опереться в случае крайней нужды. На третий день, оставив Стасика одного под честное ленинское, что он будет сидеть дома и тихо ждать, мать с бабушкой уехали. Проследить мысленно за их поездкой и пребыванием у Атонн не составило труда. Он с бабушкой достаточно часто у них бывал, поэтому, лежа на тахте с закрытыми глазами, увидел, как в кино, щуплого большеного мужчину в окружении четырёх женщин.

Мужчина, сидя на диване, старательно пялил на маму глаза. Разговор был бурным, но, судя по умиротворённому выражению лиц, закончился благополучно. «Верочка, проводите меня», – потребовал носатый. «Куда? Куда она пошла?» – зазвенело в голове у бабушки. «Не волнуйся, проводит его до метро и поедет домой. Не укрыться, учёт и контроль, иногда это бывает так утомительно. У Веруши совсем нет личной жизни, – жаловалась она Атоннам. – Я понимаю, современная школа кого хочешь напугает, но Веруше надо работать, денег не хватает, да и потом забудет ведь всё, что изучала в институте... Но главное, она же людей не видит, мы так надеялись, исполнится ему семь – и будем немножко посвободнее, в сад не водили, жалели, он так орал, что оставлять его там ни у кого рука не поднималась».

«Да, Кудаська ещё вам преподнесёт сюрпризы. – Сёстры переглянулись. – Может, на два дня в неделю к нам его закидывать? Мы его любим, надо только попробовать реализовать то, что Борис предложил».

Мама приехала вечером, угрюмо взглянув на сына, сказала: «Ну вот, устроил ты, милок, всем весёлую жизнь. Теперь придётся немного постоять на ушах, и если выстоим и не загремим в тюрьму или ещё куда, то считай – легко отделались». Кудасик опустил голову. Идти в школу было равносильно незнамо чему, наверное, это было ещё хуже тюрьмы, хотя ни то ни другое он, слава Богу, пока не испытал.

Через несколько дней мама, одевшись победней, вышла на тропу войны. Роль Кудасика была несколько раз тщательно отрепетирована. Полем битвы назначена школа. Физические контакты с жертвами были необходимы для успешного дебюта. В

очередной понедельник мама с Кудасиком отправились в школу. В этот раз он был настроен решительно: или пан, как говорила бабушка, или пропал. Что за пан и куда он пропадает, было неясно, но тот молодецкий тон, которым она это произносила, настраивал на боевой лад.

Школа высилась чёрной глыбой над двухэтажными домишками, стоящими по обе стороны переулка. Она была построена до революции как реальное училище. По огромному вестибюлю с бюстом вождя, стоящим в специальной нише, неслась с криком безликая толпа. Наступила перемена.

Недавно ввели форму: серые, толстого сукна мундирчики. На многих были повязаны красные галстуки. Не на всех, конечно, а только на тех, кого уже приняли в пионеры. Комсомольцы вышагивали степенно, презрительно поглядывая на орущую малышню, изредка особо надоедливых лупили по макушке. Не со зла, а просто так, видимо, полагалось. Тут и там возникали водовороты драк, с особо громкими криками, но так же быстро восстанавливался порядок.

Вдруг всё затихло. На лестнице появился директор. Сухой, хищно оскаленный профиль быстро склонился, как клонул, и вот уже директор рассматривает пойманную добычу. Крючковатый палец поддел мундирчик маленького лопоухого сорванца. Остальные замерли, с жадным ужасом рассматривая неудачника. Охота завершилась, и, развернувшись, директор потащил добычу за собой. По ступенькам за ними вверх поползла мокрая дорожка. Никто даже не засмеялся. Все тихонько разошлись по углам, и только дежурные с красными повязками продолжали, как изваяния, охранять бюст.

Вскоре прозвенел звонок, и вестибюль опустел. Из боковой двери вышла нянечка с ведром и, что-то ворча, начала протирать лестницу. «Теперь веришь?» – выдохнул Кудасик. Мама быстро покивала, отводя взгляд. Подождали еще немного. Подошла нянечка и хмуро спросила, чего им тут надо. Мать сказала: «Директора». – «А ты у нас учишься? Я тебя, вроде, не помню». – «Нет, мы недавно переехали, пришли записываться». Мама для убедительности вынула из сумки какие-то бумаги и потрясла ими. «Ирод, прости Господи, – прошептала старуха, – зверь. Он весёлый ходит только, если кого выгонит».

Горько плача, по лестнице спускался давешний лопоухий. В руках у него был старый растерзанный портфель, им играло в футбол, видимо, не одно поколение. Нянечка смотрела пригорю-

нившись, как паренёк пересекал вестибюль. Мама с Кудасиком даже отвернулись, не в силах вынести человеческое унижение. «Он его караулил, – поделилась с ними нянечка, когда за парнишкой захлопнулась тяжелая дверь. – Уж кого невзлюбит, будет в засаде сидеть, ждать. А потом сразу выгоняет. Начальство его уважает. У нас еще руки на себя никто не наложил, а вот в соседней – один выпрыгнул с окна, а другой повесился. Там училка есть, на весь город славится. У нас – хорошие, сами просят за ребят».

Она критически оглядела Кудасика, тот свёл глаза и приоткрыл рот. Нянька шмыгнула носом и махнула рукой: «Не приживётся он здесь». «Да, – горестно вторила мама, – и справка имеется... Он не буйный, неусидчивый только, и не запоминает ничего, – бормотала мать, явно репетируя роль. – Ладно, пойдём».

Широкая лестница с кованой ограждающей решёткой и выщербленными перилами привела их в холл второго этажа. В центре висел огромный портрет вождя, перед ним в вазах стояли красные гладиолусы. По обе стороны тянулись мрачные коридоры, блестя натёртым старым паркетом. Мама посмотрела по сторонам и безошибочно потянула сына к незаметной коричневой двери, на которой висела треснутая стеклянная табличка со словом «директо». Последняя буква была залеплена коричневой краской.

Она приоткрыла дверь и внезапно осипшим голосом пискнула «Можно?» Директор пил чай. Массивный потемневший подстаканник хранил в своём чреве маленький тонкий стакан с золотой каёмочкой, в глубокой тарелке с клеймом «общепит» горкой лежали золотистые жареные пирожки. Кудасик сглотнул. Вот, оказывается, какие запахи витали в коридоре. «С повидлом», – подумал он с вожделием. Директор взглянул на мать и отставил стакан. Накрыв салфеткой пирожки, он вытер пальцы и кивнул головой.

Мама, стараясь занять как можно меньше пространства, боком вползла в образовавшуюся щёлочку. Следом, приволакивая ногу и пуская пузыри из носа, вошел Кудасик. Мама вытащила заготовленное заявление и протянула директору. «Грамоте обучен?» – грозно спросил тот. «Он наблюдается, сейчас не опасен», – поспешно пробормотала мать. «Дурку валяет, знаем мы таких, не хочет в школу ходить, вот и придуряется. Ну-ка, поди сюда». – Кудасик подошел и выдул совершенно особенный пузырь, которым тут же загордился.

Подняв глаза на директора, он увидел, что ноздри острого хищного носа будто присыпаны белой пудрой. «Кокаин», – понял он. Он знал, что это за зараза, двор давал энциклопедически исчерпывающие знания по всякого вида порокам. Расширенные, остановившиеся зрачки делали взгляд безумным, но держался он хорошо, что, видимо, давалось ему с трудом. Выправка была военной, во всех действиях сквозила равнодушная жестокость опытного муштровика.

Одной рукой директор подцепил Кудасика за рубашку, другой – тетрадным листочком стал вытирать ему нос. Кудасик от испуга и боли заорал и попытался вывернуться, но неожиданно встретился с обидчиком глазами. Тот что-то в них усмотрел и пробурчал: «Говорил ведь, дуркует. В карцер, розгами запорю», – вдруг завизжал он. У Кудасика намокли штанишки, и он прижался к маме.

Мама преобразилась. Она защищала детёныша, и все средства стали хороши. Мамин голос из испуганного сделался вкрадчивым. «Вы бы нас отпустили, мальчик болен, в школе он не приживётся. Нам от вас только заявление подписать, а дальше мы сами». Директор сделал движение в их сторону, мама шарахнулась и уже у самой двери голосом, полным отчаяния, быстро-быстро проговорила: «Где деньги, выделенные на ремонт? Как вела себя во время оккупации ваша сестра? Вы же про неё нигде не пишете? А потом, что делает сейчас ваша жена?» Лицо директора дрогнуло, глаза сделались большими, и весь он как-то вдруг опал. Мать наклонилась к его лицу и прошептала, прижимая к себе сына: «Он всё видит и, главное, болтлив не в меру, я же говорю – болеет сильно, мы уже у всех врачей перебивали. Вот и бумаги в порядке. Нам все в один голос твердят – домашнее воспитание, его и в интернат не берут. Только дома. Подпишите, – требовательно сказала она. – Вот заявление. Будем приходиться к вам, сдавать темы, докучать не станем». Она слегка встряхнула Стасика. Тот набрал воздуха и заорал так громко, что директор от неожиданности зажал уши.

«Хорошо, я напишу письмо в вышестоящие органы, но учтите, чтобы духу вашего здесь не было, ищите другую школу, где будете ваши темы сдавать». Он поднялся со стула, огромный, в лоснящемся костюме, засыпанном перхотью и крошками, трясущими руками переставил стакан, салфеткой смахнул со стола невидимые соринки и сипло гаркнул: «Пошли во-о-он!»

Мама подхватила Кудасика поперек живота и, оглядываясь,

потрусил в коридор. Схватка была выиграна. «А письмо? – уже из коридора закричала мама. – Когда мне за ним зайти?» «В канцелярии возьмёте», – прозвучало почти миролюбиво, видимо, директор подумал, что поле битвы осталось за ним.

Вечером мама звонила носатому Боре и благодарилась за точную информацию. А на другой день пришла со свидания совсем поздно. Видно, Борино могущество произвело на маму большое впечатление. Так и повелось. Иногда Борис заходил к нему пообедать. Он тыкал Кудасика пальцем в живот и спрашивал: «Ты маму сегодня слушался?» Не дожидаясь ответа, он легким движением фокусника вытаскивал из кармана какой-нибудь подарок. В его бездонных карманах могло находиться все что угодно: от конфеты до гильзы.

Поначалу он втягивал Кудасика в игру: «Угадай – живое-неживое? Большое-маленькое? Твердое-мягкое?» Кудасику это было неинтересно, поскольку он просто видел, что принес на этот раз дядя Боря.

Когда Кудасик заканчивал второй год домашнего обучения, при очередном Борином визите, он увидел в его кармане пистолет. Он лежал такой маленький, блестящий, такой соблазнительный, что Кудасик не смог преодолеть искушение, он его украл. Понимая, что сделал очень плохо, так плохо, как никогда, он спрятал его под кровать.

А через день мама пришла заплаканная и сказала, что Боря убили. Боря был адвокатом, и бандитская шелупонь свела с ним счеты. И тут впервые Кудасик понял, каким монстром он может вырасти, ведь если бы не эта его особенность, он не увидел бы пистолета, а, значит, Боря смог бы себя защитить. Правда, трудно было вообразить, как он тонкими нежными пальцами пианиста нажимает на курок, целясь при этом в живого человека. Об этом бабушка говорила с приехавшими утешить и поддержать их Атоннами.

Через несколько дней к ним пришли с обыском. Понятыми были две соседки. Они стояли, горестно поджимая рты, и теркали фартуки на толстых животах. Но когда нашли пистолет под матрацем Кудасика, они возмущённо залопотали, бросая на мать и бабушку гневные взгляды. Обомлевший Кудасик смотрел, как уводят мать. Он понимал, куда, и понимал, почему. Кинулся было с криком, что это он виноват, но милиционер резко оттолкнул его, и уже на руках у бабушки он потерял сознание.

На мамино счастье, Боря убили ножом, обыск делали фор-

мально, поскольку всё Борино, и немалое, имущество по завещанию переходило к маме. Но хранение оружия в те годы было ещё большим преступлением, нежели убийство, поэтому присудили матери по полной программе, ещё и с конфискацией. А это означало, что купленный с огромными трудностями «Саратов» и достояние всей их огромной коммуналки – «КВН» – теперь будет украшать дачу, кого-то важного и нужного. Бабушкины и Атоннины украшения пошли на оплату адвоката, всё оказалось зря. Принадлежность пистолета была установлена, правда, маминых пальцев на нем не обнаружили, но оставалась грозная статья за хранение.

Кудасик заболел. Происшествие было настолько ужасно, что никакие объяснения перепуганной бабушки не могли его утешить. Он уже не чувствовал за собой вины, как в тот первый вечер, когда арестовали маму. Просто его маленький безопасный мир в одночасье рухнул и, видимо, не подлежал восстановлению. Лёжа на диване, он пытался увидеть внутренним взором маму. Но он не представлял, как выглядит тюрьма, и образ мамы расплывался и ускользал. Бабушка носила передачи, хлопотала, писала прошения. Вскоре маму перевели в лагерь где-то в Сибири, и связь с ней окончательно нарушилась.

Приходили редкие письма, бабушка всё дольше пропадала в поисках вещей и продуктов, разрешённых к отправке. Кудасик всё чаще оставался у Атонн на несколько дней. Он лежал на диване, сжавшись в комок, и сосал палец. Денег не было. Еды тоже. Атонны на свою нищенскую пенсию пытались их кормить, но Кудасик, потерявший интерес к жизни, к еде его тоже не проявлял.

Так прошли два долгих года. Кудасик совсем утратил связь с действительностью, он уже не реагировал на рассказы бабушки, как прошли её свидания с мамой, что на этот раз она ей привезла и как мама волнуется о нём, о Кудасике, и мечтает его побыстрее увидеть.

В его душе происходила странная работа. По вечерам, когда измученная бабушка засыпала, к нему приходил Боря, садился в кресло, и начинались длинные разговоры. Больше всего Кудасика интересовало, как живётся там, где сейчас находится Борис. «Хорошо, – мечтательно отвечал он. – Никакой политики, насилия, тюрем – гармония. Другие миры, другие планеты, другие знания. Вот ты знаешь, например, сколько планет в вашей солнечной системе? То-то. Ещё несколько штук не открытых». – «А Бог есть?» – «Бог – это все мы и вы, единая сущность; если

кто-то несовершенно, Ему очень больно». – «Ты вспоминаешь маму?» – спрашивал Кудасик. – «Ещё как, это моя последняя любовь». – «Давай ей как-нибудь поможем», – просил он. – «До неё не достучаться, – сетовал Борис. – Устаёт сильно, слабая, боюсь, что увижу её раньше, чем ты... Ещё, – говорил Борис, – можно попробовать через хорошего адвоката, но я это только для тебя делаю, ей было бы лучше со мной, поверь. Хотел сразу вам нужный телефон дать, но вы были закрыты для общения, а как иначе достучишься... Скажешь по телефону, что от меня, и назовёшь такие цифры, записывай. Это шифр моего сейфа. Там мои деньги лежат. Заплатишь, сколько попросит этот человек. Скажешь, что твоя мать была моей женой. Ну, и всё остальное. Если что непредвиденное случится, отдавать не захочет или ещё как-то неправильно себя поведёт, скажи, что ты знаешь о Михаиле, сразу станет шёлковым».

Кудасик всё тянул, не решаясь позвонить. Беседы с Борисом становились с каждым разом всё более сложными, но иногда у него не хватало сил даже начать разговор. Всё чаще он засыпал, не успев поздороваться. Настал день, когда бабушка не смогла его разбудить, и пришлось вызывать скорую помощь. «Питание хорошее нужно, – вздыхал врач, надевая пальто. – Кормильцы-то есть? Вон какой истощенный, прямо блокадник. Подержим в больнице сколько сможем, а там я бы советовал в детский дом его определить». Кудасик резко открыл глаза и сказал, что в больницу не поедет, а в детский дом и подавно. Пусть его все немедленно оставят в покое. А то хуже будет. Бабушка развела руками, врач тоже развел руками и уехал.

Тогда Кудасик попросил бабушку отнести его в коридор и посадить на стул у телефона. Вытащив из-под подушки смятую бумажку, он попросил бабушку набрать номер и прижать ему трубку к уху. Михаила поминать не пришлось, и скоро к подъезду подъехала новенькая «Победа» Из её недр шофёр извлек огромного мужчину на костылях. Они торжественно, под присмотром оторопелых соседей, прошествовали в комнату и, убедившись, что никто не подсматривает и не подслушивает, раскрыли принесённый чемоданчик. С трудом приподнявшись, Кудасик окинул взглядом доставленное богатство и удовлетворённо опустил ся на подушку, засунув в рот сразу три пальца. Договорились о делах быстро. Собственно, пришедший договаривался и расспрашивал подробности, а бабушка только кивала, заворожённо разглядывая содержимое чемоданчика.

Но препятствием к выздоровлению Кудасика неожиданно стал ужас бабушки перед соседями, которые могли узнать о появлении у них денег. Пришлось Илье Ильичу, так звали благодетеля, перевезти бабушку с Кудасиком к себе на дачу и поселить в маленький домик садовника. Через месяц Кудасик начал вставать и делать первые робкие шаги. А еще через три в их домик влетела счастливая мама и, подхватив на руки прозрачное тело сына, начала кружить по комнате, смеясь беззубым ртом.

Теперь у них всё хорошо, мама сидит дома, подёргиваясь, смолит папиросу за папиросой. Воспоминаниями она не делится. Бабушка хлопочет по хозяйству, иногда вбегает в комнату и истово их целует. Атонны, когда приезжают, не спускают с мамы счастливых глаз, а Кудасик, очень располневший и как-то враз поглупевший, живёт, всё больше погружаясь в свой младенческий мир. Он начинает тревожиться только если видит, что кто-то уходит. Тогда он стонущим голосом тянет: «Мама, куда тётя пошла?».

Елена Зельгер**БЕЛЫЙ СТИХ**

Куда же снег спешит
и снежит?
И шепчет белый стих
и нежит
Недвижные стволы
и лыжный след.
Куда стремится
лунный свет?
И почему дрожит,
замерзнув деревья?
Кому поёт бессонница
за дверью?
Кого там вьюга
ворочит?
Ты свет луны
лови
Ладонями,
губами
и
Взмахами ресниц
гони
Гнедую ночи
чтоб ветер стих
И снежный стих
был точен.

ГРОМЯ УСТОИ

гора – человеку в лоб
кто не опознан
гора пред тобой: стоп!
глядит серьёзно

горящий горы взгляд
огнями сотен
гора – древних струн ряд
грядой копий

гора для горы – друг
живут – молча
хребтом сплелись – нет рук
есть позвоночник

горбатей химер и псов
верней говорящих
молчание гор – зов
для всех входящих

горы привыкли стоять
громя устои
равнинные и восклицать
стелиться не стоит

гору не обмануть
в ней нет середины
в лицо горé заглянуть
только с вершины

разрешено но вкусив
восторг перевала
вершина зовет дном
тоски небывалой

ЗАРЯ

Заря эквивалентна дню –
Дно неба днём прозрачней,
А ночью призрачно
и молится огню,
И дарит обещанием
предбрачным.
Сиянье солнца освещает дно –
дно неба.
Свет сулит так много.
Манит предчувствием
смущённо у порога –
Ужель сиянием
подняться суждено?
Тебе дарю Дары Души!
Дарю не только взоры –
зѳри.
Заря, лети!
Заря, спеши!
В необозримостъ
Огненного Моря!

СНЕГ ЗАПОЗДАЛЫЙ

«Печаль моя светла...»

А.С. Пушкин

Светло аллеи распахни –
Исчезнет зимняя усталость!
Но почему-то сердце сжалось,
Снег запоздалый – эта малость
Напоминает детства дни.

Дозволено слезам остыть.
Тебе не в помощь слѳзный ветер.
Никто на свете не ответит –
Зачем так грустно в эти дни.

Зачем печально и светло,
Чуть горько и солоновато.

И Вечность смотрит виновато
Сквозь запотелое стекло...

[96]

Дип 16 / 2012

ФАВОРИТ

Ярче падающий лист.
Тише птицы, солнце реже.
Дождь немилосердно режет
День за днём. Танцует твист
И срывает рыжий ветер
Шляпы, листья и карниз –
Вниз,
 вниз,
 вниз.

Жарче падающий лист
И острее запах лета.
Время выпито и спето.
Лист, летящий, лишь каприз,
Прихоть, терпкое вино,
юной осени дыханье.
О зиме воспоминанье –
Запотевшее окно.

Тёплые пунктирны дни –
Предпоследний перегон.
Притяженье западни.
И зима взойдёт на трон.

Клён распят, и лист распят.
Тот, невыносимо яркий!
Тот, непобедимо жаркий –
Алый с головы до пят.
Жалко – падающий лист...
Вниз,
 вниз...
 из...

Из обыденности – в Путь!
По веленью (хоть не сердца),

Ну а если приглядеться,
У листа предптичья суть:
Если осень, значит в путь.
Не забудь – предптичья суть,
В путь,
в путь,

в путь.

Рвётся падающий лист
На свободу – блудным сыном,
Крылья широко раскинув,
Над планетою повис –
По спирали

вниз

из...

Путь не долгов, неказист,
Бесшабашен, безрассуден.
Мы не судьи – и не судим
Лист за то, что рвётся – Из!

Из – занозой! Из – звенит!
Устремляется в зенит
Одичалой листьев стаей,
Избегая слёз и тая,
И прощаясь, и прощая,
Лист вне времени парит...

ФА–ВО–РИТ!

Константин Кербель

ПРОТИВОГАЗ

– Завязывай столбить свои провода. Все уже давно на стане в прохладе балдеют, а ты тут один, как крот, всё тебе недостаток.

– Прости, Вован, гены сильнее сообразительств. Лучше не могу, хуже не умею.

– Флягу воды отоварил! Ты что, уже стометровку перекрыл? Даёшь, бородач!

Сенька ухмыльнулся, чуть скривив губы, глядя на этого при-
блатнённого шоферюгу. Он стоял на подножке своего оранжево-
красного «Урала» для покорения нефтегазовых месторождений
Крайнего Севера. Здесь же, в степях Казахстана, эта громадина
выглядела нелепой игрушкой, забытой кем-то после праздни-
ка. В кабине поднимаешься над суглинистой равниной метра
на три-четыре. Кажется, что эта бесконечная даль, уходящая к
линии горизонта, будет подталкивать тебя в спину в согласии с
палящими лучами солнца. Его диск не виден. Воздушное марево,
отталкиваясь от весеннего покрова разнотравья, колыхающегося
ковыля, обилия полевых цветов, сегодня, как память короткого
буйства, мстит своей «иглотерапией» всем тем, кто не ждёт ми-
лостей от природы.

– Слышь, ботаник, ты мне по-простому поведай, чего мы тут
уже четвертак с гаком телепаемся, да и я, на своём «танке» меж
вами, как «челнок-оборвыш» дёргаюсь?

– По-простому, газопровод «Бухара-Урал». Он наземный,
не воздушный. Выгоднее, опоры не нужны. Другая беда, трубы
ржавеют. Мы ставим столбы и через углеродные барабаны по-
даём ток. Земля – это не только шарик, на котором счастье найти
можно, если повезёт, конечно, но и кладовая энергии. Вот они в
земле и встречаются – плюсы и минусы.

– Ты что, на любовь переводишь? У нас в Магните всё по правилам. Увидел – взял. Твоя. Другой не подойдёт. Без ноликов!

– Согласен, счастье серьёзная штука. Только эти плюсы и минусы бегут туда, где труба вот-вот порвётся. Получается такой наплыв, заплаточка, ещё лет на 15-20. Выгодно! А вообще-то по-русско-французски это называется «Станция катодной защиты».

Солнце перестало жарить. Обжигающий воздух как будто присмирел. Расслабленные конечности приятно покалывало после нагрузки. Монотонный голос мотора накидывал дремотное покрывало.

– Смотри, козлы какие-то и много!

Шофёр не пассажир, для него сон – первая опасность, даже на такой зеркальной глади. Возглас нёс в себе страсть, азарт, охотничий инстинкт. Он бессознателен и в большей степени присущ мужчинам. Наверно, ещё с первобытных времён, когда охота обеспечивала существование, и живёт в нашей душе этот наследственный генотип.

– «Противогазы!» Давай к ним! У них со слухом слабовато, но зрение будь здоров, за пару километров всё реально видят. Сейчас адаптировались, на дороги, к «железкам» подходят. Нас заметят, начнут подпрыгивать. Это у них такой сигнал, типа «SOS».

--Почему противогазы?

– Да их так все на биофаке называли. Лучше запоминается. Знаешь, кому в голову не откладывается, тому по почкам постучать необходимо. Проверено! Просто это «Сайгак или сайга». Пологие антилопы. Кстати, ровесники мамонта! Держи «60», мы их измором возьмём. На отдельных отрезках они до «70 км» шпарят иноходью, но эти с молодняком, быстро не пойдут. Это поначалу у них инстинкты нулевые. Самки уходят в степь на коллективный отёл. Пару сосунков они бросают на стылую землю, и пошли кто куда, будто так и надо. Правда с недельку спустя возвращаются в свой «роддом» и подкармливают «спартанцев». Да они уже и сами начинают щипать траву. Апрель-май кормит щедро.

Водитель сбросил газ. Стадо катастрофически стало удаляться по маршруту движения, на расстоянии 8-10-ти метров протянулся длинный, узкий овраг, скорее лощина, только вот склоны были не пологие, а приличной крутизны. Может просто старлица, но не похоже, кустов не видно.

– Володенька, милый, давай! Уходят! Не достанем горбоносых! Сенька подался всем корпусом вперёд, почти приклеившись

к лобовому стеклу. Он с унылой болью в глазах провожал пыльное облако, поднятое «гоном» этих кочевых зверей.

– Ты чё, нюх потерял? Я же на тот склон без переднего моста оборвусь!

– Потихоньку, Вовочка! Почва здесь, как гранит! Два моста ведущих, это же вездеход у тебя!

Последний комплимент был самый весомый. Съезд со склона был почти не заметен, а вот взбирались мы с трудом. Страх и озабоченность на лице водителя вначале заменились на недоумение, затем оно переросло в злость и отчаянную ярость. Руки и ноги работали, как слаженный автомат, а глаза, скулы, плотно сжатые губы – экран. Казалось всё – что за проблемы? Шины, неожиданно пробуксовав, удивлённо закрипели протектором, выпустив облачко белого дыма. Кардан закрипел на холостом ходу, обдумывая свою неудачу. Всё изменилось мгновенно. Механизмы сошлись в одно целое и, подрагивая, будто приплясывая и веселясь, мотор, совместно с водителем и пассажиром, вытолкнул кузов на белёсо-охристые просторы почвы степных красот.

– Точно говорят – «Боишься – не делай, делаешь – не бойся»!

Тряхнув выгоревшей шевелюрой и смазав тыльной стороной ладони несколько выступивших капелек пота со лба, водила горделиво подвёл итог: «Сейчас не уйдут! Противогазы!»

Азарт налетел новой волной, подкреплённый обязательным успехом. Внимательно сосредоточенные, они оценивали уже не однообразную действительность, а быстро меняющиеся картинки. Это не мешало Сеньке, как перед аудиторией сокурсников, защищать свой «реферат».

– Очень горбатый нос свисает надо ртом, в виде хоботка. Они же всегда бегут по ветру.

– Бегут «до ветру»?

– Ну и «до ветру» тоже. При опасности они освобождают мочевою пузырь и прямую кишку. Делают налегке такие «ноги мои ноги», ни одна борзая* не настигнет. Посмотри, за пылью их совсем не видно, вот нос и очищает воздух. Без этого хоботка, они бы давно уже пали.

Расстояние сокращалось и пыли становилось меньше. Преследователи заметили около трёх десятков голов. Видно по всему, это была семья. Один самец стал замедлять бег, в то время, как все остальные неслись чистым намётом*. Вдруг, отстающий резко повернул в сторону почти под прямым углом. На такой скорости он выполнил невозможное и остановился, чуть пока-

чиваясь на своих ногах. Прошли секунды, и высоко подпрыгнув, грациозно заломив рога, сайгак пролетел несколько метров. Мягкое приземление, гончая поза с низко опущенной головой, как боевая стрела, он рванул, рассекая воздух к свободе, жизни!

– У него что, второе дыхание открылось? Смотри, шеф, по нему даже не видно, ведь больше часа гоним.

– Спокойно «лектор», он уже кругами наматывает, а ты не заметил?

Действительно, только по еле уловимым движениям «баранки»*, можно было заметить движение по кругу. С каждой минутой радиус сокращался. По левому повороту головы было видно, что его правые ноги перебирают чаще. Зверь остановился и медленно, нехотя завалился на левый бок, вытянув беспомощно задние ноги.

– Машина оборудована?

– Обижает, начальник. Возьми в «бардачке»*.

Семён ощутил ласковое прикосновение «наборной» ручки ножа с небольшими плавно изогнутыми «усиками»*. Что-то больше похоже на уркаганскую финку*, Два «стока»* вдоль всего восемнадцатисантиметрового лезвия с двух сторон выдавали его охотничью принадлежность. Выполненный из твёрдой стали ножовочного полотна, которым распиливают рельсы, он был отлично закалён. Хрупкость отсутствовала. Узорчатая поверхность углеродистой стали со своеобразной структурой обладала завидной упругостью. «Доведён»* он был до блеска. Похоже, не один месяц трудился и шлифовал его «Зек»* , спасая от глаз надзирателей и регулярных «шмонов*».

– Почти «булат»*?

Взгляды встретились. Довольная, широкая улыбка растянулась на чумазой физиономии водителя. В глазах засверкали искорки одобрения от того, что кто-то другой сумел оценить значимость неизвестно каким путём приобретённой вещицы.

– «Товарищ светлый и холодный»* – продолжая улыбаться, вдруг изрекли уста шоферюги.

Человек, сколько же в тебе загадок, сколько скрытых тайн ты хранишь! Ошибаться, удивляться, восхищаться – везде и во всём способна лишь твоя бессмертная душа!

Толчком отбросив дверцу кабины, Сенька подбежал к неподвижно лежащей туше самца. О чудо! Сайгак зашевелился и медленно поднялся на ноги. Покачиваясь из стороны в сторону, тяжело поводя боками, он пошёл! Он стал удаляться! Сорвав с

правой ноги тяжёлый кирзовый ботинок, горе-загонщик метнул его в сторону удаляющейся добычи. Удара, вернее лёгкого прикосновения вдоль правого бока, было достаточно для того, чтобы зверь уже никогда не смог подняться. Оттянуть рога и полоснуть лезвием по туго натянутому горлу, на это хватило несколько секунд. Кровь ударила тугим фонтаном, обагрив руки. Придерживая голову левой рукой, чтобы дать возможность тягуче-алой жидкости свободно прорываться сквозь рану, охватывающую половину шеи, он автоматически заметил предсмертные судороги и беспорядочные удары задних ног. Капельки скатывались с лезвия в лужу крови, которой жадно алкала иссушенная зноем почва.

– Быстро ты его успокоил! – не без уважительного удивления в голосе произнёс шофёр, проведя пару раз плашмя лезвием ножа по короткой, рыжей шерсти, Семён молча приподнял тушу за задние ноги, бросив коротко: «Помоги!»

До полевого стана добирались молча. Вовка пытался несколько раз воспроизвести азарт преследования, но видя какой-то грустно-отрешённый взгляд напарника в никуда, сосредоточился на дороге.

Бригада пережидала полуденный зной. Большая армейская палатка свободно вмещала четырнадцать кроватей. Брезент надёжно защищал от палящих лучей, а высокий полог сохранял остатки свежего ночного воздуха. На звук подъехавшего «Урала» никто не прореагировал. Берегли силы для вечерней атаки на степь.

– Братва, а мы с добычей! Принимай товар! – кричал Володька, перебрасывая через борт антилопу. Моментально повыскакивали все. Обступили, оценивали, взвешивали. Водитель в который раз красочно описывал картину охоты. Бригадир, отложив свои «нарядные» листы, (он один сидел за обеденным столом под навесом, как и полагается по старшинству), твёрдо произнёс: «Басов, доведёшь свою добычу до состояния съедобности. Виктор возьми эскаватор, сбрось пару ковшей, типа «ледника»! С работой на сегодня – шабаш! После ужина гигиена. На завтра – две нормы!»

Последние слова уже никто не слышал. С весёлым криком и улюлюканьем все разбежались. Как-то вдруг у каждого нашлись какие-то свои личные дела.

– Володя, я возьму твой «акинак»*, доработаю?

Понимая только по жесту, что от него просят, он молча кивнул головой и полез в свою кабину.

Сделав продольные надрезы на задних ногах и вытянув сухожилия, Семён оттащил тушу к берёзовому «колку»*, у пересошего ещё в начале лета ручья. Обломив пару веток с дерева на высоте чуть ниже своего роста, он забросил сухожилия на сучки и растянул зверя. Голова завалилась. Взявшись за рога обеими руками, он крутанул её, сорвав шейные позвонки, и отарвал от туловища. От анального отверстия, вдоль по животу до шеи, провёл продольный разрез и лёгкими частыми ударами стал отделять шкуру, придерживая её левой рукой. Более глубокий разрез вскрыл брюшину. Двух ударов хватило, чтобы перебить кость и раздвинуть грудную клетку. Басов работал быстро и уверенно. Сказывалась отцовская выучка, его приглашала на «декабрьский убой» половина шахтёрского посёлка.

Проткнув гортань и захватив её совместно с пищеводом, он резко потянул всё вверх. Лёгкие с сердцем, желудок с печенью и кишечник упали на траву. Почки отделил с выделительной системой. Всё было известно и до боли знакомо, изучено и перечислено за исключением одного. Бронхи* и лёгочные поля были чёрного цвета. Альвеолы с лопнувшими капиллярами были забиты тромбами – сгустками спёкшейся крови. Он просто сгорел! Он сгорел, спасая свою семью!

Мысли были в голове, а руки механически рассекли тушу на шесть частей. В два захода он отнёс мясо к уже с закипающей водой огромному «казану»*.

Вернувшись на место разделки и оттащив на несколько сот метров то, что осталось от этого носато-горбоносого, безобразного самца, он слышал, как друзья ссылают всех на трапезу. Идти к столу не было желания. Присев на траву и обхватив колени руками, вглядывался в первые признаки степного заката. Ему стало грустно и больно где-то в груди. Там тоже были лёгкое и сердце! Лучи ещё освещали вечерние облака, которые, собираясь вместе, должны были спрятать солнце.

Значит, весь бег зверя был рассчитан заранее? Ерунда! Животные не обладают мыслительной способностью! Тогда что, инстинкт? Из поколения в поколение, со времён саблезубых тигров? Бросить, не раздумывая, добровольно, на алтарь, этот жертвенник, самое дорогое и ценное – свою жизнь, ради жизни родных и близких? Волна благодарной готовности «степняка» к самопожертвованию открыла перед глазами этого паренька, с первой, мягкой, как лебединый пух, курчавой бородкой, всё совершенство человека. Глаза покрылись влажностью, и слёзы

были готовы скупно скатиться по щекам. Жалкая обида подступила комом. Сколько же недоработок, грязного и бесчестного притаилось в тебе, человек! Где и как выйти на этот праведный путь? Согреть любовью, защитить от невзгод, отвести все беды, побороть болезни – как?

Степь тихонечко нашёптывала ответ, а звёзды, перемигиваясь между собой, звали его в большую долгую жизнь!

***ПРИМЕЧАНИЯ:**

Борзая – порода охотничьих собак.

Намёт – конский галоп.

Иноходь – способ бега с попеременным выбрасыванием то правых, то левых ног.

Баранка – рулевое колесо автомобиля.

Бардачок – отделение в автомобиле для мелких инструментов и личных вещей.

Усики – на эфесе ножа (рукоятки).

Финка – финский нож, толстое лезвие с колющим концом.

Стоки – жёлоб на лезвии холодного оружия.

Доводка – шлифовка, заточка.

Зек – заключённый, арестант.

Шмон – обыск.

Булат – сталь высокой прочности.

«Товарищ светлый и холодный» – строчка из стихотворения «Кинжал» М.Ю. Лермонтова.

Акинак – скифский, короткий меч (40 см)

Колок – лесок в поле, островок.

Бронхи – трубчатые разветвления трахеи, по которым воздух поступает в лёгкие.

Альвеолы – воздушные пузырьки в лёгочных полях.

Казан – котёл для приготовления пищи.

СПЕКТАКЛЬ

Сосед совсем скурвился. Самогон сварганил, сивуху. Соковыжж-малка, свёкла, сахар. Срок стодневный, Свёкр соскочил – «стрелку» столбить. Самому скучно. Стало совсем светло. «Соточку, соточку» – свербит солнце.

«Сань, Сашок, сосед-соколик, состограммимся?»

Согласился, самодурок. Свиныя-стойк, самопалится, сдрейфила. Собачонка, «Стрелка» – салага, скружилась, суксилась,

скулит сермяжная. Стрекозы со скоростью света слетелись, свёкла самоопыляется! Саранча смрадная сроилась, «саке» сбагрить, стибрить. Страхолюдины.

Собутыльники-самодельщики сами светиться стали. Свет снежной сосулькой сверкает, слюна стекленеет, слёзы скатываются. Само-собой святые сошлись. Слова сосредоточились. Сил слабовато сквозь «Сито» столкнуть. «Створки» со стаканом сотрудничают – самовоспитались! Сидим, смакуем, счастливые ...

Сердечная со службы суточной слиняла, сержантка – санитарка.

«Сожгу, стервятники!» «Содом» сотворили. Стыд стремниной село скрыл. Сельчане сонные сталкиваются, спотыкаются, семена свекольные сеют-сажают, сахар скупили. Сами сидите, скоты самодельные! Свечи стеариновые со спины стряхните! Свят, свят, свят, священный свет! Санечка, Сашенька, жальтесь. Сатана спутал. Стопочки сама справлю. Сидите смирененько сердешные-селадончики!»

Село сбежалось. Суматоха, смех, слёзы – спектакль!

ПЁТР ПЕРВЫЙ

Пётр Первый приснился. Повезло придурку. Погуляли по Петергофу: попили, покурили, поспорили. Политик, правда, плохонький. Партии, плюрализм признавать противился. Понятно, первый преобразователь, полководец, покоритель пространств посредством постройки парусников. Пацаны «потешные» порохом, пистолями, пищалями поигрывали – профессиональными полковниками получились. Правитель-практик пояснил, помнил «придворное педагогическое правило». Пример показывал. Первейшие – платьем погодным, помещьем пожалованы прилюдно. Под Полтавой промашка произошла. Прорыв проклёвывался. Предвидел! Полки подтянул, перестроился, победил противника.

Промышленник-предприниматель, пожалуй, первейший. Привыкал поступать прямо, по-простому. Прекрасно понимал, при печи просидишь, пользы-прибыли пустой портфель. Приближенных подбирал по потребности. Приобретённое положение, пышность придворная порой просвечивала прорехой простолюдина. Приспособились! Пустобрёхов, прощелыг, проходимцев презирал. Предателей пытал, подводил палачам. Плаха пригрозит, пряник притянет – психология!

Подружки подошли, пышечки-пампушечки, присели. «Прикид» по последнему писку. Палевыми палантинами прикрыта природная потребность. Потрясно! Петруша преобразился, привлекательный паршивец. Прёт паровозом, подкручивается. Перецеловал по порядку, попеременно перезнакомился, проказник! Поднаторел, по пирушкам полуночным «прогуливаясь». Промахиваться простому парню перед повелителем позорно. Пригляделся, понравилась подиумная представительница прекрасного пола. Приласкал, приладил, приголубил. Процесс пошёл. Поцелуем поперхнулся, потом покрылся, побежала предательски пахучая патока. Пасторальная пассия пантере подобна. Парадиз!

Проснулся. Природа поёт птахами, прихорашивается. Перед Пасхой пророчества приобретают положительные признаки. Похоже, придётся панорамный «променад» предпринять!

Игорь Коган

ШАРЛАТАН – 3

(Продолжение. Начало см. в альманахах «До и после» № 14, 15)

ПОТОМОК ВСЕЛЕННОЙ

Мужчина сидел, и далеко, – где-то там, созерцал – то ли прошедшее, то ли несостоявшееся счастье. Женщина сидела напротив и созерцала мужчину. Он ей явно нравился. Туманно-влажные зрачки, чуть приоткрытые губы, смутная полу-блудливая улыбка не оставляли никаких сомнений в том, какие фантазии бродят в её аккуратной, уютно уложенной головке, и что она могла бы ему позволить:

...Если, конечно же, этот козёл выйдет из самогипноза раньше, чем мне придётся выйти из вагона... конечно же, если он меня заметит... и обратит на меня внимание... Ну не самой же мне, конечно же...

Так или примерно так она могла бы, на мой мужской взгляд, выразить словами распирающие её эмоции. Женщина, кстати, была довольно мила, но в этой крайне выразительной мизансцене я был, к сожалению, лишь статистом. Вообще-то мне везёт. Не в первый раз уже приходится наблюдать сценки подобного рода, и не только в метро. Женщины, естественно, разные, а выражение лица у них, при этом, всегда одно и то же – блудливо-прекрасное и ошалело-привлекательное.

Это очаровательно-интимное зрелище настолько меня захватило, что я забыл даже, по какой такой отчаянной необходимости напросился в гости к своему, почти уже старинному, приятелю по прозвищу Шарлатан.

Необходимость была: местные братки на рынке совсем страх потеряли. Мало того, что за торговое место официально аренду плачу, так им ещё просто так давай. С какой такой радости? У меня своя крыша есть! Как без неё? Так всё надоело – хоть торговать бросай. Лично я хоть сейчас – не от хорошей жизни – а жить на что?

«Так думал молодой повеса, летя в пыли на почтовых», попутно наблюдая созерцательную парочку, в особенности слабую её половину, краем уха сканируя количество туннельных пролётов, оставшихся до остановки «Чистые пруды».

Как только я выполз из подземки, на меня обрушилось совершенно обнаглевшее солнце, явно и недвусмысленно намекая: «За город, дорогой, за город, с девочками, вином и шашлыками».

Каюсь, на мгновение меня посетила мысль позвонить старцу и наврать, что у меня ЧП на работе, но это было чревато – дед моментально распознавал любую ложь, он вообще всё всегда распознавал. Обижать его в мои планы не входило никоим образом – сам напросился. Я сделал коварному светилу ручкой и скрылся в сумрачно-прохладных недрах Шарлатанова подъезда.

Старик, облачённый в роскошный китайский халат с разноцветными драконами, вальяжно расположился в старинном, на все голоса урчащем кресле и, потягивая неизменный квас, пребывал в хорошем расположении духа.

Без особого интереса выслушав рассказ о сценке в метрополитене, и полностью игнорируя мои соображения по этому поводу, он, по обыкновению, начал меня просвещать, на что имел, с моей точки зрения, стопроцентно неоспоримое право. Я всегда уходил от него совсем другим человеком, наполненный чем-то удивительным, непознаваемо новым. Снова хотелось жить и размышлять.

– Вы, молодой человек, сами того не подозревая, коснулись основ существования не только нашего мира, но и всех остальных миров нашей Вселенной. Без некоторых преобразований в черепной коробке этих основ не постичь. Постановка вопроса с помощью современной научной методологии не выдерживает никакой критики и невозможна практически, однако, я всё же попробую – хотя бы теоретически.

В былые времена планета Земля покоилась на черепахе, на трех слонах, на трёх китах, на атлантах и ещё бог знает на чём... В настоящее время вышеозначенное космическое тело вообще ни на чём не покоится – и не только оно – всё остальное миро-

здание, как видимое, так и невидимое, тоже. Во всяком случае, так утверждает современное научное сообщество. Тем не менее, я в свою очередь тоже берусь утверждать: мироздание кое на чём всё-таки покоится, а именно – на весьма странном, очень капризном, крайне нестабильном Существо, и Существо это – Женского рода....

Полагаю, что данной информации пока достаточно. Теперь же отвлечёмся на время от глобальных проблем и вернёмся к нашим баранам, то есть к вещам земного порядка.

Приходилось ли Вам, господин хороший, слышать расхожую поговорку «Курица не птица, баба не человек»? Не находите ли Вы, что поговорка эта стопроцентно верна и полна глубокого философского смысла, особенно во второй её части? Если не находите, то совершенно зря. Птица курица или не птица, «нам на это нечего смотреть». Что же касается дам... – он пожевал губами, хитровато подмигнул и продолжил – Приходилось ли Вам, молодой человек, смотреть в глаза мужчины непосредственно после оргазма?

Э-э-э, садитесь, садитесь, что Вы так завелись. Поставим вопрос по другому: приходилось ли Вам лицедрать в зеркале собственные очи непосредственно после собственного оргазма? Что Вы там могли узреть? Ни-че-го. Ровным счётом ничего – кроме опорожнённого ведра. А у женщины? У женщины после оргазма Вы глаза наблюдали? Там целая вселенная – не меньше! Там сама жизнь! Сам Бог! Можно ли после этого утверждать, что женщина – человек? Разве Бог – человек?

Я открою Вам великую тайну. Не Бог создал Вселенную. Это Вселенная создала Бога. Зачем? Затем, что Она – Женщина. Женщина – это очень тяжелый случай. Женщина – это диагноз. Женщинам очень сложно и скучно жить на свете. Вы замечали, надеюсь? Вот она и сотворила себе игрушку – мужчину – Бога, чтобы с его помощью собственные недра разрабатывать, упорядочивать собственный хаос, свои черные дыры затыкать, и вообще, весело создавать новую жизнь.

Это было первое, но далеко не последнее непорочное зачатие. Она могла бы и в дальнейшем размножаться малопривлекательным, с точки зрения «сада земных наслаждений», способом, но, согласитесь, без определенного процесса всё это как-то пресно. Женщины, когда пресно, ох как не любят. Женщинам, как минимум, большой взрыв подавай.

Старик мечтательно хмыкнул и замолчал. Молчал и я, не

имея оснований думать, что дед надо мной потешался. Ворчливо-ироничные, высокомерно-поучительные интонации, свойственные почти любому пожилому человеку, тем более человеку, прожившему не одну сотню тысяч жизней, проскальзывали у него всегда. За время нашего знакомства я не мог припомнить случая, когда он шутил, но и подобных «откровений», переворачивающих с ног на голову все, на чём я вырос, на чём был воспитан, слышать ещё не приходилось...

Тут мой взгляд коснулся старика, вернее того, что осталось в кресле. Сам он был далеко-далеко, где-то там. В глазах его застыло такое же обалденное счастье, как у мужчины в метро. Бог его знает, где он сейчас находился. Я старался даже не дышать, не то, что стулом скрипнуть. Тихонечко сидел себе и думал:

«Если Шарлатан не шутит, то защитники версии, утверждающей, будто бы женщину сострипали из Адамова ребра, могут эту версию вкупе с ребром и себе, и самому Адаму засунуть глубоко в задницу».

– Совершенно верно, молодой человек! – раздался радостно-скрипучий голос – Весьма точно мыслите! Могли бы обойтись без Вашей рыночной терминологии, размышляя о божественном в более уважительных категориях, но это частности. В принципе, Вы очень недалеки от истины. Можно утверждать: Вселенная – не «сострипала», а «слепила» мужчину «...из того, что было...». Так, если не ошибаюсь, поют в одной из ваших песен.

Он пробарабанил на подлокотниках кресла несложный ритмический узор, отпил квасу и весело с хрипотцой рассмеялся.

– У Вас такой ошалелый вид. Складывается впечатление, что Вы чего-то не «догоняете», прошу простить за рыночный жаргон. «С кем поведёшься – от того и наберёшься». Придётся мне, как это ни прискорбно, спуститься с небес и, в мало соответствующих такой «академической» теме земных терминах, ещё раз кое-что объяснить. Вас наверняка интересует, в каких таких райских куцах я сейчас пребывал. Отвечаю – я был там – у НЕЁ. Я – один из тех, из первых, кого Вселенная произвела на свет самым что ни на есть непорочным образом.

Почему непорочным? Потому что Вселенная не способна без оплодотворения создавать иные миры. Для этого она создаёт нас. Мы – не рождённые, Мы – сотворённые. Так вот – я один из тех, кто был ЕЁ очередным мужем. Я – один из тех, точнее из всех, кому она впоследствии дала отставку, отпустила, фигурально выражаясь, на все свои четыре стороны – в свободный полёт.

– После чего – ляпнул я – Вы, с большого расстройства и вдоволь налетавшись, приземлились на нашей незатейливой планетке. Да, кстати, а за что же она Вас так, извините за рыночную терминологию, бортанула?

– А ни за что, – в голосе старика, послышались досадливые нотки, и он заговорил как нормальный земной ревнивец – просто так – поматросила и бросила. Надоел я ей, как впрочем, и все остальные, начиная с самого первого. Я, кстати, тоже не из последних – в первой десятке как-никак. У этой психованной стервы каждому времени, каждому настроению свой мужчина. Применительно к предмету нашего разговора – катализатор. Что смеётесь? Вы – катализатор, я – катализатор – все особи мужеского полу.

Внешний вид катализатора и способ его использования никакого значения не имеют. Перефразируя известную пословицу, можно сказать: катализатор должен быть немного симпатичней обезьяны. Главное, чтобы это был катализатор. Функция катализатора узка и прямолинейна – рассеивать семена возмущения в черных дырах Вселенной, в этих разнузданных, похотливых бестиях способных втянуть и всосать в себя всё что угодно, пожрать всё, что окажется рядом, даже саму себя.

Непостоянство, молодой человек, – основа жизнеспособности Вселенной, вечная война с самой собой за собственное вечное существование. Узнаёте земных женщин?

К тому же существует ещё один важнейший аспект прямо-таки космического масштаба: как только Вселенная потеряет способность производить на свет тела, – она тут же перестанет быть Вселенной. Это повлечёт за собой мгновенную гибель всех Нас, а обо всех вас даже и говорить не приходится. Будем надеяться, что этого никогда не произойдёт.

Что же касается моего приземления на этой «незатейливой», как Вы изволили выразиться, «планетке», то надо было сначала «планетку» создать. Именно для этого ваш покорный слуга был произведён на свет божий в качестве очередного катализатора. Так что «планетка», извините, не Ваша, а моя. Это мой ребёнок – мой и Вселенной.

Вы, кстати, в прошлый раз ЕЁ видели.

– Кого??? – не понял я, и глаза мои полезли на ридничок...

– Вселенную... кого же ещё. Помните портрет необычайно привлекательной, загадочно-улыбчивой дамы в моей спальне? В последнее наше свидание Вы то и дело на него косились...

Ах, вот оно что! Дошло, наконец! Как до утки на седьмые сутки! Ещё с прошлого визита к Шарлатану я всё время силился вспомнить: где и когда видел похожую призывную улыбку. Три года назад я узрел её в одном из музеев Парижа, куда меня затасила помешанная на живописи подружка. Такая же двусмысленная ухмылка была у герцогини Мальборо в чудесном кинофильме «Стакан воды». Сегодня – у женщины в метро, у других женщин при сходных обстоятельствах. Теперь же, в стариковской спальне, чёрт бы его подрал со всеми потрохами, висит, ни больше, ни меньше, портрет самой Вселенной – его родной матери и бывшей супруги, с такой же туманно-блудотворительной гримаской.

– Та-а-а-к. Как говорится – картина Репина «Приплыли». «Тихо шифером шурша, крыша едет не спеша» – пронеслись в голове любимые присказки армейского старшины.

Я, прямо-таки, физически почувствовал: извилины, не бог весть как сильно от рождения закрученные, стали катастрофически распрямляться, а полушария меняться местами. «Что-то, се-го-д-ня, со мной не та-а-а-к – медленно подумал я – или не со мной?»

– С Вами, с Вами. – Старый чёрт так откровенно и весело расхохотался, что я обиделся и пришел в себя.

– Шутки шутить изволите?

– Помилуйте, молодой человек! Бог с Вами, хотя я и так с Вами. Какие уж там шутки! Никогда не был так серьёзен. Более того, автор портрета – я. Это оригинал, а копия расположена в известном Вам музее, в крыле Денон, в залах искусства итальянского Возрождения. Я в то время как Вы, надеюсь, понимаете, тоже жил, и был, уверяю Вас, далеко не последним живописцем, а некоторых – ныне гениев – незримо водил за кисть, как в детский сад за ручку... Предупреждая ваши вопросы, отвечаю: копию, что находится в Лувре, считали, считают и будут считать за оригинал. Подлинный портрет любимой женщины предпочитаю держать при себе. Почему я изобразил её именно такой? Хочу, чтобы ей рукоплескало человечество. Истинный лик Вселенной, как собственно и мой, вряд ли приведёт зрителей в телчий восторг. У нас там, знаете ли, несколько другая эстетика.

И вдруг меня занесло.

– Стало быть, Вы у нас тут оригинально развлекаетесь?

– Я не у вас тут! – старик впервые повысил голос. – Молодой человек, не забывайтесь!

Я у себя дома! Это вы! Все! У меня тут! – Он помолчал и про-

должил уже спокойно. – Я не развлекаюсь. Я здесь живу – как все живут. Мне нравится жить среди моих детей – гор, зверей, людей, растений. Нравится рождаться и умирать как все. Нравится соблюдать законы кармы, хотя мог бы и не соблюдать. Единственное, что себе позволяю – определяю, время и место очередного рождения, количество отпущенных самому себе земных лет, а так же время, место и причину своей очередной смерти.

– Вам дети ваши ещё не надоели? – Я прямо-таки нарывался на неприятности.

– Да нет пока – он взглянул на часы. – Дети не могут надоеть, и потом – с вами не соскучишься, чуть отвернёшься – всё моё дело в прах разнесёте. Как в одной сказке сказывается? «... Пойдут клочки по закоулочкам...»? То-то – помните, известную пословицу? «Бог терпел и нам велел».

– Так вы эту пословицу в наших головах и поселили, – не унился я, – вам так управлять удобно.

На этот раз старик даже не считал нужным отвечать. Он встал, давая понять, что аудиенция закончена.

– Чувствую, молодой человек, у Вас столько вопросов накопилось – до утренней зари не успеть, а я в шесть вечера клиенту назначил. Клиент свой гороскоп хочет, и деньги за это платит. Я, когда в человеческой оболочке нахожусь, тоже не святым духом питаюсь.

Не расстраивайтесь. Придет время, объясню всё, что сможете понять. На большее не рассчитывайте. Для большего необходимо снять блоки с вашей памяти, а вы – как и все тут – он как-то сразу постарел и сгорбился – поймёте – жить не захотите. Мне, в таком случае, что делать прикажете? Мне потом куда деваться? Новый мир создавать? – он снова перешёл на конкретный русский – Я рожать не умею. Бежать к этой полоумной? В ножки кланяться? Дескать, прими. Не было ещё такого случая, чтобы она хоть кого-то из старых мужей ещё раз к телу допустила.

Так что, господа хорошие и товарищи дорогие, придётся нам до скончания веков совместно проживать на одной жилплощади, в одной, так сказать, коммунальной квартире. Я у вас бессменно-пожизненный председатель «Домкома». Можете, если хотите, обзывать меня не Шарлатаном, а «Швондером» – я не обижусь. Не надо так страшно удивляться. Думаете, я не знал? Могли бы уж привыкнуть. Не первый день знаемся. И, вот ещё что: выбросьте из головы мысль о том, что следующую жизнь сможете провести не на земле, а в каком-нибудь другом месте, «где по-чуще будет».

Кто вам позволит? Уж не я ли? Пока свою карму не отработаете, будете рождаться здесь, а там видно будет – посмотрим. Ну и хватит об этом.

Теперь о причине Вашего визита: можете не рассказывать. Знаю, но я не нянька, не палочка-выручалочка. Я – Бог, ведь так меня здесь называют? Я не могу себе позволить ради хороших отношений корректировать Вашу карму и нарушать мной же созданные законы. Совет дам: бросьте это дело, не Ваше оно, уйдите – тут же избавитесь от проблем. В ином случае они будут возникать постоянно и каждый раз в более тяжком варианте, как очередное предупреждение. Могу процитировать Вашего современника: «Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действия многочисленные пинки в зад». Не дожидайтесь, пока Вас огреют дубиной по башке. Вспомните, что я говорил Вам о свободе, о праве выбора: поступите А – получите Б, поступите Г – получите Д, и так далее, выбирать Вам. Кваску хотите на посошок?

Я стоял уже в дверях, когда услышал:

– Молодой человек, задержитесь на пару секунд. В свете наших сегодняшних дебатов решусь предложить Вам кое-что для осмысления.

В одном из религиозных трактатов есть очень путаная история: «... и сыны божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы, и спустились к ним, и брали их себе, и те рождали им...». Это, мягко выражаясь, не совсем так. Следует писать: «... и увидели потомки Вселенной дочерей человеческих, что они красивы, и спустились к ним, и брали их себе, и те рождали им...».

– Ну и что в этом такого особенного? – продолжал я каркать на свою голову – Кто-то, чего-то там не понял, кто-то чего-то перепутал. Мне какая разница? Секс – дело житейское и, как выяснилось, не только для людей, но и для богов. Что тут, собственно, осмыслять?

– Совершенно верно, молодой человек. Ничего такого особенного в этом нет. Дело откровенно житейское, а повод для осмысления есть. У вас в голове постоянно крутится один и тот же вопрос: «Что это старый хрыч носится со мной, как с писаной торбой?»

И он взглянул на меня так снисходительно, так ласково – ну просто, как на пустое место.

На другой день, с самого утра, меня заела текучка, а потом ещё, и ещё, и ещё, и я постепенно забыл о нашем разговоре.

... а в тот вечер, всю дорогу до дома и больше половины ночи,

я не мог отделаться от еле слышимого ощущения, что где-то глубоко-глубоко, в самых моих сокровенных, затерянных печёнках, торкнулось, проснулось и стало проситься наружу какое-то странное, тревожно-растущее полу-предчувствие.

– Ах, чёрт меня дери – сказал я, тогда, засыпая – кажется, допросился. Каркал, каркал и накаркал.

– «Знал бы прикуп – жил бы в Сочи, да соломки подстелил». – Издевательски промурчал вслед моим полу слышимся зенкам ротный остроумец и отменный служака – незабвенный армейский старшина.

(Продолжение следует)

Генриетта Ляховицкая

РАЗОЧАРОВАНИЕ

«Впасть в детство»?

Я выпал из детства,
где было уютно,
но тесно и сыро,
и там поминутно
меня пеленали
и чем-то кормили,
и глупостей много
вокруг говорили.

Из детства я выпал,
но выпал напрасно –
всё только из детства
казалось прекрасным:
я туго спелённут,
но голоден часто,
и глупости слышу
вокруг ежечасно.

ПЕРЕВОСПИТАНИЕ

Мне сказали,
что голос мой громок
чересчур.

Указали,
что мнения резки
чрезмерно.

Приказали:
«Сменить общий тон
и окраску!»

И вогнали
меня в эти рамки
и в краску.

Я теперь в этих рамках,
где всё так пристойно
и мило:

нет у голоса силы,
и мнения чёткого нет.

Но зато меня в общество
уже один раз пригласили,
предварительно
выключив свет.

НА ПЕРЕЛОМЕ ЖИЗНИ

Больная старость,
ты – убийца красоты,
ты губишь мозг склерозною рукой,
беззубым впалым ртом
прошамкаешь мне ты,
и я уже не тот, и я уже другой?!

Я не согласен, нет!
Пока ещё расцвет,
и к мозгу кровь проходит без преград,
сумею наперёд составить чёткий ряд
из скорбных признаков, рождающих тот яд,
что пропитает жизни продолженье
и превратит её в тяжёлое мученье:

вот без движения нищает тело,
а как, бывало, всё
смеялось в нём и пело,
тускнеет ум без цели, без полёта,
бескрылая душа
сонливо ждёт чего-то,
линяют краски, затихают звуки,
сочится время сквозь
коснеющие руки,
любовь уже не царствует всевластно,
не занимает мыслей ежечасно –
я на неёзираю безучастно,
сквозь плен условностей
не устремляясь к ней,
и замирает песня нежности моей –
приметы жуткие ущербных дней...

И в ярости от каждой из примет
скажу ленивому покою НЕТ!
За напряженье тела и ума
отсрочку даст мне
даже смерть сама.

СЕДИНА ЗРЕЛОСТИ

Болью в сердце,
солью с перцем –
этой зрелой сединой –
накрывает жизнь волной.

Перец чёрный,
перец чёрный –
перемолотые зёрна –
перемешан с белой солью.

Перец с солью –
горечь с болью –
пряной юности следы
в прядях, белых от беды.

Станислав Львович

РАПСОДИЯ ДОЖДЯ

ВЕСНА

Ледок лежит, на солнце тая,
Апрель бежит, в ушах звеня!
И солнце, дождик согревая,
Зовёт из почвы зелена!

* * *

Фиолетовая Фея пролетала над полями...
Фиолетовая Фея поливала всё цветами...
Фиолетовая Фея всех будила ото сна!
Фиолетовая Фея называется... весна.

ES REGNET

Дождит, дождит, дождит, дождит...
Вода откуда-то бежит;
И Бог не дай под дождь пойти!
Нет, нам с дождём не по пути!!!

С полночи капала вода,
Как будто била не туда...
Как будто Кто? стучал в окно,
И в дом просилося Оно...

Зачем так много колотья
 Нас тащит вон из забвения?
 Нас пробуждает в этот свет,
 Где ждут: и завтрак, и обед,

И лёгкий ужин под конец,
 И телевизор – как венец
 Дневных трудов, дневных забот...
 А дождь всё льёт, всё льёт, всё льёт...

Как будто кто-то жадно пьёт...
 И исчезает тонкий лёд,
 И эта талая вода
 Вдруг пропадает в... никуда...

* * *

Был дождь... Из серо-тёмных туч,
 Вконец закрывших солнца луч,
 Сочился водопад недружный...
 Кому он в лад, а нам – ненужный...

И, словно по-пути, случился гром,
 И блеск лилового разряда –
 Прелюдия грозы парада –
 Прошёлся огненным пером...

ВЕСЕННЯЯ РАЗМИНКА ПОЭТА

Весна поэта разбудила...
 «Нет – зимней спячке! Ритмы – в бой!»
 ПЕГАСа солнце опалило...
 Он на Парнас – с весенней силой
 Рванул – счастливый! Боже мой!!!»
 И – словно внове... Словно в детстве
 Поэт открыл вокруг себя:
 И лужу с солнцем по-соседству...
 И щебет птиц и гам ребят...

«Держу пари, что я ещё не умер» –
Поэт цитирует Вождя...
Но тает всё в весеннем шуме
И ждёт весеннего дождя...
А прежнее зимы брюзжанье
Уж позабыто... Лишь Весна,
Что вдруг явилась на свиданье,
Его волнует... И мечтаньем
Его душа – как встарь – полна.

Душе послушная рука
Рождает чудо! На века...

ЛЕТО

ЛЕТНЯЯ ГРОЗА

Ударил Гром! Ударил вшмяк...
Забил по листьям гвозди страха.
Некошеной травы рубаха
Легла - вперекосьяк..
Крыльчонками зажавши уши,
Под куст забились снегиря
В слезах, в грозу не говоря...
А Гром – всё бьёт, всё бьёт по душам.

И вдруг оглохли все вокруг!
И стало тихо – как в постели...
Мелькают молнии, но еле...
И смотрит молча в небо луг!
Забыли мыши шум совы,
Пока беснуется природа...
Но от излишнего приплода
Пока воздержимся... Увы!

В тиши мечтается... И всё
Воспринимается спокойней...
Природный гром – не гром на бойне...
Живём, надеясь: «Пронесёт!»

* * *

Сегодня дождь опять стучал,
И облака закрыли тучи...
И гром ударил – как сплеча;
И ветер вдруг свалился с кручи...

Но птичий гам уже не тот,
Что нас баюкал так недавно...
И листьев шорох был жесток.
И покраснели леса раны...

И мы пораньше свет зажгли,
И пили чай с рябиной спелой;
Но в сад, как ране, не сошли,
Куда ушла молодая смелость?

Всем было как бы невдомёк,
Что началось прощанье с летом...
Надеялись, ещё с приветом
Придёт, как гость, на огонёк.

НА ВОДАХ СНОВА НЕПОГОДА

С утра глумился нудный дождь,
Не выпуская солнце в небо.
Как будто Солнце – это небыль,
А Дождь – он всей природе Вождь!

Дождю поддакивал залив:
Он засыпал на берег волны...
Они работали покорно:
Неслись, ни капли не пролив...
Животный мир просил пощады,
Себя запрятав, кто где мог....
Одним помог, как видно, Бог.
Другим – как нам – не скрыть досады...

Мы ожидали лишь... ТЕПЛО!
А не блудливое капелье...
А то и струйное, внахлёт,

Ручьёв небесных низверженье...
 Шалаш отельный нас спасал,
 Но лишь формально: от протечки!
 Иль согревал чугунной печкой,
 Но выйти вон – не позволял!

А мы приехали зачем?
 Смотреть с утра на серый выверт
 Воды взлохмаченной? На сиверк?
 Закончить новый цикл поэм???
 Но в непогоду... Боги... Боги...
 Дождаться б, и взглянуть в Закат:
 «Что напророчит нам примета?»
 Как сядет солнышко? Для Лета,
 Вполне надёжно, говорят,
 Быть чистым должен горизонт

От всяких туч и облаков...
 То к вёдру!
 Нет!?! Так будь готов
 Назавтра куртку, плащ иль зонт
 Иметь с собой, куда б ни шёл...
 Примет потоньше не ищи!
 Подвёл закат – так не пищи.
 Нет бури! Вот и хорошо!!!

ОСЕНЬ

Нежной поволокой небо серебрится –
 осень по Берлину ходит босиком;
 Улетели к югу разные жар-птицы;
 мы с тобой не можем свой покинуть дом

ПРЕДОСЕННИЕ БУДНИ

Пожухлых листьев много на траве,
 дизайн упрямо нарушая дачный,
 гнездится солнце в яркой синеве,
 лаская землю поцелуем смачным...

Тепла поменьше. Днём лишь в пол-жары,
а ночью спишь под толстым одеялом.
Взрослеет осень, злее комары,
но им недолго мучить нас осталось.

Жор на террасе. Наш сосед принёс
В казане плов по своему рецепту,
карп заливной. Решается вопрос,
чем запивать нам странную «диету»!?

Прогнали гнуса, воскурив дымок,
и с выпивкой поладили неспешно.
Звучали тосты, – смысл их глубок,
порой – банальны, а порой – потешны.

ЛИСТОПАД

Дождь – особенный, осенний,
дождь бесшумный и сухой.
Жёлто-красное цветенье,
сырость стынет под листвою.

Дождь из красно-жёлтых листьев
осыпает грунт лесной...
Лист буреет грустно, быстро,
перед самою весной...

Перед вьюжной дикой пляской
вся Природа чуть вздохнёт,
помолчит, припомнив ласку,
и как будто бы умрёт...

Помолчит и улыбнётся,
мягким светом чудака...
Жар прошёл, на дне колодца
вновь водица высока...

ЗИМА

ДОЖДЛИВАЯ ЗИМА

Сколько в городе Берлине
Не было такой теплыни?!
Снега нет – и стыд, и срам.
Для зимы прошли все сроки,
лишь скрипучие сороки
веселят нас по утрам.

ОТПОВЕДЬ ДОЖДЮ

Дождливая зима – Берлинское несчастье!
Не сводит нас ума. не рвёт сердца на части.
Ни горя, ни беды, а скользкое шатанье;
от этой ерунды. Какое здесь старанье!

Всё будто, кое-как! Не наспех, без охоты...
Какой-такой чудак, назвал дожди – погодой?
Погода – это свет – цветов благоуханье.
Погода – это снег по пояс. С гор катанье.

И даже бури дрожь (Погода – так Погода!)
А. не слюнявый дождь,
длиной почти в полгода!

БЕРЛИНСКИЕ ДОЖДИ И СНЕГА

И мы устали от дождей –
ненастье будит и тревожит.
Хоть нам и ясно: лицедей
Без слёз на сцене жить не может.

А дождь всё льёт. Который акт;
уж притомились и суфлёры.
Молотит дождь и такт – не в такт;
пробиты створы и затворы...

Небесных хлябей перебор
нас развлекает. Только листья
растёрты, втоптаны как сор,
и птиц не слышно пересвиста.

[127]

ТУМАННЫЙ ДОЖДЬ

Туман, запутавшись в ветвях,
сменился инеем серебристым –
и в ночь улёгся плёнкой льдистой,
забыв о снеге и дождях.

Иллюзия дождя – туман –
Бесшумно землю окропляет...
Когда падёт – никто не знает,
но дождь зимой – всегда обман.

* * *

Погода улицы промыла:
сперва снежищем завалила,
затем добавила тепла,
и талая вода стекла.
И с нею мусор и окурки, –
Их разбросали нам придурки.

ДОЖДЛИВАЯ ЗИМА

Зимовать зима решила,
позабыла только где.
Может, в Африке, у Нила?
Средь зверей или людей?

Вот и бродит по Европе –
где приткнётся, где вздремнёт.
Только дождик льёт и топит,
может, на дом кто возьмёт?

Валерий Матэ́тский

ГОЛОЕ НЕБО

Голуби, голуби, голуби
Голуби голубее голого неба

Небо, размножающее себя
Воздушными голубями,
Разлетающимися
Во все стороны пространства.

Голуби голубого воздуха
Прозрачные голуби нашего дыхания.

Голубизна, которой мы дышим.

Голуби жизни.

Небо дыхания

Глубина голубизны

Разлетающаяся глубина, голубей.

Голубей,
голубей,
ещё голубей!

ПОЛЁТА НИТЬ

Стать птицей!
С перьями срastить,
Струю,
как страсть в потоке тлея.
И Землю,
тяжестью жалея,
легко
ловить,

Плыть!
Плыть!
Щадя крыла аллею!
И глаз,
зрачком ужа сужая,
сквозь ось
планетную,
острить.

Сбрить!
Сердца острый камень, –
СБРОСИТЬ!
Как просит
о прощенье
осень,
у лета
отрывая
лист.

Свист
синевы
на Солнце
мазать
о золото
крыло
лудить...

Пить
опрощённую душою
Полёта
нить!

ГЛАЗЕЮЩИМ СНИЗУ

Искать!

Смеяться!

Разъезжаться ногами деревьев
на рыхлой почве.
Цепляться ветвями за воздух.

Не находить...

И выть тоскливо,
задрав, по-волчьи высоко,
саней оглобли,
в пустое небо.
В манную крупу вселенских глаз.

Жидкий кисель воздуха...
Случайность блошинных совокуплений.
Одиночество обособленных душ.

И бесчисленные рои космических глаз,
взирающих на нас сверху,
холодными кнопками.

И мириады наших глаз,
глазеющих на них снизу,
пульсирующим бисером.

А-у-у! –
Вакууму взглядов.

И звенят серебряные струны Безмолвия.
И натягиваются взгляды Пустоты.

И суетится жизнь
под ногами ГЛАЗ...
и ТЕХ,
и ЭТИХ.

НЕБЕСНАЯ ЛЮБОВЬ

Небо существует для того,
Чтобы оплакивать Землю,
И Земля с благодарностью
Принимает эти слёзы.

Не было-бы Земли –
НЕКОГО было-бы оплакивать!
Не было-бы Неба –
НЕКОМУ было-бы оплакивать!

Плачь, Небо –
Земля рада твоим слезам,
Которые она же и порождает.

Небо – это Земля!
Земля – это Небо!

И дождливый мост между ними...
Вертикально-струйистый мост.

Небо просится на Землю
И Земля тоскует по Небу.

О, эти влажные, вертикальные руки!
О, эти мокрые объятья взаимной любви!
О, эти солоно-сладкие напряжённые струи!

И гремит экстаз космической страсти.
И содрогается планета
В пароксизме любви к самой себе.

ЗЕМЛЯ – ПЛАНЕТА ЛЮБВИ!

Зачем стремиться на Небо,
Которое всего лишь, слёзы Земли?

Плачьте на Земле от любви к планете
И к самим себе!

Чувствуйте себя Небом –
Будучи землёй!

[132]

Станьте Вертикальным Мостом
Хрустальной Страсти!

Кап – Кап – Кап.

«ПЕЧАЛЬ БУДЕТ ДЛИТЬСЯ ВЕЧНО»

*последней картине Ван Гога
«Пшеничное поле с воронами»*

Осень... И снится кошмар:
В небо, без дна и без края,
Птичий срывается шквал,
Винсентской стаей.

Молча тяну пистолет
С длинным стволом аркебузы –
Бешено сыплю триплет
В Овер-сюр-Юза.

Каждой вороне в упор –
Дырку, проклятем Ван Гога!
Тот, кто не Гений – тот вор,
Именем Бога!

Осени скользкий разгон...
Жёлтый огонь – в голубое!
Выстрелы чёрных ворон...
Поле разбоя.

Рок, ты, КОНЕЧНО же прав!
Ты ИЗНАЧАЛЬНО в Ван Гоге
Дырами дульных расправ
Чёрные тоги...

«Печаль будет длиться вечно» – последние слова художника в его
смертные минуты.

Винсентской - полное имя голланд. художника: Винсент Виллем Ван Гог /
Vincent Willem van Gogh (1853-1890)

аркебуза - (фр.) ручное огнестрельное оружие XV-XVIII вв. Общая длина – 120-130 см

триплет – (лат.) многозначный термин: 1) удар при игре в бильярд, при котором шар попадает в цель, отскочив сначала от одного, потом от другого борта. 2) спорт. трехкратное повторение какого-либо достижения или взятие трёх высших наград. 3) карт. выигрышная комбинация в покере из трёх карт равного достоинства.

Овер-сюр-Юз - искажённое Овер-сюр-Уаз, фр. город, в кот. застрелился Ван Гог.

Вениамин Палагашвили

НАШ ОПЫТ

Прозренье ранним не бывает
и в срок приходит не всегда,
а если нас и посещает,
то поздно или никогда.

Но обходя своим вниманьем,
оно дарит в угоду нам
в обмен на тягость ожиданья
надежды сладостный обман

на то, что опыт наш житейский,
в азийской нажитый степи,
поможет и по европейской
дороге весело идти.

Мы были издавна способны
казаться кем-то, но не быть
умели лгать правдоподобно,
стыда не зная, плевки сносить,

в свой час прикинуться убогим,
с оглядкой гнев изобразить,
не веря ни в людей, ни в Б-га,
по пятницам поклоны бить.

Нам не бывает неудобно
сидеть с улыбкой на гвозде,

когда хозяину угодно
на шаг приблизить нас к себе.

Тот опыт, коим мы владели
сегодня нами овладел,
и встречный, нам на удивленье,
не ищет с нами общих дел.

* * *

Б-г не работал просто так,
открыв для обозренья
лишь прошлое. Любой простак
с его соизволенья

уравнен с мудрецом в правах
гадать о днях грядущих
по виду линий на руках
иль на кофейной гуще.

Но чем туманней пелена
меж тем, что есть и будет,
тем искушение она
настойчивее будит

узнать, преодолевая страх,
судьбу и всё иное,
всё то, что Бог не просто так
сокрыл за пеленою.

Узнать, к примеру, где конец
безумного начала?
Когда толпа сорвёт венец
с того, кого венчала?

Быть или не быть Земле жилой
сочтут ли разрешимым
и рухнуло ль само собой,
что мнилось нерушимым?

Грядущее хранит секрет,
но таинство не вянет!

Оно, конечно, даст ответ
как только прошлым станет.

[136]

Так, может, будущего нет,
раз все ответы в прошлом?
Но даже и на склоне лет
от этой мысли тошно!

На эту тему так иль сяк
подумать правомерно.
А что в стихах – такой пустяк
мне Бог простит, наверное.

ВСПОМИНАЯ ЛЕТО 1948 ГОДА

Четыре мангалки дымят во дворе,
тепла поддавая июльской жаре.
Дым горек и едок, аж слёзы из глаз;
не выветрить запахов детства из нас.

В конце переулка в колонке — вода.
Я по два ведра приношу без труда.
Ведро – в умывальник, ведро – для питья,
для стирки – четыре и два для мытья.

Вот мама живая стоит у крыльца,
под вечер встречая живого отца.
На весь переулок – один офицер.
Я видел в его кобуре револьвер!

Сосед Эйдельштейн приобрёл керогаз
– в быту он куда прогрессивнее нас.
То серый пиджак, то зелёный на нём,
а папа всегда в одеянье одном.

Зато у него галифе и мундир,
шинель и погоны – ведь он командир!
Но папа сказал, что погонам не рад,
уж очень ему надоел маскарад.

«Какое враньё!» – восклицает сосед,
шурша за стеною подшивкой газет,
затем поминает какую-то мать,
но эти слова мне нельзя повторять.

Слоняюсь в унынье на пыльном дворе –
не хочется в школу идти в сентябре.
Там только мальчишки, а девочек нет
и стрижка «под ноль» до двенадцати лет.

По этому случаю в детском саду
мы песенку пели в строю на ходу
с припевом, что мы ни за что, никогда
врагу не сдадимся и будем всегда

хранить наши тайны, иначе – позор!
Мы наши границы запрём на запор,
но дальше – ни слова, считайте – забыл:
боюсь, чтоб я тайны какой не раскрыл.

Давно нет мангалок, крыльца и двора,
те тайны раскрыла другая пора,
но тайны своей не могу разгадать:
зачем я в тот двор возвращаюсь опять?

ПАНЕГИРИК

Он тот, кто вечно на виду,
кто духом укрепляет тело.
Он – НОС! Ему ли быть в ряду
среди прочих?! Есть иное дело

тому, кого сама судьба,
не принижая глаз и ухо,
вознаградила даром нюха
и вознесла почти до лба.

За переменою времён
прослеживать он призван строго –

не нарушается ль от бога
природе посланный закон:

запахнет ли весна сиренью,
а лето – скошенной травой,
листвою прелой – день осенний,
а зимний – хвоей и смолой?

Покровом снежным и цветами
мир переменчивый пестрит
и нос, обеими ноздрями
сопя, возможность мне дарит

поразмышлять под небом вечным,
задуматься о бесконечном,
к примеру, почему вином
и мёдом воздух напоён
бывает утром, а под вечер
шибает в ноздри встречный ветер
всё чаще дымом и дерьмом.

Анжелла Подольская

Л Ю Б О В Ъ

(ТРИПТИХ)

*«...При великолепной памяти
можно и должно многое забывать»*

Анна Ахматова

1. ИН-ЯНЬ

...Аберрации памяти? Возможно... Но, всё же, память – единственное, что мы можем разделить на двоих...

...Я прилетала навстречу дуновением ветра... Травой обнимала твои ноги... Проливалась слезой росы... Это ли не счастье, за которое не жалко расплачиваться.

...Как часто от двоих требуют расставания. Как часто... Память рук, губ, невысказанных слов невыносимым грузом лежит на сердце. И мы – бессильны что-либо изменить. Остаётся боль...

«До встречи», – говорим мы, зная, что это уже навсегда... Навсегда.

...В последний раз мы так близко. В последний раз слова любви... Все кончено. Безвозвратно... Как диктует этот безумный мир. Как должно быть по его правилам. В нас живёт воспоминание о Времени, когда дни свертывались в мгновения, а часы растягивались в Вечность. Вечность, которая была рядом... Мы были обожжены ею...

...Потом... Потом – пропасть... Не между нами, внутри нас, на краю которой балансировала душа...

2. РАНО ИЛИ ПОЗДНО

...Рано или поздно всё когда-нибудь проходит... Заканчивается... Всё переменчиво... Ничто не вечно... Рождается любовь... Умирает... Невыносимо, когда наступает агония чувств...

Из последних сил пытаешься изобразить вымученную улыбку и сохранить лицо...

Уже не стучит кровь в висках в ожидании встречи. Не застревает в горле сердце... Всё исчезает. Перегорает. Превращается в пепел... В глазах – дорога...

Переосмысливая, не хочется возвратиться на пепелище. Зачем?

...Рано или поздно любовь, какой бы ни была, проходит...

Запретная и дикая. Страстная и ненасытная. Безумная и безнадёжная...

...Рано или поздно мы становимся другими. Ты любишь солнце... Я – свет лампы... Ты предпочитаешь сюрпризы... Я – их ненавижу...

К чему слова? Бессмысленные жесты? Самообман...

...Рано или поздно разучиться читать по губам... Не изображать печаль... Забыть запахи, будоражившие прежде...

В одиночестве пить кофе, не вспоминая вкус неосторожных губ... Бесконечно ничьих...

...Рано или поздно, нацепив лживую мину, улыбаться... Придумать головную боль, возненавидеть выходные... Ждать... Реанимации отношений, которые не сумели убить при их зарождении? Уходить и возвращаться? О, нет! Пусть всё останется недосказанным... Пусть сгущается Пространство... Остановится Время...

...Рано или поздно за окном шалает весна. Она – не для нас...

Никак не стемнеет. Ночь, когда лучше дышится... Но проклятый рассвет наступает, как душевный авитаминоз...

...Рано или поздно умереть... Или обмануться...

...Рано или поздно...

3. ПОСЛЕВКУСИЕ

Цвет осени – одиночество.

Я постарела... В душе – молода, но...

Волосы седеют, не хочется их красить.... Кожа на руках сморщилась... Сердце в рубцах...

Жизнь? Круговорот...

Ты спишь... Я рассматриваю твоё лицо. Когда-то мы не прятали

своих чувств... Тогда, казалось, мы счастливы... Каким упоительным было молчание вдвоём... Переплетение жестов, желаний... Каждое мгновение – последнее... Было легче убить, чем расстаться...

Теперь мы часто молчим. Но это – другое молчание...

Какое страшное слово: «всё». Куда уходит любовь? Что делать с обретенной свободой? Свободой от любви... Необратимость чувств, отравленных ядом жизни...

Я отпускаю тебя, и во мне кричит тишина...

Любовь... Рисунок на песке... Поднимется ветер... И «ничего»...

В О Д В О Р Е

Прозвище «Информбюро» баба Харита имела не зря. Она всё про всех знала и всегда была в центре событий. Поблескивающие ртутью глазки, длинный кривой нос, тонкие, как суровая нить, губы. Зоркое, не дремлющее око. Не зная устали, в первой половине дня она оббегала все продовольственные магазины в округе. После полудня – законный отдых на лавочке. Ни одно событие во дворе не может укрыться от её глаз. Ни одно не обходится без её участия, будь то чья либо свадьба, рождение очередного младенца, либо чьи-то похороны. «Од, побачите! Нинка у подоле принесёт, – оповещала она соседей. Или – Ох, горемычный!. Не дотянет Степаныч до Покровов». – И зачастую оказывалась права.

В пятницу, ближе к вечеру, Галька и Василий возвращаются из бани. Она, гордо вышагивая чуть-чуть впереди, хочет поскорее миновать строй любопытных глаз. Васька, в развалку, не торопясь, пожимает руки доминошникам, кивает бабе Харите, и поддерживает Гальку за локоток. «Явились - не запылились, – скрипучим, как не смазанная дверь, голосом бормочет вслед баба Харита. Не успевают они скрыться в парадном, как она объявляет, – од, шичас концерт зачнётся». И, действительно, спустя пару минут на втором этаже начинается то, о чём предупредила баба Харита. Из распахнутых окон доносятся Галькины стоны и Васькино мычание. Ни орущее радио, включённое Васькой, ни многоголосье, доносящееся из окон многоквартирного дома, ни даже шум детворы, носящейся тут же, по двору, не могут заглушить эти звуки. Доминошники забывают об игре и достают свои папиросы, из многих окон высовываются женские головы.

– Ни стыда, ни совести, – кричит Сима с пятого этажа, соседка бабы Хариты.

– Шо, завидки берут? – смеётся Клава, с третьего.

– Что вы к ним прицепились, – вторит ей Шурка, тоже с третьего, но из другого парадного.

– Нонсенс! Нонсенс! Уму не постижимо. – Седовласая Клавдия Петровна, Клодя, как зовут её соседи, возмущена безмерно и грозит сообщить о неподобающем поведении в ЖЭК. Её девственные чувства уязвлены, и она со стуком захлопывает створки своего окна.

Соседки, свесившись с подоконников, смеются и переговариваются о том, какая же Галька всё-таки бесстыжая. А Васька – так тот, вообще, круглый идиот: «Привёл дурачок бабу на двадцать лет моложе. Она ему ещё покажет, рога вырастут ветвистые. Мало не покажется».

Во время этой дискуссии во двор выбегает Полина, многодетная мать.

– Как же вам не стыдно, – подняв голову, обращается она к соседкам. – Устроили здесь цирк. Тут же, всё-таки, дети, а вы злословите. – Позвав детей, играющих в «жмурки», уводит их со двора.

Не выдерживает и Лизавета Львовна, с первого:

– Что раскричались, безумные? Глотки, дай Б-г. Дадите, наконец, трудящимся отдохнуть? Своими разговорами вы развратите мне детей. – У неё два сына, погодки, Жорка и Борька. Старшему, Жорке, восемнадцать. Он ждёт призыва в армию, а пока, после школы, устроился на фабрику игрушек. Вечерами и по выходным гоняет в футбол. Младший, Борька, второгодник, в девятом классе. Любит только Дюма, которого читает целыми днями. «Балбесы! Одному подавай футбол, другому – графа Монте-Кристо. Не хотят выйти «в люди». Оно мне надо было? Ну, скажите?» – сокрушается Лизавета Львовна и часто, пугая сыновей, которые любят мать, изображает обморок.

Когда Жорка, пламенея рыжей шевелюрой, влетает с мячом в руках во двор, весь испачканный и с разбитыми коленками, баба Харита моментально просекает траекторию его взгляда в сторону второго этажа и, хлопнув его по заднице, осуждающе поджимает губы:

– Щас тебе мать задаст. Лизка! – Кричит она на весь двор. – Зъявилось твоё сокровище.

– Жорка! Где тебя черти носили? – Лизавета Львовна «делает» грозное лицо. – Шоб сейчас мне – дома.

Ещё несколько минут Жорка топчется во дворе, пока не уви-

дит в окне второго этажа мелькнувший Галькин профиль. Перекурив, и доминошники возвращаются к прерванной игре, в окна исчезают женские головы, и на подоконниках красуются у кого «герань», у кого «тёщин язык». Постепенно опускаются поздние сумерки, и духоту летнего вечера дополняют кошки всех пород, «гуляющие сами по себе». Люди разбредаются по коммуналкам, откуда теперь доносятся душераздирающие звуки скандала или патефона. Последней двор покидает баба Харита.

У бабы Хариты во дворе есть свои симпатии. Шурка не из их числа. Она живёт в угловом парадном, на стыке двух домов, которые и образуют, собственно, двор. Это парадное служит чёрным ходом. У его жильцов есть ещё одно, выходящее на улицу. Шурка, партийная фронтовичка, с крашеными волосами и неизменной папиросой во рту, во всю приводит к себе мужчин. Соблюдая конспирацию, впускает их со стороны улицы, а выпускает через двор. Или наоборот. Но разве может это остаться незамеченным бабой Харитой? Надо отдать Шурке должное, одевается она со вкусом. Сама шьёт и берёт заказы. Соблюдая всё ту же конспирацию, заказчиц выдаёт за своих подруг. Она опасается фининспектора, так как ничего не платит в финотдел. Особая её гордость – чистопородный пудель. Когда она, фигуристая, дородная, выводит его во двор, баба Харита усмехается:

– Вона, дама из собачкой идёт.

Но Шурка не из тех, кто отмалчивается:

– Харита! Ты на горшок-то ходишь? Или всё своё с собой носишь? Как ни выйду – ты. Людям же от тебя житья нет.

Баба Харита в долгу не остаётся:

– Халиганка ты, Шурка! Шалава! Некультурная, хоть и фронтовичка. Смотри! Од мужиков не только удовольствия, но и болезни бывают. Наверное, ты ентим делом и на фронте займалась?

– Что? – багровеет Шуркино лицо. – Повтори! Повтори, что ты сказала! – Она орёт глубоким, трубным голосом, при этом вздымается её грудь, на которой красуется ряд орденов колодок.

Баба Харита, делая свой неповторимый жест рукой, который каждый может трактовать, как ему вздумается, скрывается со двора, правда ненадолго. А Шурка направляется к Клавке, своей подруге:

– Ну, скажи! Что она ко мне цепляется. Ведьма. Ведьма и есть.

У бабы Хариты никогда не было мужа. «На шо он мне здался?» – отвечала она любопытствующим. Глядя на неё, трудно поверить в то, что и она когда-то была молода. Было ей далеко за

восемьдесят, и жизнь её мирно протекала и при царе-батюшке, потом при Советах, при немцах, и снова при Советах.

Старость она встретила, как должно, не ропща. Всю жизнь проработав в дворниках, вышла на пенсию и сменила служебную комнатёнку в полуподвале на освободившуюся, светлую и просторную комнату на пятом этаже. Она первой во дворе учуяла явный Жоркин интерес к Гальке. О своём открытии никому не сказала. Ждала, чем дело закончится: «Ну, кино», – думала она. А кино она любила, посещая утренние сеансы за двадцать копеек и не пропуская ни единого фильма.

Васька, слесарь пятого разряда, был греком и большим любителем женского пола. Это был крупный мужчина, жилистый, с большими руками. Во всём его облике просматривалось что-то звериное. Баба Харита его уважала за «цепкость до жизни», основательность. По тем временам он был богат, владея лучшей во всём дворе мебелью, пианино, купленным по случаю и красившим интерьер, единственным телевизором марки «КВН» с маленькой линзочкой. По субботам он разрешал некоторым соседям, в том числе бабе Харите, приходить на телевизор. Сама она гостей не любила, к себе никогда не приглашала, но с удовольствием шла к другим. Любила пропустить рюмочку-другую, поесть неизменного «оливье», а иногда и просто картошечку в мундире с селёдкой. Закуска была не так важна, главное, чтобы компания хорошая. Острая на язык, она оживляла своим присутствием любые посиделки, и даже «мóлодеж» при ней «притупляла» свои язычки. Каждое новое Васькино увлечение баба Харита встречала презрительно. Женщины, которых он приводил к себе, были похожи – грудасты и пышнотелы. А его романы – бурные и скоротечные. Когда в его доме появилась Галька, бабу Хариту оторопь взяла: «Ни кожи, ни рожи. Словом, кости одни. Вкус ему изменил, что ли? Ну, – эта, тем более, ненадолго, как и все остальные», – решила она.

Васька по натуре – щедрый: «Люди! Для того и деньги, чтобы их тратить, – обращался он к соседям со своей «коронной» фразой. – Главное – здоровье. Остальное мы купим». Исходя из этих его принципов, все бывшие пассии, живя в его доме, хорошо питались. Не стала исключением и Галька. И очень скоро её «косточки покрылись мясом», а взгляд стал ещё более волнующим. Васька не жалел денег, и Галька щедроляла в крепдешине и креп-марокене. Было лето, и по двору

растекался доносящийся из открытых окон аромат вскипающего варенья.

Прошло несколько месяцев, Галька никуда не исчезла, «растопив» окончательно Васькино сердце, и крепдешины сменились шевиотовым макинтошем, вслед за которым ждала своей очереди котиковая шубка и добротные крошечные полусапожки. Баба Харита ничего не понимала, её точила обыкновенная женская ревность. Для неё Галька была невесть откуда взявшейся «чувындрой». Ещё она испытывала некое подобие злорадства, наблюдая за страданиями Жорки по Гальке. Наконец, в осенний призыв, совпавший с еврейским Новым Годом, Жорку забрали на армейскую службу.

Евреи Малой Житомирской встречают свой Рош га Шана. Кто – никак, как семья Лизаветы Львовны. Во-первых, по причине абсолютной ассимиляции, во-вторых, усугублённой ещё и тем, что Жорку призвали в армию. Кто – не афишируя, как старая Ася, фаршированной рыбой и яблоками с мёдом. Впрочем, она всегда встречает и Субботу зажжёнными свечами, той же рыбой и куриным бульоном. Иногда ей удаётся зазвать к себе своих взрослых сыновей с невестками – не еврейками. Ни сыновья, ни, тем более, их жёны, Субботы не признают. Подсмеиваясь над Асей, тем не менее с удовольствием поглощают фаршированную рыбу.

Наступившая зима – очень сурова и на лавочке во дворе уже не посидишь. День короткий, и вечерами в окнах мелькают тени... Малая Житомирская как будто впала в зимнюю спячку, нарушаемую, разве что по воскресеньям, визгом саней, несущих детвору по гористой улице вниз. И только баба Харита в старом тулупе протаптывает дорожки от парадного к парадному. И к Асе заходит покалякать, и к Клавке, поучить ту уму-разуму: «А чтоб не водилася из Шуркой. Така дружба до добра не доведёт». На Ваську она сердится. С появлением Гальки он не приглашает никого на телевизор, а этого баба Харита ему не прощает. «Ишь! Бегаешь, – смотрит она вслед Гальке. – Прыщиками своими туды-сюды трясёт. Ничего! Добегается». Тем временем Галькина шубка, как назло, мелькает, каблучки сапожек отбивают дробь, отдающую картечью в голове у бабы Хариты. Вконец рассердившись на Ваську, она покушает маленький «КВН», и тоже с маленькой линзочкой.

Васька очень хочет сына. Хочет учить его музыке и пообещал Гальке, как она родит, так в ЗАГС и пойдут. И хоть стараются они – пока ничего не получается. Он водит её по врачам. Те только руками разводят, здорова мол.

Зима, как и положено, идёт к весне, и снега проливаются дождями. С карнизов обваливаются сосульки, в водосточных трубах захлёбывается вода. В конце апреля совпали две Пасхи, еврейская и православная. Почти никто из жителей Малой Житомирской не задумывается, что за праздник такой, Пасха, в честь чего, почему их две? Ни та, ни другая не поощряются властью, хотя, и она, власть, её тоже празднует. Пекутся куличи и красятся яйца, фаршируется рыба и откуда-то в наволочках приносится маца. «Опять эти евреи будут есть свою мацу, замешанную на крови наших младенцев», – бурчат, впрочем без особой злобы, представители нееврейской национальности. Баба Харита обносит куличами Полину, Клаву и Асю, а та в свою очередь угощает соседок фаршированной рыбой. «Очень вкусно, – смакуют они. – Но, какое-то не наше, не русское».

Прослужив год, вдруг из армии вернулся Жорка, отлежав два месяца в госпитале после случайного ранения из-за допущенной кем-то неосторожности. Странное дело... Уходил совсем пацаном, а вернулся мужчиной. Куда-то подевалась его шевелюра и теперь, широко развернув плечи, он сверкает рыжим «бобриком». От всего его вида веет уверенностью человека, который знает, что ему делать. Он возмужал, окреп, смелее стали его глаза. Только ходит он теперь с палочкой, ранение было в ногу. Во дворе его зауважали. Борька, наконец закончивший школу, везде бегаёт за старшим братом и, последовав его примеру, устроился на механический завод.

Изредка Жорка присоединяется к доминошникам. Он не бросает взгляды в сторону второго этажа, но кожей чувствует, что оттуда за ним наблюдают. Он знает – кто. Сердце его ухаёт и катится куда-то вниз. Чиркнув спичкой, он закуривает «Беломор», делая вид, что всецело поглощён игрой.

– Жорка! Паршивец! Ты курить мне вздумал? – кричит выглянувшая в окно Лизавета Львовна. – Я не посмотрю, что из армии вернулся. Так отделаю, своих не узнаешь.

– Лизка! Чего на парня завелась? – Отвечает ей баба Харита. – Он у тебе, смотри, какой мóлодец вымахал?

Потом, придвинувшись к Жорке, она шепчет ему на ухо:

– Ты, парень, того! Не дури! Из Васькой шутки плохи. Враз прирежить.

Жорка сплёвывает под ноги:

– Пуганый я, баба Харита! Пусть только сунется. Урою.

Поднявшись после игры, он всё же бросает короткий взгляд в сторону второго этажа и идёт со двора. Ничто не укрывается от бабы Хариты. Через несколько минут появляется Галька. Не спеша, проходит через двор и, выйдя на улицу, торопится в сторону Владимирской Горки. Там есть укромное местечко, известное только ей и Жорке.

– Галька! Галчонок! – Жорка губами осушает льющиеся из её глаз слёзы.

Тонкими руками она обхватывает его шею:

– Жорик! Жорик! – Она сжимает его ладонь, тянет к себе, погружая его руку в ворох своей одежды. – Я люблю тебя. Но ты же мальчик совсем, прошлым летом ещё игрушки делал на фабрике. Как же мне жить-то теперь? А уйти от него не могу. И не проси. Если он узнает, убьёт тебя. Боюсь я его. Пойду, наверное.

– Галька, подожди! Давай со мной! На БАМ!

– Что ты! Нет.

– Решайся! Или – или...

– Нет, Жорик! Молчи! Побегу я. Ты не ходи за мной сейчас. Погоди немного.

Отгоняя тревогу, она мчится вниз по улице, чтобы успеть домой до Васькиного прихода.

Баба Харита – во дворе. На посту. Видит, как торопливо вбегает во двор Галька. Видит, как чуть позже, не спеша, возвращается с работы Васька: «Ой, девка! Ой, бяда - бяда. К Лизке надо. А то поздно будет», – решается баба Харита.

– Ах, ты ж сволочь! Ты чего натворил? Перед соседями меня позорить? Чего наделал, дурья твоя башка! Девочек тебе мало? – рыдает Лизавета Львовна и лупит Жорку. – Я тебе когда-нибудь в жизни сделала плохо? Нет? Так я тебе сделаю... Ты у меня месяц на задницу не сядешь. Сына лишить меня надумал? Васька ж тебя убьёт. Да я бы и сама тебя убила. Своими руками... Гад! Гад! Ты перешёл границу... За ней кончается семья. – Удары сыплются на Жорку, который выше матери на две головы. Лизавета Львовна хватается за сердце и падает в самый настоящий обморок.

День сменяется ночью. Осень – зимой. В самом конце позд-

ней осени, когда серой коркой покрылись лужи, Жорка укатил на свой БАМ. А Галька, касаясь носком сапожка промёрзшей лужи, осторожно идёт по двору. Её шубка не сходится на округлившемся животике. Васька не разрешает ей ходить одной. Не дай, Б-г, поскользнётся и «выкинет». Не приведи, Господи! Он договорился с Лизаветой Львовной, что как у Гальки начнутся схватки, та вызовет «Скорую». У Лизаветы Львовны, можно сказать у единственной во дворе, есть телефон, и все соседи им пользуются. Правда, есть ещё один, у Клоди, но та раз и навсегда запретила соседям обращаться к ней с просьбами.

Зима и в этом году холодная. Баба Харита, вышагивая по двору, ничего не может разглядеть за соседскими окнами, стёкла которых схвачены кружевом мороза. Глазки её переглядываются, бегают, каждый сам по себе: «Ничего не выдать». Но зима, хочешь – не хочешь, движется к теплу. Готовясь к наступающей весне, соседи берутся за генеральные уборки. Пользуясь последним выпавшим снегом, выбивают на нём свои коврики и половички, и он из белого превращается в серый и грязный. Грядущие дожди смоят всю эту грязь, скоро совсем потеплеет... Распахнутся окна, и в небе, умытом снегами и дождями, задрожит новорождённое, рыжее солнышко.

МЁРТВЫЙ СЕЗОН

(Глава 11-я из повести «Сёстры»; Главы 1-10 см. в Альманахах «До и После», №№8-15)

Восьмидесятые годы... Впоследствии их назовут «Эпохой застоя». Они входили в мёртвую петлю: исчезали очередные продукты, и те, которые ещё оставались, приходилось добывать с боем, рыночные цены стали заоблачными, мало кому доступными. Доллар, который можно было увидеть лишь по телевизору, стоил менее рубля (?) Смехотворное, опасное время, когда владение долларами и любой другой валютой грозило большими осложнениями жизни тех, кто хотел их иметь, несмотря ни на что. Многие «отказники», преодолевая усталость и тревогу от дрящей неизвестности, зарабатывая рубли, приобретали эту вождевленную «зелень». Будучи «мозговым центром» небольшой группы «друзей» по несчастью, Саша руководил ими. Всё делалось разумно, просчитывалось на много ходов наперёд. При этом соблюдалась осторожность и строгая конспирация.

Марьяна, человек абсолютно советский, законопослушный, старательно делала вид, что не замечает усилий мужа в создании базы их будущей жизни. Не «здесь» – «там». Она боялась. За сына, за Сашу. Хотела стать почти незаметной, вплоть до того, чтобы слиться с фоном. Саша, прагматичный романтик, не возражал против уловок жены и лишь посмеивался. Благодаря его усилиям, материальные трудности почти не коснулись их семьи. Оставшись около двух лет назад без работы, не растерялся, устроившись в ближайшее почтовое отделение. Любая работа в то время была роскошью для таких, как он. Энергичный, спортивный, быстро справлялся с доставкой почты, благо его машина была «на ходу». По вечерам – «бомбил». В свободное время продолжал работать над научными статьями, «в стол». Его не покидала уверенность, что они когда-нибудь пригодятся, «выстрелят».

Секунды, минуты превращаясь в часы, дни, отдалялись, становились прошлым. Подрастал сын. Он уже довольно сносно говорил, однажды заявив, что будет «элеклёнчиком», как папа. Развивая в ребёнке азарт, логическое мышление, Саша научил Женю игре в шахматы, в которую тот стал играть прежде, чем хорошо заговорил. Домашнее воспитание имело и плюсы, и минусы. Женя рос развитым, очень самостоятельным мальчиком. Но лишённый детского коллектива, был эдаким маленьким «профессором». Умный вид ему придавали и очки, которые он носил, унаследовав от отца близорукость.

Всё было шатко, никакой уверенности в завтрашнем дне. Потому трудно. Сколько ещё мог продлиться этот вакуум неизвестности, в котором они оказались? Если раньше сама мысль об отъезде приводила Марьяну в смятение, то по прошествии лет ей хотелось определённости: «Пусть бы хоть как-то, но решилось...» Когда Женя подрос, она сделала попытку вернуться на прежнее место работы. Но, при всём добром к ней отношении, обойти отдел кадров было невозможно. Ей же хотелось какой-то деятельности. Через знакомых она стала доставать студенческие контрольные, курсовые, и даже дипломные работы. К курсовым и дипломным привлекла мужа. Они разделили функции: он отвечал за теоретический материал, она – за чертежи. Эта побочная работа стала приносить ощутимые плоды. В результате Саша занялся репетиторством. Как правило, абитуриенты, им подготовленные, штурмовали лучшие вузы страны и успешно поступали. Вскоре слава о нём

разлетелась по всему городу, и к нему в ученики было невозможно пробиться.

Он оставил почту. Но нужно было официально где-то работать, и он устроился сантехником ЖЭК-а в новом микрорайоне. Правда, работу за него делал местный сантехник, за что Саша платил ему полтора своих оклада.

Марьяна, отождествляя погоню за долларами с неким «торгашеством», считала, что муж растрчивает интеллект, и не одобряла его – слишком дорогой могла оказаться плата.

Время как будто застыло... Месяцы, годы, наполненные ожиданием. Единственное, что разряжало нервную обстановку в доме – взросление сына. Нежный и смешной. Упрямый. Скорее не упрямый – упорный. Марьяну любил безгранично и говорил, что когда вырастет, обязательно «поженится» на ней. Посторонние, становясь свидетелями проявления его любви к матери, говорили: «какая-то патологическая любовь...»

Родители занимались подготовкой сына к школе. И к первому классу им были освоены все азы знаний. Отъезд не «светил».

За все годы Света видела племянника не более двух раз. При телефонном разговоре интересовалась:

– Вырос, наверное? – И всегда старалась, как обычно, задеть сестру, – Ну, а твой-то? Съездил в Америку? Всё пыжится? Видно, мало ему ещё по башке дали. И где же он теперь-то, знаменитый наш кибернетик? В глубокой ж...? Там ему самое место. Пусть сидит, не высовывается. Да... И пусть скажет спасибо, что ему досталась такая «квочка», как ты. У меня бы он поплясал, – злорадствовала она.

Нервы были на пределе, но несмотря на невероятные усилия, Марьяна всё же срывалась:

– Света, задумайся о душе. Хоть каплю благодарности ты же не можешь не чувствовать к Саше за то, что Алинка, подготовленная им, поступила в Политехнический?

Рассказывать Свете, что всё у них не так уж плохо, как той хотелось бы, не стала. Свете это не понравилось бы, и она придумала бы новую издёвку.

Света же была убеждена, что это сестра втайне торжествует по поводу её развода с Леонидом, у которого в новом браке родилась ещё одна дочь. Последнее время он исправно выплачивал алименты для Юли. Ирония судьбы, не правда ли? Помощь старшей дочери прекратилась сразу, как только ей исполнилось

восемнадцать, чужому же ребёнку – платил... Никаких сожалений о бывшем муже Света не испытывала. За свои «бесцельно» потраченные годы только ненавидела и проклинала.

Правда, время и её чему-то научило. Она поступила (!) в коммунальный техникум, на заочное отделение. По-прежнему работая в химчистке, мечтала стать заведующей, что невозможно было осуществить без диплома.

В личной жизни у неё ничего кардинального не произошло. Был «друг сердца», как она его называла, моложе её, к тому же женатый. Собственно, на роль мужа, по её мнению, он «по любви не тянул»: «Инженер, сто пятьдесят рэ. Кому это надо?» Но в качестве любовника – вполне... К тому же создавалась видимость наличия мужчины. Света изменилась внешне, стала платиновой блондинкой. Располнела, поглощая всё сладкое, что попадалось под руку. Сладостями заглушала горечь, застрявшую где-то внутри. Она перестала часами просиживать у зеркала, которое возвращало ей какую-то постаревшую бабу. Друзья у неё перевелись. Вообще, люди всегда беспощадны к брошенным. В поисках новых знакомств, она ходила в парк, но не подозревала, что друзья приобретаются в юности, и то не специально. Не понимала, что дружба нуждается в подпитке, желательно с обеих сторон.

В отношениях с дочерьми тоже не было полного взаимопонимания, по-прежнему ревновала их к сестре. И совсем не желала признавать Сашиной заслуги в поступлении дочери в институт.

Племянницы любили приходить к Марьяне, особенно Алина. Всякий раз, когда она появлялась, Марьяна не переставала восхищаться ею:

– Ты моя красавица. Вот смотрю на тебя и понимаю, какая же я старая кляча.

– Ты, старая? – возмущалась Алина. – Нет, ты взгляни в зеркало. Посмотри, посмотри. Видишь эту женщину? Красивая, счастливая, уверенная в себе.

– Алюш, ты преувеличиваешь. Ну, счастливая – да. Возможно. Оттого, что вы все у меня есть. Вот уверенная, нет, дорогая... Ты же видишь, что творится? И не выпускают, и жить не дают. Саша извёлся. Работает на износ. Боюсь, если дело дойдёт до выезда, он уже не сможет там реализовать себя, как специалист. Его профессия принадлежит к области науки очень мобильной, которая меняется даже не по дням, по часам. Да, конечно, он читает периодику. Пишет статьи. Некоторые даже переправил на Запад, и их там напечатали.

Вот – купил за бешеные деньги компьютер. И, что? Сетей, о которых он читает в английской периодике, у нас нет. Всё не то, понимаешь? Необходимо живое общение, общение с новейшими достижениями в вычислительной технике. А он этого лишён. Мозг усыхает... Я ему этого, конечно, не говорю, наоборот – поддерживаю.

– Мозг? У дяди Саши? Да ты что? У него гениальный мозг. Ты плохо его знаешь, хоть и его жена. И, потом... Я слышала в институте разные разговоры... Вот-вот что-то начнёт меняться. Тра-та-та... Понимаешь?

– Слушай, девочка! Держись подальше от этого...

– Ну что ты всего боишься? Сейчас наступают совсем другие времена, ветры перемен. Всякие разные, понимаешь?

– Алинка, я тебя прошу. Подумай о себе, о Юле. О матери, в конце концов.

– О матери? Это ещё зачем? Что ей сделается?

– Послушай, я устала тебе повторять. Она – твоя мать. Ты обязана относиться к ней с уважением. Даже, если иногда она бывает не совсем права.

– Если бы иногда... Вот закончу институт и всё равно к тебе приеду. Ты согласна?

– Ну, посмотрим... Хорошо... Ты же знаешь, как я тебя люблю?

– Больше, чем Жеку? – хитро улыбается Алина.

– Ну... одинаково, глупенькая. Все вы – мои, любимые...

Задумываясь о жизни, о том, зачем пришла в этот мир, Марьяна думала о сестре. Как невыносимо больно, когда тебя предают... Ещё страшнее собственное предательство. Ей казалось, что она тоже предала Свету, не спасла сестру от себя самой, пустила всё на самотёк: «Нужно переломить ситуацию. Ведь они же родные люди. Что там какие-то прошлые обиды? Забыть. Всё забыть». У неё часто возникало щемящее чувство: «А не отбросить ли всю эту затею с отъездом? Возможно, всё – самообман, мираж? Жизнь прекрасна и удивительна. Но, почему-то всегда где-то там, далеко-далеко, где нас нет. Заблуждение. Иллюзия». Но потом она вспоминала Сашины слова, его доводы, что не следует оглядываться назад. Думала о том, что он умнее и знает, как надо. Что у него лучше развит инстинкт самосохранения, заставляющий идти вперёд. Только вперёд.

И ещё... Со страхом думала о том, что снова беременна...

WELCOME TO AMERIKA

Предсказание Алины о ветре перемен, кажется, начинало сбываться. Время от времени «сарафанное» радио приносило слухи, что кого-то «выпустили». Забрехала надежда.

Человек всегда привязан к месту, где родился, привязан к воспоминаниям. Даже – к запахам. Ему трудно расстаться с этим. Но чинимые препятствия лишь подогревают его в стремлении к их преодолению, усиливают желание увидеть, узнать нечто новое.

По большому счёту годы «отказничества» сыграли в жизни многих положительную роль, превратив их в настоящих бойцов.

Узнав о беременности жены, Саша испытал сперва испуг, который быстро сменился радостью:

– Любимая... Думать не смей... Никакого аборта.

– Ты забыл, как было тогда? Разве мы можем сейчас себе это позволить? Я боюсь. Мне же в конце года – тридцать восемь.

– Ничего. Будем рожать. Всё будет хорошо, вот увидишь.

Он привлёк её к себе, покрывая поцелуями.

– Саша, ну что ты делаешь? Прекрати, – смеясь, противилась Марьяна. – Женька же скоро придёт из школы.

– Не придёт ещё...

Он любил эту женщину. Более семи лет они были вместе, но ни разу он не испытал разочарование. Чувствуя к ней сексуальное влечение, он ощущал и постоянную потребность оберегать её, защитить, если потребуется. Для него она сочетала в себе черты любовницы, матери и ребёнка в одном лице.

– Детка, прости. Я тебя очень люблю. Ты знаешь об этом?

– Знаю, дорогой. Ты не должен извиняться за свой порыв. Это я люблю тебя. С тобой я узнала, что это – счастье. Но, наш сын... Он уже поднимается по лестнице.

– Иногда меня пугает твоя интуиция. Ты ясновидящая?

– При чём тут интуиция? Посмотри на часы, – и они услышали звук вставляемого в замочную скважину ключа.

Юра, Сашин сын, завоёвывал Америку. Закончив университет, он был принят на работу в престижную компьютерную фирму. Все эти годы, несмотря на «железный занавес», его связь с отцом не прерывалась. Саше удавалось переправлять сыну научные статьи, написанные на английском. Некоторые из них, благодаря Юриным усилиям, были опубликованы в США и расценивались специалистами, как очень серьёзные работы по данной тематике.

Юра не прекращал торопить отца: «Ну и что, что вас не вызывают? Побольше инициативы, бойцовских качеств. Промедление – очень плохо. Тут, сейчас, для тебя – «зелёный» свет. О.К?»

А Марьяна нервничала. Она уже любила своего, ещё не родившегося, младенца. Но её страхи выходили наружу, заполняя ум. Правда, нынешняя беременность протекала спокойно, без токсикоза и прошлых осложнений, за что она благодарила вынашиваемого ею ребёнка. Она постоянно с ним разговаривала, пела ему детские песенки, приучала к хорошей музыке:

– Спи, спи, малыш, – поглаживая свой живот, убаюкивала она его.

– Мапочка, кто у нас родится? – спрашивал её Женя. – Я хочу братика.

– Не знаю, дорогой. Кто бы ни родился – наш будет.

Женя был уже «просвещён» и не задавал маме неудобных вопросов, типа, как братик оказался у неё в животе. Только спрашивал:

– А он нас слышит?

– Думаю, да.

– Приходи скорей, я тебя очень жду, – кричал он, обращаясь к будущему брату.

Волновалась она и потому, что опасалась, как бы её положение не навредило отъезду: «Вдруг, придёт вызов на собеседование?»

– Думаю, если всё это быстро завертится, тебе нужно будет поехать одному. Чтобы мы не были тебе тормозом, – настаивала Марьяна.

– Забудь! Выбрось из головы. Без вас не поеду. «Зелёный» свет, о котором твердит Юрка... Думаю, он немного преувеличивает, стущает краски, потому, что хочет нас побыстрее выдернуть отсюда. Не волнуйся. Сейчас, главное – ты, маленький. Всё будет «Хокей». Помнишь, в последнем письме он написал, что американцы, прежде всего, деловые люди. В своей основной массе, в принципе, они доброжелательны. Хотя, им абсолютно наплевать, что с тобой происходит за порогом фирмы. Это – твои проблемы. Вот на фирме... Если у тебя имеются «мозги», то будет и соответствующий уровень. Понимаешь? А наши «мозги» ещё при нас. Эти люди делают деньги. Они вкладывают в тебя доллар, а хотят получить два. Как минимум. Если этого не происходит... Ну, что же, извините... К этому сложно привыкнуть, но необходимо. Иначе, сожрут... И не поперхнутся. В чисто психологическом плане, мы – другие. Они всегда улыбаются. Никогда не узнаешь, что

у них в душе, ни малейшего намёка на какую-нибудь проблему вне фирмы. Ты знаешь, Юрка стал совсем американцем. И тон его писем несколько покровительственный. Делает успешную карьеру и учит отца. Думаю, мы можем на него рассчитывать. Я уже переправил ему наши «Resume». Так что всё очень серьёзно. Да, я хотел тебе сказать. Впредь, дома говорим только по-английски. С Женькой тоже. За каждое произнесённое русское слово – штраф.

– В каком виде? – иронично поинтересовалась Марьяна

– В самом разнообразном. Придумаем. Например – лишени-ем сладкого. Или, можно выйти на лестничную клетку и проку-карекать.

– А во время родов кричать по-русски мне не запрещается?

– Дорогая. Как у всякого правила, и у этого будет исключение.

Так что, будем во всю «спикать».

Как-то Саша сказал, что по приезде в Америку, первое время они будут жить у Юры. Отвечая на недоуменный взгляд жены, напомнил, что Лена, первая жена, живёт в Лос-Анжелесе, а Юра – в пригороде Нью-Йорка.

– Это Юркино предложение. Поживём от силы с полгода. Он всё равно там почти не бывает, прилетает только на week-end. За полгода подберём и купим дом.

– Дом? Мне кажется у тебя комплекс «Наполеона». Где мы возьмём деньги?

– Солнце, моё! Не вникай. Тебе вредно. Уже жалею, что ска-зал. Верь мне на слово.

– Саша! Думаю, Юра будет не в восторге, что мы с Женей и маленьким будем жить у него. Я чувствую это по тону его писем. Да, конечно, он передаёт приветы, и всё такое... Только от них веет холодом. Думаю, мы будем ему в тягость. Лучше рассчиты-вать всё же на свои силы. Ты не согласен?

– Марьяш! Повторяю, это его идея. И это – мой вопрос. Послу-шай! Мы тут строим разные планы... Тьфу-тьфу-тьфу... Чтобы не получилось, как в известном анекдоте: «Моня, выйди с фазтона...»

Разумеется, Марьяна не говорила ему обо всех своих чувствах. Но, что-то в Юриных письмах было ей неприятно. Каждой своей фразой он как будто пытался произвести впечатление стопро-центного американца. Она это чувствовала, и иногда ей даже был не понятен ход его мыслей. Со всех его фотографий смотрел интересный молодой мужчина, гладко выбритый, тщательно одетый, как говорят – «белый воротничок». Он улыбался, но его глаза оставались холодными. Взгляд был высокомерен. Это так

бросалось в глаза, что вызывало в ней некую досаду. На всех фотографиях он был снят на фоне либо новой машины, либо полупустого интерьера гостиной, в которой кроме кожаного дивана, телевизора и краешка встроенной кухни ничего не было.

– Почему у него так мало мебели? – интересовалась Марьяна.

– Знаешь, он никогда не страдал «вещизмом». К счастью, не приобрёл этой привычки и там. К тому же, его работа связана с разъездами, и он редко бывает у себя.

– Зачем же ему квартира?

– Ну, это некое вложение, дорогая.

– Саша, согласишься. Как-то странно. Ни шкафа, ни посуды. Не понимаю.

– Американский стиль. Там есть гардеробная. Два туалета, две ванны. Ты невнимательно читаешь его письма.

– А знаешь? Мне кажется, Юрины письма не предназначены для этого. Или он специально так пишет, чтобы меня задеть?

– Марьяш! Ну, и сказанула. Ты несправедлива. И придираешься. Но... Беременным женщинам всё прощается. Ты просто нервничаешь.

«Какая же я гадость, – подумала Марьяна. – Мальчик всё подготавливает к приезду отца, а я... Вот именно, отца. Саша не замечает, что между строк в письмах читается неприязнь к ней, которая с годами не прошла. Есть в его словах, касающихся её и Жени, что-то насмешливое, поддразнивающее. Странно, что Саша не замечает этого». Она тяжело вздохнула: «издержки распадающихся браков».

Сестре Марьяна ничего не говорила о своей беременности. И, когда однажды вечером позвонила в свою бывшую квартиру, Света, открыв дверь, была ошарашена. Она не знала, что сказать.

– Ты что, накладку нацепила? Или?

– Или... Впустишь? – спросила Марьяна.

Отступив, Света пропустила её внутрь.

Они молчали. Марьяна медленно обошла квартиру, задержавшись в маминой комнате.

– Я ездила к маме. Ты давно у неё была? – спросила она, пройдя на кухню.

– Слушай, сестричка! Я, к твоему сведению, работаю. Если ты у нас свободная, то тебе и «флаг в руки».

– Света, что с тобой?

– А что?

– Я спрашиваю, что с тобой? Я, просто, спросила. Поговорить пришла. Я не хочу так уезжать.

– А вы чего, уже вызов получили? Или так, заранее «намылились?» – встрепенулась Света.

– Ещё нет. Но обязательно получим. Не волнуйся.

– Мне-то чего волноваться? Это ваши проблемы. Только знай, Алинку к тебе ни за что не отпущу. Напела она мне тут как-то... А ты чего? Совсем одурела? Что это такое? – показывая на Марьянин живот, спросила Света. – Сороковник же на носу... Ну и ну. Дела... – она закурила. – Будешь? – протянула она пачку сестре.

– Света, я поговорить пришла. Давай, без эмоций. Всё с чистого листа... Я ведь никогда ничего плохого тебе не сделала. Вспомни. Ну, а что было когда-то... В сердце – ни зла... ни обид... Поверь. Ты – сестра. Это – святое. В память о родителях нам следует примириться. Согласна?

– А я с тобой и не ссорилась. И у меня обиды к тебе никакой. За то, что ты когда-то в дом привела этого идиота, я тебя тоже давно простила.

– Ты растила?! Меня?

– Как видишь, – с вызовом ответила Света. – Что? Не нравится? В это время хлопнула входная дверь – пришла Алина.

– Ой, Марьяночка! Ты здесь?

– Ах, ты ж, Боже ж ты мой! Марьяночка! Какие нежности... Меня сейчас вырвет от вас. Да идите, вы обе... – выбежав в коридор, она схватила с вешалки пальто и выскочила из квартиры.

– Бессмыслица какая-то. Я сделала всё, что могла. Не расстраивайся, детка.

О своей попытке к примирению с сестрой мужу решила ничего не говорить. Он бы упрекал её. И был бы совершенно прав.

И вновь, как много лет назад, открылся ящик «Пандоры» и оттуда посыпались события одно за другим. Незадолго до своего тридцативосьмилетия, Марьяна безо всяких осложнений родила дочь. Назвали её Шарлоттой. А через три месяца они, наконец-то, получили долгожданный вызов. Когда Лотточке исполнилось семь месяцев, она совершила с родителями и братом своё первое в жизни путешествие в Москву, на интервью в посольстве США. Разрешение на выезд было получено.

За несколько дней до отъезда Марьяна поехала проститься со своим детством. Она долго стояла перед старым домом с литой, чугунной оградой по улице Стрелецкой, перед большими окна-

ми в бельэтаже. И пыталась, проникнув взором за занавески, отгадать, кто обитает здесь теперь. Она вспоминала маму с папой, Римму, соседей. Прощалась с прошлой жизнью. Никогда уже не бежать, взявшись за руки, двум близняшкам вдоль улицы. Никогда. Но это навсегда останется с ней. Она задержала дыхание, прислушиваясь к себе.

Накануне отъезда поехала проститься с родителями, просила у них прощение за совершённые и не совершённые ошибки. Просила прощение за Свету. Всё-таки, близнецы – одно целое.

Город провожал их тридцатиградусной жарой. Поднявшись по трапу самолёта с девятимесячной дочерью на руках, Марьяна пропустила Сашу с Женей в салон.

– Что, – тревожно спросил муж.

– Я сейчас.

Она оглянулась в сторону аэровокзала... Сняв с дочери верхнюю ярко-красную кофточку, она стала размахивать ею у себя над головой. Алина с Юлей, провожавшие их, по красным взмахам должны были догадаться, что это она, Марьяна. Они не могли видеть друг друга, но между нею и племянницами существовал виртуально зримый коридор.

Минут через сорок лайнер стал выруливать на взлётную полосу. Набирая скорость, разбежался и, оторвавшись от земли, взмыл вверх, рассекая воздух и унося их в новую жизнь.

ЭПИЛОГ

Света бродила по пустой квартире, не находя себе места. В груди застрял какой-то ком, который она никак не могла сглотнуть. У неё кружилась голова, пол уплывал под ногами. Ей было плохо. Сейчас ей не нужно было притворяться, играть какую-то роль. Она могла быть самой собой. «Почему так щемит? Сердце?», – вдруг догадалась она. Накапала корвалол, выпила – легче не становилось. Что-то с нею происходило, её всю передёргивало, как будто кто-то сглазил. Какой-то сложный сгусток чувств застал её врасплох. Открытие, которое она сделала, ошеломило и испугало её: «Она украла у себя сестру, сама украла?» Встав на табурет, полезла на антресоль. На пол полетели старые газеты, какие-то папки. Наконец она нашла то, что искала – старый, запывлившийся фотоальбом. Усевшись с ним прямо тут же, на полу в коридоре, она открыла его. С фотографий на неё смотрели две

девочки, похожие, как две капли воды. Сквозь слёзы Света не могла понять, кто из них она. Вот они сидят на плечах у папы, в пальтишках с пелеринками и в смешных клетчатых капюшонах: «Кто из них Марьяна? Кто – она? Фантастика. Но различала же их как-то мама...» Не отдавая себе в том отчёт, Света судила саму себя. Листая альбом, она увидела пожелтевшую фотографию, на которой они были вместе с родителями и Риммой. У одной из близняшек на фото были выколоты глаза. «Марьянка», – поняла Света и вспомнила, как была наказана тогда родителями за содеянное. Она разрыдалась. То ли от обиды за прошлое наказание, то ли... По жестокому закону жизни, очень часто понимаешь, что потерял, только тогда, когда потерял. Как замечаешь воздух, когда уже нечем дышать. «Сантименты, сантименты», – она щипала себя, била. И не могла остановить слёзы. Они текли по щекам, слепили глаза. Ладонью она пыталась удержать прыгающие губы. Это были слёзы очищения, её собственные слёзы, её – неспособной вообще плакать. Сквозняком приподняло занавеску – показалось, что в дверях стоит мама, с укором глядя на неё. Света вспомнила, как однажды стоя в дверях, мама сказала: «Когда-нибудь наступит день, и ты раскаешься. Но будет слишком поздно». Ничто не связывало больше Свету с сестрой, кроме общего на двоих дня рождения. Хотелось бежать. Нет – скрыться от себя самой. Она поднялась и вышла на балкон.

Руки её взметнулись, обняв пространство, где могла бы стоять Марьяна. Безумный ужас одиночества овладел ею. Ей показалось, что она стоит на перроне, а мимо проносится поезд. Окна мелькают, мелькают... Как её жизнь...

Подняв голову, она посмотрела на небо. Где-то там, за облаками – сестра, с которой, может быть, они никогда больше не увидятся: «Не может быть. Невозможно. Небо объединит их. Восстановит разорванную нить, соединившую при рождении», – подумала Света. Ещё она подумала о том, какой же страшный путь проделала, чтобы, наконец, добраться до собственного сердца.

Сергей Пышный

«СЛАВНОЕ» ВРЕМЕЧКО

Славное, как кажется мне теперь, было времечко, когда жил я в Берлине.

И не где-нибудь, а в Кройцберге. Район этот считался тогда глухой, опасной окраиной. Но у меня было к нему иное отношение.

Работал я почти что в центре, возле зоопарка. Вечером, возвращаясь домой, тоскливо шагая к метро среди новых высотных домов, я чувствовал себя одиноким в этом бездушном, железобетонном мире. Но всё менялось, когда я приезжал в тёмный, тусклый Кройцберг. На душе становилось уютнее и теплее. Здесь и люди, с которыми я общался, были другими: добрее и улыбчивее, хотя и страшнее. Через одних знакомился с другими. Собирались у кого-либо в квартире. Двери не закрывались. Заходили, кто хочет. Без приглашений. Всех приветствовали бурно, с радостью. В основном, это были женщины. Они приносили вино. Беседа была о всякой ерунде, но хохот не умолкал. Женщины представляли себя: «Я – Анита. Индуистка. Верю в переселение душ». Другая была индианкой, считала себя буддисткой, звали её Моникой. Она жила в законном браке с китайцем. Правда, был он атеистом. Одним словом, принимали в свой круг любого, кто пожелает. Их взгляды на жизнь не обсуждались.

Главное, чтобы все были спиритуальными, слегка не от мира сего. Правда я был русским, с живущим тогда ещё мифом о загадочной русской душе, что сопровождалось ореолом таинственности и я чувствовал себя здесь вполне комфортно.

В основном все «сидели, на социале». т.е. получали социальную помощь. Но если кто-нибудь застенчиво признавался, что работает, ему это милостиво прощали. Гомосексуалисты и лес-

биянки пользовались особым почётом, поскольку они обладали тонкостью чувств и особым умом.

Восхищались всеми национальностями и вообще всем иностранным. Что касается евреев, то эта тема обозначалась лишь намёками. Вроде, как нельзя произносить имя Бога всуе. Но всё же одно исключение было. О немцах и Германии отзывались скверно. Это прощалось даже любому иностранцу.

Его спрашивали: «Здесь вам, наверное, очень плохо?» Турок или араб охотно кивали головами...

Такой вот милый сумасшедший дом. Тогда была в моде одна шутка, отражающая время: На каждой станции метро была будка, в ней тётка, которая кричала: «Zurück bleiben!», что переводили: «Verrückt bleiben!».

В то время у меня была подруга – Барбара – спиритуальна, как все наши подруги, имела индийского гуру, к которому ездила за мудростью, когда тот не бывал в Европе.

В её квартире всё было увешано всякой атрибутикой. Она мне рассказывала обо всём, что касается жизни индейцев. И два месяца спустя я узнал, что она как туристка ездила в Латинскую Америку. Испанского языка она не знала, стала причислять себя к индейцам и перестала считать себя немкой.

К моей неспиритуальности она относилась свысока. Вечерами она читала книги по спиритизму. Она, вроде бы, всё в них понимала. Однажды она читала мне японские стихи. Мне они понравились. Как-то поехал я с моим коллегой по работе Берндтом купаться. И думаю: не сочинить ли мне что-либо подобное этим японским стихам. За полчаса я написал их с десяток. Например: «В мокром от дождя камыше прошуршал утренний ветерок», «Роса поутру украсила паутину за окном горящими гирляндами», «Горы утром покрыл густой туман и лишь редкий одинокий крик птицы пробился сквозь тишину»...

Берндт поправил мой немецкий, и я поехал к Барбаре. Ей я соврал, что был в библиотеке и выписал эти стихи для неё. Она выразила полное восхищение. Я тоже восхитился, но она сказала, что стихи надо понимать в переносном смысле, т.е. в спиритуальном. На что я, мол, не способен. Тут я ей признался, что стихи сочинил сам. Она не поверила. Я ответил: «Позвони Берндту, он подтвердит». Это подействовало. Она, молча, допила чай и ушла в другую комнату.

До конца вечера мы не общались. Утром всё было, как прежде, но к теме японской поэзии мы никогда не возвращались.

НЕ СЛОЖИЛОСЬ

На сером полу эсбана точки: белые, голубые.
Огни вдоль окон несутся – строчки косые.

Дома плывут в темноте, рваными полосами.
На остановках – в брюках, чулках
толпы мелькают ногами.

Люди входят в вагон, выходят –
Знают, куда им идти.
Еду по кольцевой кругами,
но не нахожу пути.

НАВСЕГДА

«Не вернуть, не вернуть, не вернуть...» –
шепчут листья, с деревьев слетая.

Не вернуть, не вернуть, не вернуть –
тает в тучах последняя стая.

«Не вернуть, не вернуть, не вернуть...» –
отстучали колёса вагона.

Ну, а кто-то всё смотрит на путь,
наклоняясь у края перрона.

* * *

Стою на платформе. Всё в тумане,
и тишина, что уж тише нет.
Солнце, туман пробивая, ранит,
но обещает добрый рассвет.

Рельсы упёрлись в туман, как вилы,
всюду кусты из него торчат.
Хоть сыро, домой идти нет силы,
и все глупости слушать подряд:

о болезнях, деньгах и о тряпках,
и, что я, на редкость, плохой.
Потому-то и тянет так к Натке,
как верблюда на водопой.

Но после опять уходить мне надо,
на платформе мыкать беду.
Любая из них будет рада,
если вдруг я к ней забреду.

Может, к Нинке, а может быть, к Мане,
или лучше, не знаю куда?
Раствориться бы в этом тумане
Навсегда,
навсегда,
навсегда...

Надежда Райниг

БЛИЗКАЯ ИСТОРИЯ

ПРОЛОГ

Иногда в одной из точек земного пространства сталкиваются лоб в лоб две жизни, не те маленькие, пустынные, наполненные бесчисленными мелочами и одинаковыми с тысячами других людей радостями и заботами, а жизни двух мужчин, не считающих мнение группы собственным, верных себе или тому, что они привыкли считать своим.

Так пересеклись на немецкой земле, в местечке Вердер, между лесом и многоводной рекой Гавель судьбы господина Брунна и Левина. Брунн, по собственному определению, прусский офицер бывшей Национальной народной армии ГДР, канувшей в историю вместе с социализмом. Левин, по собственному определению, свободный предприниматель из бывшего СССР, а сейчас – «Emergency country»¹ России.

Обе специи человеческого рода, носители обоих типов хромосом «Х» и «Y», невзирая на преклонный возраст, яростно дрались в тихий майский вечер за проезд по дороге, как за место в лодке тонущего Титаника. Изначальной причиной биться до «победного» был не выплеск адреналина или забытое и неожиданно зазвывшее о себе подсознание альфа-мужчины – каждый защищал раннего себя в ушедшей эпохе. Два «восточника», оба выходцы социалистической системы, бились по главной максиме власти коммунистов и последователей Ветхого Завета: «Кто кого?»

БРУНН

Был летний четверг.

К главному входу здания берлинского суда в витиеватом, тяжеловесном, как законодательный параграф, архитектурном

стиле, подъехал блестящий хромом, черный мотоцикл марки БМВ. Даже без движения, стремительная динамика силуэта, напоминающая застывшую на скаку лошадь, невольно задерживала восхищённый взгляд. Настоящая машина!

Мотоциклист не спеша снял шлем и кожаную куртку. Без единой морщины, отглаженная белая рубашка с короткими рукавами неожиданно обнажила татуировку на правой руке – наколотый чёрный револьвер, перекрещенный армейским ножом. Этот рисунок противоречил аккуратной внешности бывшего полковника госбезопасности исчезнувшей социалистической республики – Франка Брунна .

Потомственный офицер, родом из Бранденбурга, Брунн был высокий, худощавый мужчина, лет шестидесяти с прямой, как восклицательный знак, осанкой. Лицо с хорошо очерченным ртом и колкими серыми глазами украшали треугольник темных, как по линейке подстриженных, усов и легкие очки из темного титана. Сзади на кожаном поясе крепко сидел узкий, элегантный футляр с мобильным телефоном.

Пройдя в здание суда, Брунн оценивающе взглянул на беспорядочный зигзаг выходящих одна из другой парадных лестниц из серого мрамора и направился, пружинисто прихрамывая, к лифту.

В объединенной двадцать лет назад Германии гражданин Брунн, полковник «а.д.»², теперь председатель союза садоводов города Вердер, впервые столкнулся с обвинением в антисемитизме и применении физического насилия к иностранцу еврейского происхождения, миллионеру-беженцу, сигарному фабриканту Левину.

Слушание дела было назначено в отсеке министерства Госбезопасности в зале 316.

Нажав кнопку третьего этажа, Брунн осмотрел себя в зеркале лифта. В белом свете его отображение было ярким и чётким. Он остался доволен, только темные круги под глазами напомнили ему о плохо проведенной ночи. Выбитый им еврейский зуб почему-то с угрожающим свистом возвращался к нему во сне регулярно, каждую среду.

Зуб летел прямо в лоб так быстро, что не было шанса уклониться. В этот момент он просыпался и не мог больше уснуть до утра. Брунн привычным усилием духа стряхнул с себя поднявшиеся ночные видения и поменял взгляд давно помрачневшего, но не павшего духом восточного немца на внимательное, бодрое выражение лица.

Брунн не ощущал ни малейшего сожаления о коротком ударе левой три месяца назад.

В полупустом зале 316 молодой белокурый судья в чёрной робе и очках, с любознательным лицом, больше похожий на студента, чем на служителя Фемиды, начал заседание суда.

«Господин Брунн обвиняется в оскорблениях антисемитского характера и нанесении телесных повреждений – выбитый зуб и выпадения грыжевых связок – у пострадавшего, гражданина Левина со статусом беженца 9 мая 2012 года»

Левина не было.

В это время он занимался бизнесом в сигарной комнате бара «Марлен Дитрих», – пятизвёздочной берлинской гостиницы «Интерконтиненталь», легендарной пребыванием всех президентов от Кеннеди до Путина из-за удобной системы безопасности. Левин поставлял «Интерконтиненталь» сигары и грузинский коньяк собственной марки «Де Кастрофф». Сигары, в дубовом ящичке, каждая с орденой ленточкой, удивительно напоминали по запаху и вкусу кубинские «Гавана», давно запрещенные из-за эмбарго в Германии. Грузинский коньяк «Де Кастрофф» 40-летней выдержки, с тиснённым в тёмном стекле гербом, 250 Евро за бутылку, красовался сзади стойки. Небрежный вид Левина с трёхдневной бородой в слегка помятом льняном костюме от Армани и добротных шлёпанцах на босу ногу выдавал в нём богатого русского. Опытный глаз дорогих проституток безошибочно отличит эту группу «очень богатых» людей от «давно богатых» на всех «Fifth Avenue»³ городов мира. По принципу «сами мы себе дизайнеры» они отличались висящими золотыми крестами на шее, настоящими «Роллекс» на запястьях, плохим знанием языков и манер. Каждый входил в любое помещение со своим, личным законодательством, при этом выражение глаз у всех было одинаковое, независимо от цвета и темперамента особи.

В суде его представляет русский адвокат, молодой мужчина в сером костюме с толстой папкой из чёрной кожи.

Приятным баритоном он монотонно зачитал версию происшествия своего клиента:

«9 мая я прошел к стоянке перед садоводством, сел в свою машину и поехал навестить земляка, ветерана войны. Он вместе с сыном владеет в Вердере садом. В праздник Победы я хотел привезти ему подарок, который лежал у меня в багажнике. Такая у нас в России традиция. Но старик спал. Около девяти я попробовал еще раз. При третьей попытке, еще не было 10-ти

часов, я, проезжая через садоводство к его дому, был вынужден остановиться: кто-то преградил путь цепью. Я вытащил столб с цепью и перебросил его через забор сада. В этот момент выскочил Брунн, ударил меня кулаком в лицо через открытое окно и обозвал «жидом»⁴. Я открыл правую дверь, чтобы выйти из машины. При этом он упал, но тут же вскочил на ноги и набросился на меня. Я защищалс».

Брунн равнодушно слушал убаюкивающий голос защитника Левина. Странные мысли одновременно посещали его. Перед внутренним взором всплыло моргающее от мороза лицо журналиста из газеты «Морген Пост», караулившего Брунна у подъезда в утренние часы 16-го января далекого 90-го года в восточном Берлине. Журналист быстро, как на утренней зарядке, вытянул вперед руку с микрофоном: «Это вы подготовили бутафорию со штурмом?»

Брунн вспомнил, как прошел мимо микрофона, он тогда впервые столкнулся с западной прессой и удивился осведомленности журналиста. Его ребята, отличаясь короткой стрижкой от гражданского населения, всё же успели тогда провести последнюю операцию с материалами особой важности в главном управлении министерства государственной безопасности ГДР⁵ (МГБ) на Номанненштрассе.

Он видел перед собой потрёпанную Берлинскую стену. Той зимой в 90-м, она уже перестала быть «защитной крепостью между социализмом и капитализмом», как называл её убежавший в Чили последний главный заправила ГДР Эрих Хонекер, но все органы исчезнувшей власти ещё действовали. Он вспомнил митингующих и скандирующих единым хором «Stasi raus»⁶ восточных берлинцев. Неприязнь гражданских к власти была привычной для Брунна, он всегда наблюдал за ней, как зритель в кинозале за действием на экране.

Для справки, дорогой читатель, я отвлекусь от мыслей Брунна:

Штурм главного управления МГБ жителями восточного Берлина с целью захвата центра ещё существующей, ненавистной населению ГДР организации и её архивов, окончился 15-го января 1990-года без жертв. Сотни митингующих прошли в здание и обыскали его, но важных секретных архивов там уже не было.

Гражданские архивы переняло на хранение так называемое ведомство Гаука. Каждый немец может по сей день затребовать своё личное дело. Если за ним велось наблюдение сотрудником МГБ, он имеет право читать личные три «К» – как, кто и когда в прошлом наступал на его персону. А господин Гаук, бывший вос-

точный пастырь- евангелист, тихий сторонник прав человека, за эту просветительскую работу получил пост президента ФРГ.

Брунн вспоминал в суде своё разочарование и надежду на план помощи от русских коллег из КГБ. Первого апреля 90-года он был отправлен на досрочную пенсию.

– Господин Брунн, вы признаете себя виновным? – озабоченный голос судьи вернул его в реальность.

Брунн встал, невозмутимо взялся руками за спинку кресла предыдущего ряда. Ему вдруг неумолимо захотелось предстать перед судом в своей форме полковника госбезопасности ГДР. Мундир для Брунна соединял личный долг и пользу государству. Он не выбросил его после увольнения, как сделали многие сослуживцы, напуганные развернувшейся по всей стране «охотой на ведьм».⁷

– Нет. Виновным себя не считаю. Жидом я его не обзывал, это вообще не моя лексика. К тому же я не знаком с господином Левиным – мне не известно, что он еврей. Я принёс плёнку с записью обстановки при событиях вечера 9-го мая.

– Что вы имеете в виду? – не понял судья. Брунн мысленно усмехнулся – так он был научен на службе.

– Письменный протокол.

– Зачитайте пожалуйста.

Брунн обстоятельно начал:

– 22.00. В третий раз проехала машина Мерседес С500 с дальним светом и громкой музыкой. Водитель остановился у столба, выгасил его и отбросил цепь ограждения. Я вышел из домика и встал посередине дороги с целью преградить путь и призвать к ответственности за нарушение порядка в садоводстве. Водитель, подъехав вплотную к моим голеням, фактически оттаранил меня с пути. В результате, я оказался в положении сидя на его капоте. После этого он остановился, я сошел вниз с капота, и подошёл к дверце машины, жестами призывая его к благоразумию. Дверцы и окна у его машины были открыты. Он вышел и с кулаками ринулся на меня. В этот момент подошёл садовый товарищ Анатолий Лубинский, взял его в тиски и успокоил. При этом он меня несколько раз обозвал нацистом и фашистом, повторяя: «Мы вас били и будем бить». Я ему показал границу моего сада и запретил ему игнорировать забор. В этой связи у меня ушиблена нога и повреждено предплечье. Неподвижность конечностей длилась 10 дней.

Брунн закончил чтение.

– Благодарю Вас, господин Брунн. Вы видели господина Левина 9-го мая в первый раз?

– Да.

– А господин Левин знаком с господином Брунном? – Обратился судья к адвокату Левина.

– Нет, не знаком.

Судья назначил расследование на месте и опрос свидетелей.

Выйдя из здания суда и оседлав свой мотоцикл, Брунн отчужденно посмотрел сквозь защитное стекло шлема на выбитое в камне над входом лицо с повязкой на глазах. Эта каменная рожа, несмотря на закрытые глаза, издевательски смотрела на Брунна.

Не отводя взгляда от каменной повязки, носком правой ступни он рывком завел свой мотоцикл, разорвав громоздкое спокойствие улицы задорным шумом мотора, и с легкостью гонщика уехал в сторону реки Шпрее.

ЛЕВИН

Берлинцы, особенно в западной части города, благоговейно относились к мотоциклистам, к газовым фонарям и непременно, даже в первую очередь, – к свежеевыпеченным булочкам по утрам.

Байкеры, а их в городе 15 тысяч, стремительно и целеустремленно выныривали на дорогах и элегантно дугой обгоняли машины. У водителей машин появлялось сентиментальное, тянущее чувство несбывшейся мечты и где-то в подсознании – мелодия, знакомая всем западным европейцам из двадцатого столетия: «Born to be wild».⁸

А газовые фонари – это лунная романтика немецкого быта. 6500 красивейших, старинных экземпляров разбросаны по улицам и паркам Германии. Немцы, попадая в мягкий, желтоватый свет, окунались в уютную, присущую законопослушному народу, уверенность в завтрашнем дне.

Но хрустящие, ещё тёплые булочки – это начало всех свобод и выходных для всего немецкого населения. Приготовлением завтрака обычно занимаются мужчины. Каждую субботу повсюду можно наблюдать за этим ритуальным шествием мужчин с добычей – тёплыми булочками многочисленных сортов в бумажных пакетах с веселыми названиями от «Шустерюнге» до «Кронцейге».⁹ Все мужчины спешат к дымящимся чашкам с кофе, уютному завтраку, некоторые – с цветами для своих жен.

Немцы так же традиционны, как англичане или французы. Хотя это никак не помогло воссоединению нации. В последнем

опросе треть западных берлинцев чистосердечно хотели вернуть берлинскую стену. Статистика уже 20 лет твердо простаивает на трёх процентах смешанных браков среди западных и восточных немцев.

Оба подразделения имеют одинаковые предпочтения – машина и отпуск за границей, но огромная туристическая индустрия обслуживает две клиентуры: западные немцы предпочитают проводить отпуск самостоятельно, в комфортных гостиницах с завтраком, «восточники» покупают путевки-пакеты с распланированным маршрутом и «оллинклусив», т.е. «всё оплачено».

За последние 20 лет весь центр Берлина поменял не только архитектуру, но и население, смешав все земли и наречия. Здесь проживают все – бывшее, переехавшее из Бонна, и новоизбранное правительство ФРГ, нижние саксонцы, франки, турки, русские, поляки, французы и другие 480 наций и народностей мира. Только периферия Берлина упрямо сохранила восточно-немецкое население и его традиции. Особенно в Карлхорсте и Хоэншёнхаузене жизнь внешне не изменилась. Эти районы с качественными новостройками двадцатого века были построены для семей исполнительного аппарата ГДР. В Хоэншёнхаузене, в такой исторической новостройке для элиты министерства безопасности ГДР, на 6-ом этаже жил Брунн.

По субботам, в отличие от большинства немецких мужчин, Брунн не стоял в очереди к булочнику. Он ехал в направлении Вердер, на службу в садоводство. Это он проделывал каждую субботу, всегда без четверти восемь.

Левин жил в старинном здании на Шлоссптрассе, в 150 метрах от замка Фридриха второго в Шарлоттенбурге.

В 92-ом году, Левин переехал с семьёй из Москвы в Нюрнберг по необходимости.

Живя в Москве, он давно преумножил свой первый миллион, заработанный на лихо сшитых московскими пенсионерками джинсах марки «Левис». Во время правления Горбачева слово «копирайт» вызывало только одну ассоциацию: «олрайт». И отечественный кооператив Левина, напоминая нэповские времена, содержал 300 душ на рабочем довольствии в деньгах и натурой.

В конце перестройки он управлял крупнейшей оптовой сетью СНГ по поставкам шариковых ручек и офисных принадлежностей, прекрасно зная кому, как и сколько *дать*. Подкупив таможеню, Левин был фактически единственным надёжным поставщиком всех качественных «чернил» в развалившемся Со-

юзе. Он был на взлёте и жил, как мечтал. Но после путча к нему зашёл его лучший друг Андрей, полковник ФСБ:

– Игорёк, переезжай с семьёй на мою дачу в Орехово и живи там спокойно.

– А что, так плохо?

– Похоже, на службе ожидают погромы...

В самолёте у Левина образовался ком в груди и весь длинный список алкогольных напитков бизнес-класса компании Аэрофлот не смог его вышибить. Пунктом назначения для семьи беженца Левина была бывшая колыбель национал-социалистической партии Германии.

Город Нюрнберг, полностью разбомбленный союзниками во время войны, отзывался в голове Левина эхом ужаса зловещих руин, торчащих в сером небе из американского черно-белого фильма «Нюрнбергский процесс». Но Левин был приятно удивлен архитектурой, удачно восстановленным центром с добротным симбиозом средневековья крепостной стены и уютных новостроек.

Он быстро обжился и приобрёл множество знакомых из многочисленной группы русских евреев со статусом беженца из Москвы и Петербурга. Да и для бизнеса переселение принесло выгоду в налогообложении и новые международные рынки. Левин активно торговал предметами роскоши: лошади, сигары, икра.

В Берлин Левины переехали семь лет назад. Через год супруги развелись. К этому времени у Левина поменялись желания, у него сложилось убеждение, что он стал другим, гоним неизвестной пока целью.

Поэтому он купил второй этаж понравившегося ему здания и остался в Берлине. Ему хотелось узнать, не нашёл ли он тут свою судьбу. И судьба вскоре ему улыбнулась. Греческий патриарх на острове Родос нашёл подтверждение знатности рода Левина по материнской линии в церковных книгах Родоса позапрошлого столетия.

Дела закрутились, фирменные сигары и коньяк получили приставку «де» и новые рынки сбыта. Левин называл себя графом, имел орденскую ленту с фамильным гербом и саблю. Сын патриарха Родоса был вскоре удивительным образом облагодетельствован званием доктора исторических наук государственной грузинской академии.

Левин жил постоянно на эмоциональном взводе, в неутомимой гонке за новым проектом, идеей, рынком. Стены его дома постепенно превращались в фотовыставку знаменитостей: Ле-

вин в Гаване рядом с Фиделем Кастро, в Ганновере с Герхардом Шрёдером, в Москве с Никитой Михалковым, в Берлине с актёром Марио Адорфом и губернатором Берлина Клаусом Воверайтом. – Все любители сигар и коньяка.

Как мотор, набирающий обороты, Левин построил в Доминиканах и Никарагуа две фабрики, которые снабжали десятки сигарных холлов в Германии, Китае, Украине и России сигарами и коньяком «ДЕ Кастрофф».

Это были его любимые проекты.

Одновременно он инвестировал в совместные компании в земле Бранденбург по производству йогурта и в Пакистане по производству медицинских инструментов.

В Бранденбурге дела молочные творил его партнёр греческого рода из Гамбурга, инженер по молочной индустрии Апостолос К. Апостолос, полнеющий, сорокалетний грек с густыми сросшимися бровями, одевался всегда корректно и со вкусом, оставлял впечатление делового мужчины с большими связями.

Он каждый раз подкупал Левина своим веселым сарказмом. Так в вестибюле банка «Dresdner Bank», после бурно проведённой ночи в студии «Артемис», когда утром душа Левина ещё смердела, а мозг казался расплывшимся и не хотел собираться в привычную форму грецкого ореха, Апостолос встретил его как обычно непринуждённо-весело, как будто не он вчера в «Артемисе» обнимал и хлопал по аппетитным попкам сразу двух девушек, заключив их справа и слева в объятия.

– Доброе утро, Игорь. «Nightech»¹⁰ немецкой души нам никогда не осилить.

Левину хотелось только одного — тихо исповедаться.

– Вот как. Интересно.

– У нас в Греции время, т.е. жизнь, распределяется на «калимера» – добрый день, после восхода, «калиспера» – добрый вечер, если зашло солнце, и в конце «калиниште» – ночь, – спокойно шепелявил Апостолос.

– Хмм. Как и у англичан «ам», «рм» и «найт», – пытался оставаться на высоте Левин. – А вот германское бытие – это напрасно-усложнённая структура: утро разделено на рано утром и остальное до двенадцати, полдень, за ним следует раннее «после полудня», позднее «после полудня», вечер и баста. Я вчера ночью в такси сажусь, время пятнадцать минут первого, а мне таксист: «доброе утро». Это ж чудовищно! Человек себя чувствует глубокой ночью совсем иначе!

Апостолос оказался изощрённым пройдохой. Он исчерпал весь капитал и 700 тысяч евро субсидий земли Бранденбург, подаренных совместному предприятию за создание новых рабочих мест, но прибылью и не пахло.

В Пакистане дела обстояли иначе: семья из традиционной пакистанской элиты, серьёзный партнер, но сбыт буксовал.

Это были хлопотные проекты.

Кроме неугомонности Левина тянуло к высшему началу, к творчеству.

В Тбилиси он выбрал лучших из двух тысяч художников, тысяча из которых носило звание «заслуженного художника СССР» – написавших в прошлом сотни портретов Ленина, а теперь беспроблемно бедствовавших. Он организовал аукционы в Москве и в Саарбрюкене, немецком городе-побратиме Тбилиси.

Это были милые, богемные дела, но убыточные.

Гостиная берлинской квартиры, унаследовавшая полюбившиеся Левину работы грузинского сюрреализма, похожа на галерею.

В кабинете, на столе из красного дерева в колониальном стиле, стояла черно-белая фотография отца в золотой рамке: с вьющимися волосами, в кепке набекрень, с болтающейся папиросой в левом углу рта. У отца на фотографии улыбающиеся, светлые глаза, грудь в рубашке на распашку с татуировкой серпа и молота. В правом углу фотографии белая надпись: Норильск 1956 год. На стене напротив – фотография Левиных – прародителей .

Этот стол имел необыкновенные функции. Это был его алтарь. По субботам, покачиваясь в белом кожаном кресле-лежаке эргономной формы и попыхивая толстой, как первая морковь, сигарой, атеист Левин общался вслух с предками.

Сощурился глаза и слегка наклонив голову направо, он смотрел на фотографию отца:

– Не могу понять, где же зарыты границы твоей фанатичной убеждённости? На эти поиски одной жизни мало. Папа, за что ты их так боготворил? Сталина и Ленина? И захоронили мы тебя по твоему желанию не по-еврейски, а как коммуниста. Оба были гениальны, но злой их гений. Если бы эта мумия из мавзолея вдруг ожила, то покаяние звучало бы так: «Знайте, что все истины, которые я излагал по вопросу частной собственности, это гнусная ложь!»

– Коренной вопрос – эта коллективная зараза. Вон дед получил коллективную могилу! Генерала Красной Армии наградили в 37-ом пулей в лоб, как предателя родины.

– Горбачёву спасибо — реабилитировал. Чем же Сталин тебя так заворожил? Я думаю, может бокс виноват? Ты был чемпионом Сибири в лёгком весе, а это много сотрясений серого вещества, а пап? В Москве, Нюрнберге, даже в Берлине ты остался убеждённым коммунистом. Как говорится, парень из Норильска уехать может, а вот Норильск из парня никогда...

Для справки, уважаемый читатель, Сталин построил Норильск на Севере Сибири из-за огромных залежей никеля. Их так много, что до сих пор не поделить. Город Норильск, где зимой потрескивает под подошвами 40 градусов мороза, как и Беломорский канал, возведен с помощью каторжников. Каждый советский объект на Севере Сибири построен голыми руками заключённых или их детьми. Эта территория России представляла собой до 1956 года после рождества христового, огромный лагерь полит- и других заключённых граждан славного СССР.

Толстый пепел сигары, не обращая внимания на Ньютона и его законы, завис длинным цилиндром между указательным и большим пальцем. Левин молча перевёл взгляд наверх к лику своей бабушки, она была актрисой, после расстрела деда осталась в Норильске и организовала драматический театр. С ней Левин не спорил — бабушка была его родственная душа.

Фотографии жены и детей стояли в рамках на стеллаже, слева от стола. Левин часто был в разъездах и видел семью семь-восемь раз в году, летом на даче. Дача принадлежала жене, и здесь собрались все дети и общие друзья Левиных.

ОПРОС СВИДЕТЕЛЕЙ

Со времен ГДР Вердер не потерял своей прелести. Находясь примерно в часе езды на машине от Берлина, Вердер встречает посетителей аллеями фруктовых деревьев и здоровым светлым лесом с грибами. Здесь же течет широкая река Гавель. По утрам рыбаки шутят друг с другом, стоя в одном ряду на берегу реки. Все с разными удочками и с одинаковым «Angelerlaubnis» — разрешением на лов от местного ведомства.

За лесом, рядом с конным хозяйством и площадкой для гольфа, расположилось садоводство под председательством Брунна: 150 садовых участков различных размеров с немецкими и русскими хозяевами, объединёнными в союз малых садовников, со своим уставом и утверждённым порядком.

Сдача в аренду садовых участков решается управлением союза, председатель которого ежегодно выбирается членским собранием. Немецкий порядок малых садоводств предусматривает размеры вашей дачи, размеры вашего забора, желательны из подстриженного кустарника, уровень создаваемого вами шума, какие деревья и растения вы обязаны посадить и т.д. – всего 15 страниц.

В последние годы 50 участков освободилось: многие восточные немцы ушли по старости, а некоторые просто переехали. Вначале появилась первая пара русских арендаторов, вскоре – сафанное радио в Берлине работает быстро – со всех 50-ти участков лилась русская речь.

К русской «колонии» восточные немцы отнеслись дружелюбно, но на расстоянии – это были другие русские. До объединения рядом с садоводством находился русский гарнизон. Раньше жители ГДР советских солдат называли товарищами и очень жалели, в отгул ходили только офицеры, солдаты оставались в казармах. В современном немецком восточные немцы переняли лексику Запада, и советские войска, простоявшие здесь с 1945-го по 1992-й год, сегодня – «захватчики».¹¹

Брунн не менял ни языковые выражения, ни отношение к жизни.

Ещё будучи студентом в Потсдаме, он решил, что понимает устройство человеческого сообщества и пути его развития. Одна из главных добродетелей прусского офицера – верность долгу, плавно переходила в подчинение власти, оставляя водоворот жизни без сомнений.

Каждый год в один из летних дней Вердер благоухает. Это праздник цветов. Облагороженные красотой распутившихся бутонов и ароматом цветов, посетители покупают экзотические цветы в горшках, остро пахнущую лаванду, вердерскую черешню и поздние сорта клубники. Отдельный ряд с открытыми деревянными стойками предлагает бочковое пиво в стеклянных кружках, гуляш с сосисками, котлеты, солянку и французскую картошку «пом фриттес».

В этот день в садоводство приехали с визитом два сотрудника полиции для опроса свидетелей.

В саду у Левина высокие кусты роз и краснеющие помидоры. Левин в черных джинсах «Левис 501» и коричневой футболке марки «Лакосте», на голове кепка-бейсболка с перевернутым назад козырьком, стоял у гриля с друзьями из Москвы и сотрудни-

ком полиции, лейтенантом Кляйстером, коренастым мужчиной доброжелательной наружности, в штатском, который уже представлялся, познакомился с друзьями Левина и был приглашён к обеду.

Кляйстер прекрасно знает русский – его отец, доктор медицины, русский немец из Казахстана.

Левин снял щипцами с гриля куски жирного лосося, выжал половинку огромного лимона. С удовольствием разлил «Кампари».

– Аперитив? С содой или апельсиновым соком?

– Спасибо, мне только сок. Какие фразы, слова, кроме «жида» говорил Брунн в ваш адрес 9-го мая?

– Дословно: ты «Arschloch»,¹² убирайся в свой Израиль. – Левин выпил. – Нет, если бы он извинился на следующий день, никакого суда не надо было бы. Но это же не упертый «осси».¹³ Для русского человека дача это отдых, рыбалка, друзья, общение. Как сегодня. А не подстриженный газон 1м 35см высотой, запрет на камин или сауну.

У Левина заиграл мобильник мелодией «Любви»:

– Ало, да Женёк, отдыхаю. Мясо? А сколько фур в месяц? Нет, неинтересно. – Левин свернул мобильник. – Извините. – Он налил себе «Кампари», разбавив минеральной водой и снял кепку, обнажив расплывчатое родимое пятно на облысевшем черепе.

– Я просто не перевариваю все системы и всегда плыл против течения.

Сад Брунна, прямо возле леса, был в два раза меньше чем у Левина. Без заборинки подстриженный кустарник-забор, высотой точно 1м 30см. На газоне в английском стиле – густая, сочная, совершенно ровная, коротко подстриженная трава, местами выглядывали пластмассовые гномики с бородами.

Его гость, розовощёкий, смущающийся молодой человек, напомнил Брунну любимого подопечного, когда он был инструктором в МГБ и он сердечно пригласил его на веранду с цветами и зелёным плющом.

Брунн принес пиво из подвала, печенье и кофе из кухни домика. Они разговорились.

В первые полчаса Брунн ограничивался ответами на вопросы, он побаивался делать какие-либо официальные заявления после на шумевшей в Вердере статьи газеты «Бильд».

В прошлом году, в праздник объединения Германии, он изрядно подвыпив в пивном баре, обозвал Горбачёва предателем, потом повторял одну и ту же фразу: «Своих-то не сдают... а нас

сдали с потрохами». Какая-то дрянь из гостей оказался корреспондентом, навёл о нём справки и опубликовал ядовитую заметку под заголовком: «В Вердере обожают офицера Штази»

Но после двух вместе выпитых бутылок пива, Брунн осмелел:

– Я ни о чем в прошлом не жалею. Я на отлично закончил отделение оперативных и политических инструкторов в потсдамском юридическом институте МГБ и служил в группе инспекторов в министерстве на руководящей работе. Постановка задачи и контроль за её выполнением. Руководство – это моя стихия. Я был занесён в кадровый список на генерала. До 1990-го. – Брунн залпом выпил начатую бутылку пива.

– Я сдал свой пистолет, некоторые из коллег повесились. – Брунн замолчал.

– Сегодня у Вас наверное все наладилось? – Задал вопрос молодой следователь.

– Не жалуюсь. Но меня не волнует потребление. А порядок нужен везде, и в нашем садоводстве также. Но некоторые садовые товарищи с миграционным происхождением не следуют постановлением. Я садовому товарищу Лубинскому три письменных предупреждения послал, управление союзом потребовало привести в порядок сад, иначе его аренду прекратят. Лубинский написал ответ с обвинением руководства в враждебном отношении к иностранцам и дискриминации евреев. Правда, потом извинился и навел у себя порядок.

Место происшествия, драки Левина и Брунна, находилось в 10 метрах от участка Брунна. Ветеран подтвердил получение подарка от Левина.

Молодой судья и сотрудники полиции не смогли выяснить мотивы Левина и тем более Брунна. Обвинение в антисемитизме не было подтверждено свидетелями. За выбитый зуб и другие взаимные телесные повреждения обеим сторонам были присуждены денежные штрафы в соответствующих размерах.

¹ Emergency country – рус. страны с восходящей экономикой

² Вне службы, в отставке

³ Fifth Avenue: главная улица в Manhattan, New York City

⁴ По-немецки: Jud

⁵ MfS- Ministerium für Staatssicherheit в ГДР, далее МГБ

⁶ Stasi raus — дословно « кгб-шники вон» , штази - сокращение для сотрудников МГБ

⁷ Государственные служащие в присоединившихся новых землях ФРГ были уволены за сотрудничество со Штази или за принадлежность СЕПГ - коммунистической партии ГДР

⁸ рус. «Рождённый жить на воле» — песня, ставшая культом и гимном мотоциклистов. Автор Марс Бонфаер (англ. Mars Bonfire), дебют в с 1969г, группа Steppenwolf.

⁹ Рус. «подмастерье сапожника», « главный свидетель»

¹⁰ Рус. Высокая технология

¹¹ Нем. Besatzer

¹² Рус. дырка в заднице

¹³ Немецкое сокращение для граждан из бывшего ГДР

Татьяна Устинская**ПРОГУЛКА**

Окна темнеют пустым промежутком
в толще домов.
Десять часов, – как-то странно и жутко,
в городе снов.

Страсти утихли, – и ссоры. и крики –
рано вставать.
В городе нашем, таком многоликом –
в десять – в кровать.

Вечер прохладный, шарф брошу на плечи,
и – за порог.
Пусть этот ветер мне душу полечит
пылью дорог.

Ветку сирени, – запах весенний,
в дом принесу.
Кто ещё сможет в моём настроенье
скрасить досуг?

Может быть, где-то друг мой усталый –
сбился с пути?
Помню, как прежде его я встречала. –
трепет в груди.

Что предложу ему, если попросит?
Праздник души?
Просто смешно... В биографии осень, –
поздно спешить.

ГРУСТНЫЙ ВТОРНИК

Ничего хорошего,
ничего плохого.
Всё идёт по правилам,
как заведено.
Просто стало трудно мне
сохранять основы
жизни моей праведной:
«не залечь на дно».

Может быть, сегодня день
и не самый лучший –
И болеть устала я,
и лекарства пить.
Но ещё надеюсь я
на счастливый случай:
Вывезет «кривая» –
не порвётся нить!

Хочется надеяться
на любовь и дружбу,
что помогут близкие,
и поймут друзья.
Только что-то плохо мне
эти сказки служат...
улететь бы в старости
в тёплые края!

СТИХИ О НОВОГОДНЕЙ ЁЛКЕ, ДОСТОЯВШЕЙ ДО КОНЦА ЯНВАРЯ

*«Что остаётся от сказки потом,
после того, как её рассказали»*

Л. Керролл »Алиса в стране чудес«

Она стоит, не съпятся иголки,
и ветки не сгибаются пока.
Такие вот «нордические» ёлки
с гарантией немецкой на века.

Стоит себе и ни о чём не просит
прекрасная принцесса января.
Уже пора её с балкона сбросить,
в коробку уложить её наряд.

А вдоль дороги. ёлки «как с иголки» –
зелёные, живые деревца.–
От праздника прошедшего осколки
здесь доживают век свой у крыльца.

Так служит нашим прихотям природа, –
не больно ей и жить, и умирать.
И только я страдаю год от года,
увидев беспризорных ёлок рать.

Листики календаря бегут лениво,
но прошлое осталось за спиной.
Один мудрец заметил справедливо:
увы, «ничто не ново под луной!»

«ДЕВОЧКА НА ШАРЕ»

Никто сегодня больше не обидит.
Двенадцать ночи. Хватит , господа!
Куда ты смотришь, Ангел мой, хранитель?
Устала я. – уже не те года.

А завтра снова танцевать на шаре.
Чуть в сторону, – колени задрожат.
Расслабиться себе не разрешаю,
стараюсь равновесие держать.

Мне надоело лгать и притворяться,
приходится, – моя ли в том вина.
На шаре ведь не просто удержаться,
не держит напряжения спина...

Вот, девочка на шаре постарела,
но по привычке ноги всё бегут.
Теряет гибкость и дряхлеет тело,
ещё немного, – на полу найдут.

ОТКРОВЕНИЯ ЖЕНЩИНЫ

[182]

Дип 16 / 2012

Подкралась старость незаметно.
Куда ушла былая стать?
Что делать мне теперь, конкретно?
Никто не сможет подсказать.

Подкрашу волосы и губы.
Не пожалею тушь для глаз.
Но зеркало мне скажет грубо:
«Куда, дурёха, собралась?»

Меня узнают по походке,
сойду с высокого крыльца.
«Ах, неудобная колодка», –
ступеням, видно, нет конца.

Себя со стороны не вижу,
но коль крутые виражи,
ты подойди ко мне поближе,
и там, где скользко, поддержи.

Феликс Фельдман

* * *

Ночь темна. Светлячки в потемневшем пруду.
И покоем дохнула услада.
В тишине, я в Берлине по саду бреду,
в полусне, вглубь душевного лада.

А вверху, зябко кутаясь в облачный плед,
спит луна, зависая над речкой.
И ведёт её лунный серебряный след
в позапрошлого века местечко.

Два окошка и свет в чьей-то брезжит семье.
То ли лампочка, то ли лучина.
Это предки мои на дубовой скамье
за беседой степенной и чинной.

Бородаты и стройны, как ели, деды,
мои Фельдманы и Финкельштейны.
И бормочут под нос, не предвидя беды,
Элоа, Элохим, Элохейну.

Они верят, что Бог весь их род сохранит,
тыча пальцем в священную Тору.
И в пути исповедные верят они,
что откроются мудрому взору.

Мои деды и бабки в надежде живут,
в ожидании страстном Мессии.
И мерещится им, как и мне, дежавю,
будто эта надежда – Россия.

Там на русской печи я как будто лежу,
невидимкой в углу притаившись.
И оттуда на предков с почтеньем гляжу.
Их потомок.
Ещё не родившись.

АНТАГОНИЗМ

Между Сциллой и Харибдой
беспокойная волна.
В Средиземном синем море
испарилась тишина.

Между Сциллой и Харибдой
пацифизм, милитаризм.
Между Сциллой и Харибдой
сионизм и арабизм.

Между Сциллой и Харибдой
иностранные войска
в средиземном ОЧЕНЬ море
не раздавлены пока.

То ль от правды, то ль от кривды
нам чего б не натворить.
И от Сциллы и Харибды
хрупкий мир наш сохранить.

* * *

Ты атеист. Но считаешь Тору.
Выходит, твоя вера без разбору?
Да, чту. Тем взгляды наши квиты,
пока Её хулят антисемиты.

КАДИШ ПО ШЕСТИ МИЛЛИОНАМ

Ну, здравствуй, милостивый Боже.
Прости. Прости,
что мысль грешна и душу гложет –

не отвести.
Я слышу, память проклиная,
расстрельный шквал
и от Египта до Синая
девятый вал.
Ты помнишь, Бог, тот день Завета,
как под горой
стоял народ и ждал ответа?
Еще не Твой.
Клялись взаимно у Синая
народ и Ты,
чужих богов не помяная,
во все роды.
И кто ж, как Ты, между богами
Всесильный Бог?..
Да, что ж случилось между нами
и как Ты мог?
Удел дражайший – на закланье
чужим богам;
и Твой народ на поруганье
отдать врагам.
Шесть миллионов, род священный
в сырой земле.
Надежды пламень семичленный
погас во мгле.
Шесть миллионов душ пречистых
лежат в гробах.
Шесть миллионов атеистов –
восставший прах.

Мой Бог, верни меня к Сиону.
Верни гробы.
Ты завернул нас к фараону.
В его рабы.

И нет у Господа ответа.
Лишь горсть золы.
Торчат на кладбище Завета
одни колы.

где источники живительной воды
берут свое начало в первобытии.

Иль, может быть, ты зданье,
точней, ты небоскрёб
с огромной анфиладой комнат,
с лифтáми, залами и гостевыми,
с фундаментом,
что плавает в земле многоэтажно,
чтоб здание устойчиво стояло
и чтоб его не опрокинули ветра судьбы –
к нам нисходящей Свыше.

А кто же я?
Случайный гость,
из состраданья получивший милость
существовать с другими рядом,
один,
в одной из позабытых
скромных келий?

Да кто ж тогда они,
скажи,
другие твоей жизни,
что ездят вниз и вверх
в лифтáх души твоей
и насыщают плоть свою
в твоих буфетах,
в небоскрёбе плоти?

Они иль я?!

Скажи мне, женщина!
Не там ли, не тогда ль
возможно сопряженье,
когда течет, преграды сокрушая,
подземная река любви
и в строй её встают солдаты
неподкупных и непродажных чувств?

Ответь, не я ли муж твой –
метеорит,

что орошает землю огнём небесным?
Сперматозоид разума и духа,
того истока,
что пробуждает страсть желанья жить,
и жизнью поддержать природу
творческой Вселенной?

Ответь мне, женщина!
Не я ли тот, в корнях твоих,
где соки первобытной чистоты
питают жребий твой,
удел существованья?

Не мы ль с тобой вдвоём
как «ин» и «янь»,
сливаясь в шар земной,
суть то первоначало,
которое творит
программу мирозданья?

Ты выбрала свой путь?
Твой жребий пал?
Решилась ты?
Ответь мне, женщина –
поэзии родник,
праматерь красоты.

Галина Фирсова

КАЛЕНДАРЬ

Летят листки календаря,
как листья осенью с деревьев,
и я, судьбу благодаря,
жду нового весны цветенья.

Виденьем ярким каждый лист,
вскрывает памяти страницу,
и в цепь единую сплелись
событья, даты, близких лица.

Я слышу времени отсчёт,
и радость встреч, и грусть прощаний,
всех чувств былых круговорот
вновь пропускаю сквозь сознание.

Смотрю, как фильм, со стороны,
где жизнь ручьём бурлит на сцене.
О! Как отчётливо видны
следы ошибок, упущений.

Жаль, что нельзя направить вспять
ушедших дней порядок строгий,
не так ступить, не то сказать,
пройти совсем другой дорогой.

Но, видно, шансы не даны
исправить, свитое годами,

и пожинаем мы плоды
того, что вырастили сами.

А день сегодняшний, увы,
когда-то тоже станет прошлым,
и будет ветром роковым
очередной листок отброшен.

И я шепчу себе: «Лови!
Цени момент, пока мы живы,
твори добро, живи в любви,
и будет каждый день счастливым!»

НЕ РЕШАЙ СУДЬБУ ЧУЖУЮ

За окном плаксивая берлинская осень. Капли дождя струятся по стеклу, а мне кажется, что это плачет моя память. Сегодня день рождения моей подруги. На столе фотография симпатичной молодой женщины. Мягкая улыбка, ямочки на щеках, копна рыжеватых волос, спадающих на плечи и чуть прищуренные глаза, в которых застыла затаённая грусть. Эх! Наташка, Наташка! И услужливая память уносит меня в далёкие семидесятые.

Большой город на юге Украины. Проходная завода, которую я впервые перешагнула молодым специалистом. Переполненный зал клуба, где проходит смотр художественной самодеятельности. На сцену выходит стройная высокая девушка, приветливо улыбается, поправляет микрофон и начинает петь. Зал замирает. Мягкий грудной голос полон такой силы и красоты, что просто захватывает дух. Люди аплодируют стоя. Мне очень нравится и песня, и девушка и в перерыве я подхожу к ней, чтобы выразить свой восторг. «Я тебя раньше не видела. Ты недавно на заводе? Я – Наташа» – сказала девушка и протянула мне руку. Вблизи девушка оказалась ещё симпатичнее: обаятельная улыбка на покрытом едва заметными веснушками лице, большие зелёные глаза и пышные рыжеватые волосы, упрямо спадающие на лоб. Мы быстро подружились, и не проходило дня, чтобы Наташка хоть на пять минут, не забежала ко мне на вычислительный центр или я в её комнатку на складе. Она была очень доброй, общительной и весёлой, охотно отзывалась на любую просьбу

о помощи. Смеялась Наташка громко и заразительно, вызывая улыбки окружающих. А уж, когда пела она романсы или раздольные русские песни, равнодушным не оставался никто. Моя подруга была победителем всевозможных конкурсов и фестивалей, ей прочили большое артистическое будущее, советовали учиться, а она лишь отшучивалась и согласно кивала головой. Трудно было догадаться, что за кажущейся беспечностью этой хохотушки таится глубоко раненная, обременённая болью и тяготами жизни душа.

И только спустя много времени в задушевной беседе поведала мне Наташа о своей горькой судьбе. Слёзы боли и отчаяния прерывали её рассказ. Передо мной была подкошенная горем женщина, которая нуждалась в сочувствии и дружеском понимании. Это откровение ещё больше сблизило нас.

Наташа родилась в небольшой украинской деревушке, в семье механизатора и доярки. Катерина, её мать, в пять утра уже была на ферме, где её ждала сотня подопечных бурёнок. Отец был видным, сильным и вызывал интерес у многих одиноких женщин в послевоенном селе. Так уж случилось, что после рождения дочери он неожиданно ушёл из семьи. Наташка с детства помнила усталую, заплаканную мать и её распухшие от тяжёлой работы руки, с набрякшими венами. Дочь была единственной радостью Катерины и, как только подросла, стала надёжной помощницей. Девчонка росла смышлёной, весёлой певуньей, и многие парни пытались привлечь её внимание. Но сердце девушки покорила разбитой красавец Толик из соседнего села. Дальше всё было, как в тумане: встречи, объяснения, клятвы в вечной верности и любви «до гроба». Парня призвали в армию, и три долгих года писала Наташка письма и ждала, мечтая о свадьбе и счастливой жизни с любимым. Но Толик в родное село не вернулся, остался жить в Севастополе, где служил на флоте, женился. Тяжело перенесла Наталья этот первый удар судьбы. В горьком отчаянии, уехала она на комсомольскую стройку, где молодость и весёлый нрав со временем вернули ей радость жизни. Застенчивый, симпатичный Валера стал ей любящим мужем, родилась славная дочурка Танюшка. Казалось, жизнь снова улыбнулась ей и посулила надежду на счастье, но...

Шёл 1968 год. Не все освобожденные от фашизма страны были довольны навязанным режимом. По соцстранам прокатилась волна протестов и вооруженных конфликтов. Валерий, в числе других военнообязанных парней, был отправлен в Чехос-

ловакию. Через месяц Наташа получила похоронку. Горе, отчаяние, непонимание, за что молодые, здоровые парни в мирное время должны гибнуть в чужой стране, заполнили её душу. Оставив девятимесячную Танюшу маме, Наташа выехала за телом мужа. Казалось, большего горя быть уже не может, но какой-то злой рок неотступно следовал за ней. Малышка заболела воспалением лёгких и, как ни билась Катерина в поисках срочной помощи, спасти ребёнка не смогла... Сломленная горем Наталья, в течение одного месяца, похоронила дочку, мужа и свою надежду на счастье.

Но шло время. Мать и дочь поддерживали друг друга, как могли. Наташа работала на заводе, Катерина жила в селе и продолжала доить коров. Нанесенные жизнью раны зарубцевались, но напоминали о себе грустью, временами затеняющей зелёные Наташины глаза, и тогда они становились тёмно-серыми.

Наташа часто бывала у нас дома, искренне привязалась к моему сыну, и мы вместе иногда ездили в село, проведать её маму – тётю Катю, которой всё труднее было работать, болели спина и натруженные, воспалённые руки. Наташа решила перевезти мать в город. Мы подыскиали небольшой домик рядом с заводом и помогли с переездом. Наташка больше не разрешила маме работать, и они жили на её скромную зарплату и мизерную пенсию. Тётя Катя нарадоваться не могла на дочь, а Наташка смирилась с судьбой и на перемены к лучшему не надеялась. Она не верила больше в счастье и боялась опять привлечь беду.

Как-то мы решили провести отпуск на море, и вместе с моим сынишкой поехали в пансионат, под Одессу. Жили в маленьком деревянном домике с тремя железными кроватями, но зато на самом берегу, и целыми днями наслаждались морем и солнцем. А вечером, когда спадала жара, и солнце погружало свои усталые лучи в раскалённую гладь моря, мы садились на пороге своего пристанища, и Наташка начинала петь. И столько душевной боли и грусти было в её песнях, и, одновременно, столько силы и красоты, что к нашему домику стягивались десятки изумлённых слушателей. Её просили петь ещё и ещё, а она смущённо улыбалась, отбрасывала небрежно копну рыжеватых волос и легко выводила высокие, неповторимой красоты звуки. Заходящие лучи золотили её веснушки и отражались брызгами в темно-зеленых, как море, глазах. Такой Наташка навсегда осталась в моей памяти.

Помню, как однажды осенью нас, самодеятельных «артистов», отправили с концертной программой выступить на селе.

Мы почему-то назывались «агитбригадой», хотя красных косынок не носили и лозунгов не провозглашали. Народ нас принимал радушно, хлебосольно. Как-то раз, привезли нас на полевой стан, чтобы подкрепить перед концертом. На длинном столе из нетёсаных досок стояли алюминиевые кружки и огромный каравай запечённого до золотистой корочки, душистого хлеба. Мы, предвкушая удовольствие, наблюдали, как хозяйка этого «заведения», в сбившемся набок платке, с ведром в одной руке и с хвостотиной в другой, пыталась пристроиться к пятнистой бурёнке. Но у той, видно, не было настроения выдавать «на-гора» удов, а может «стеснялась» многочисленной публики. Она пяtilась, крутила головой и норовила лягнуть, раздражающее её ведро. Мы дружно подключились к уговорам, кто-то совал коровке пучок травы, кто-то пытался погладить, но она воспринимала всех нас, как «красную тряпку» и мычала, угрожающе выставив рога. И тогда Наташка, решительно отодвинув нас, стала перед коровой и запела. Она пела что-то о поникших ромашках и лютиках, о безответной любви и рогатая скотина застыла в недоумении. Видно, ей ещё никто не пел серенады. Она уставилась на Наташку своими большими влажными глазами и даже приоткрыла рот. Казалось, она вот-вот прослезится от умиления. Сообразительная хозяйка не теряла времени даром, и струйки молока, звонко ударяясь о ведро, звучали победным аккордом. Мы, смеясь от души, уплетали вкусный хлеб, запивая парным, пахнущим травой, молоком и нахваливали Наташку, пробудившую даже в бурёнке меломана.

Нас было три закадычные подруги. С Олей, моей соседкой по дому, мы подружились, когда водили своих сыновей в один детский сад. Наташка понравилась Оле с первой встречи, и мы стали, как говорят, «не разлей вода». Мне было тогда около тридцати, Наташка была на пять лет младше меня, а Оля настолько же старше, но это ничуть не мешало нашей дружбе. Оля работала продавцом в магазине, растила сына Димку, ровесника и друга моего Серёжки, и терпеливо сносила буйные вспышки мужа-любителя выпить. Мы понимали друг друга, любили и помогали, чем могли, делясь радостями и горестями.

В один из долгожданных дней нашей полочки, когда мы с Наташкой собрались в поход за обновками, позвонила вдруг Оля. «Галка, скорее приезжай, к нам такая интересная предсказательница приехала! Всем правду говорит, что было и что будет!» Я не очень всему этому верю, да и планы другие были. Но стоящая ра-

дом Наташа вдруг решительно прокричала в трубку: « Оля, мы едем, задержи её, мы скоро!» Глаза её загорелись любопытством и надеждой, и я, пожав плечами, последовала за ней. В магазине у Ольги царил загадочность и беспокойство. Девчонки-продавщицы были чем-то взволнованы, тихо перешёптывались. Оля схватила нас за руки и потащила в сторону подсобки. « Только по одной », – шепнула она и протолкнула меня в дверь. Времени на расспросы не было, и увиденное застало меня врасплох. За столиком у окна, в полутёмной комнатушке, сидела женщина лет пятидесяти, в тёмном платке и с закрытыми глазами. « Проходи и дай мне руку », – тихо сказала она. Я села и протянула ей правую ладонь. Не открывая глаз, она долго водила по ней пальцами, как бы изучая каждую извилину, после чего взяла лежащую на столе перфорированную книгу, и стала медленно сканировать её рукой. Несложно было догадаться, что женщина слепа. Минут десять прошли в зловещем молчании, затем женщина отложила книгу и стала говорить. Она назвала моё имя, место работы и с кем живу. « Ольга рассказала », – подумала я с улыбкой. Женщина отпрыгнула и ответила на мои мысли: « Никто не сказал, в книге прочла ». Честно говоря, стало немного жутковато. Дальше я услышала, что родилась под счастливой звездой, но не в том месте, что счастье придёт ко мне только после сорока пяти и не в этом городе, что много радости буду иметь от сыновей и т.д. Я чуть не присвистнула от досады. Во-первых, у меня один сын, во-вторых, мне ещё нет и тридцати и, по моим понятиям, сорок пять – это уже почти глубокая старость, и какое может быть счастье в эти годы? Я вышла со странным чувством разочарования и недоверия. Пока Наташка проходила рандеву, Ольга успела поведать мне о том, что ей предрекли. « Она сказала, – шептала подруга, оглядываясь, – что я никогда не разойдусь со своим мужем-алкоголиком (а желание такое у неё было), что всё, что буду иметь, мне даст сын и, что собственной квартиры (а она жила в коммуналке и страстно мечтала о таковой), я иметь никогда не буду, а после пятидесяти буду сильно болеть. » Ольга огорчённо развела руками. « Да чушь всё это », – успокоила я подругу – « Наташка чему верить! »

Наташка появилась через пять минут. « Что так быстро? Что сказали? », – бросились мы к ней. На её лице была тревога и смятение. « Она сказала только, что на мне какой-то заговор, что видит яркую вспышку, а потом темноту, и ещё, что мне надо поехать с ней для снятия порчи », – обречёно выпалила Наташка.

Я была старше и считала себя опытной, а потому резко осадила её: « Никуда ты не поедешь! Бред какой-то! Она просто деньги с тебя скачать хочет. Мы уходим!». Я решительно взяла Наталью за руку, и в полной уверенности в своей правоте, потащила её к выходу, помахав на прощанье Ольге.

Жизнь текла своим чередом, мы работали, боролись с жизненными невзгодами, отдыхали, развлекались и начисто забыли о непонятных пророчествах. Но, прошли годы, и нам пришлось о них вспомнить. Как-то влетает Наташка ко мне, глаза сверкают радостью, смеётся, счастливая такая, закружила меня и кричит: « Угадай, кого я встретила?». Я в недоумении подняла глаза, никогда не видела я подругу такой возбуждённой. « Да Толика, моего Толика, помнишь, я рассказывала?», – хохочет Наташка. « Он меня любит, мы будем вместе!» Это действительно былой яркой вспышкой в её жизни, и мы искренне радовались за подругу. Толик оставил семью, переехал к Наташе. Они жили втроем в маленьком тётки Катином домике и были безмерно счастливы. В августе мы отмечали Наташкино тридцатилетие. Она была на седьмом месяце беременности, чувствовала себя отлично, легко двигалась, смеялась и пела, пела, пела. И песни были такие весёлые, разбитные, и веяло от них радостью и теплом. Толик не сводил с Наташки влюблённых глаз, следя за каждым её движением. Всё было прекрасно и ничто не предвещало беды. Только как-то вечером, забежав к Наташе, я застала тётю Катю в слезах. «Что случилось?», – спросила обеспокоено. «Ой, Галю, я беду чую, – запричитала тётя Катя – Воны ж сыдят и друг с друга очей не зводят». «Ну, что вы! - пыталась я успокоить её, – это же так здорово, что они любят друг друга!» Наташина мама продолжала качать головой, вытирая слёзы. Я рассказывала какие-то истории, отвлекая её от грустных мыслей, убеждала, что всё будет хорошо, но ушла с горьким осадком тревоги.

Срок рожать у Наташи был в октябре. Чувствовала она себя отлично, поводов для беспокойства не было. Но наступил ноябрь, а роды не начинались. Мы уговаривали её обратиться в больницу, но она со смехом отмахивалась: «Это я врачей обманула, придёт время, – рожу». Но время шло и наше беспокойство усиливалось. Только в конце ноября, чуть ли не силой, отвёл Толик жену в больницу. Ещё неделю держали её там, успокаивая, что всё нормально и стимулировать роды нет необходимости. Ох, уж эта наша медицина! И только вызванный через неделю профессор областной больницы определил, что плод давно замер, а

прослушивалось материнское сердцебиение. Операция была тяжёлой, угроза заражения и пр. Но вечером Наташка пришла в себя и, глядя виновато на расстроенного Толика, прошептала: «Я ещё рожу, я молодая» А ещё через два часа ему вынесли её часы. «Тромб оторвался, ничего не смогли сделать» – развела беспомощно руками медсестра.

Нет слов, чтобы выразить горе обезумевшей матери и друзей. Толика дважды вынимали из петли при попытках самоубийства. Хоронил Наташу и её дочь весь завод, она даже не представляла себе, как много людей её любили за весёлость, добрый нрав, душевные песни. Сколько ж из них остались неспетыми! Вот тебе и судьба: яркая вспышка, а потом – темнота.

Спустя какое-то время, я сказала подруге, что нужно проведать тётю Катю, каково ей теперь одной. Подруга удивлённо скинула глаза: «А, ты разве не знаешь, что к ней муж, то есть Наташин отец вернулся? Она к бабке ходила и та ей и сказала, что проклятье было от той женщины, к которой отец ушёл. А со смертью Наташки, заговор-то и кончился».

Прошли годы, многое произошло и изменилось в жизни моей и моих друзей. Ольга так и не разошлась со своим мужем, в пятьдесят лет перенесла тяжёлую операцию, и умерла от инсульта, так и не получив отдельную квартиру. Её любимый сын, начинающий бизнесмен, заботившийся о ней до последней минуты, вскоре после её смерти был застрелен бандитами. А я? Я действительно имею двоих сыновей, живу далеко от родного города, и только после пятидесяти вышла замуж по любви.

Смотрю на Наташину фотографию. Открытое улыбающееся лицо, смешные веснушки и ямочки на щеках. А в ушах до сих пор звучит её голос. На протяжении многих лет я задаю себе один и тот же вопрос: « Это просто роковое совпадение или что-то другое? А как бы сложилась жизнь подруги, если б не моя категоричность в неподвластных моему пониманию вопросах? Имела ли я право решать за кого-то верить или не верить, быть или не быть?» Не знаю ответа на этот вопрос и, наверное, уже не узнаю. Но я никогда не забуду своих безвременно ушедших друзей, и не избавлюсь от чувства косвенной вины.

Бронислава Фурманова

ЗВЕЗДА ДАВИДА

Пересматриваю я фильмы
о евреях, замученных в гетто.
Этот ужас забыть бессильна, –
на забвенье наложено вето.

В чёрно-белых кадрах из фильма,
жёлтым пламенем, кровью залита,
на груди, будто сердца ширма,
ярко светит звезда Давила.

Той звездой, что считали позорной,
отличали евреев от прочих.
Заставляли носить покорно,
как бы, вместо билетов волчьих.

Что их ждёт, лишь подзревая,
шли евреи последней дорогой.
совершенно не понимая,
в чём они провинились пред Богом.

Их сердца при любых невзгодах
обнимала звезда Давида.
В рвах и Ярах, в часы исхода
не была она с ними убита.

Много лет поглотила вечность,
но кровит нескончаемо рана.

Повторить хотят бесчеловечно,
вновь правители Тегерана.

[198]

И становится чуть ли не нормой
эти неонацистские силы,
чтоб под флагом, со свастикой чёрной,
осквернять евреев могилы.

Я хочу, чтоб звезда Давида
впредь служила лишь украшением,
и на грудь не была нашита,
талисманом блестела на шее.

Или только, как памяти символ,
о шести миллионах евреев,
на груди пусть звучала гимном,
чтобы то не вернулось время.

У СКРИПКИ УТОНЧЁННАЯ ДУША

Я музыки печальней не слыхала,
чем ту, что исполнял седой скрипач,
в его глазах еврейских увидала,
такую грусть, такую боль, хоть плачь.

Звучали эти звуки в тёмном зале,
как будто стоны улетали вдаль,
и душу мне на части разрывали,
такую вызывал скрипач печаль.

Стонала скрипка о дороге дальней
и в неизвестность за собой звала,
затем дрожали звуки от отчаяния –
мне откровением та музыка была.

Его игра меня заморозила,
и скрипки утончённая душа
во мне такие чувства пробудила,
что я внимала звукам, чуть дыша.

Зов скрипки улетал и возвращался,
то на мгновение замирал в тиши –
смычок не к струнам скрипки прикасался,
а к струнам сердца, разума, души...

[199]

Михаил Эненштейн**ВОТ ЗА ЧТО Я ЛЮБЛЮ
ТОВАРИЩА СТАЛИНА...**

Другу моему – Руфаилу Кунц, посвящаю

– Раньше, чем ты пойдёшь служить роо-дной власти, я тебе, дураку, скажу пару горячих слов за счастье евреев жить в наа-шей стране, – так начал застольную речь отец Ромки, провожая его в армию.

От сильного волнения он немного заикался. А заикаться стал с тех пор, как сын Ромка попал в милицию за драку, изрядно помяв одноклассника. На вопрос: «за что?» – коротко отвечал: «за дело». Как ни пытался отец выяснить причину, Ромка молчал. Единственно, что успокаивало старого мастерового, уверенность в том, что конфликт не касался еврейского вопроса, потому что твёрдо знал, в стране абсолютно нет антисемитов. Как и знал, что драчливый Ромка – горе семьи, по делу и без дела часто проверял навыки, полученные в боксёрском кружке. «Он, видите ли, всего лишь, бросил пацана через бедро, мерзавец. Какое бедро, как попало в класс это несчастное бедро? Ума не приложу. А тот поломал себе голову. Это мне надо?» – думал отец Ромки. Это событие переполнило терпение, и он понёсся в военкомат. В первой части его встретил капитан Стецков.

– Что надо? – спросил офицер. Прежде чем ответить, старик выложил на стол пакетик, туго завёрнутый в газету. Щелчком указательного и большого пальцев отправил его капитану. Пакетик скользнул по столешнице и упёрся в пуговицу со звездой на кителе начальника первой части. Уловив движение пальцев посетителя, Стецков откинулся на спинку стула, одновременно

открыв ящик стола. – Так что надо? – потеплел голос офицера

– Хочу срочно отправить сына служить в нашу доблестную армию и подальше от дома.

От удивления, глаза воителя округлились и выкатились из орбит.

Продолжая застолье, отец Ромки обратился к своему брату: – Залман, а ты что скаа-жешь? – Конечно, конечно... – вяло ответил он, – но с другой стороны, – и пожал плечами.

– Что ты пожимаешь плечами, шлимазл. Вспомни, при царе мы жили ув местечке, были нищими. На курицу и бульон до пейсаха, собирали целый год по копейке. А потом опять собирали. А ты помнишь для чего, малхамувэс? Отец заговорил громче, обращаясь теперь только к Ромке, – запоминай сынок, запоминай, Залман всё забыл, собирали на подарок городовому, чтобы не трогал твоего дедушку. Старик сидел себе у дверях и набивал подковки на соседские ботинки. А если, упаси Боже, подарка не дашь, городского начинала сильно душить холера. Сейчас, слава Богу, мы можем себе позволить курочку даже чаще. Правда, они теперь синие из длинными ногами, но мейле, зато бульончик крепкий. Так вот – за людей городской нас не имел, не здоровался и смотрел зверем. А сейчас, спасибо товарищу С-сталину, ми живьём ув Одэс-се.

Милиция вежливая, тихо подойдёт, скажет драсти, спросит фамилию, и только тогда возьмёт, нежно, нежно под руки отведёт в отделение, а там тебе дают пару таких пачек, что ты уже ничего не соображаешь. И начинают допрос. Ну а как же иначе? С нами по-другому нельзя. Конечно, лучше не говорить, что ты еврей, а то у них может быть отрыжка прошлого. Я как-то прочитал это слово в газете.

– Запоминай балбес, – отец обожал своего младшенького, но держал его в строгости, сантиментов не допускал, считая такой метод воспитания самым правильным, – и продолжал, – всем мы обязаны товарищу С-сталину, дай Бог прожить ему сто двадцать лет. Помню, у твоей бабушки было девять душ детей. Так я таки да получил образование в ремесленном. А твоя мама на фабрике из уборщицы стала швейей, а я настройщиком. Правда, потом я хотел поступить в институт на инженера, но в комиссии сказали, что у меня акцент. И правильно, что за инженер будет с акцентом? Враги нас не поймут. Боже мой! Если бы не товарищ Сс- талин жили бы и сичас в Яновичах. Так я тебя спрашиваю, любит он евреев или не любит? И тут же, не отходя от стола, от-

вечаю – любит. А что готовят эшелоны, чтобы викинуть всех евреев на Восток – брехня. Не может товарищ Сс- талин одной ногой любить евреев, а другой ногой викидывать их в Сибирь. Вот за это я и люблю товарища Сталина. Давайте таки выпьем за его здоровье, – и проглотил стакан водки. – А ты, Ромка служи честно, откровенно, как твой дед в первую мировую.

Ромка Кунцевич – широкоплечий парень небольшого роста, неплохо учился в школе, преуспевал в спорте, был непоседлив, остроумен и весел. Увлекался медициной и девочками. После школы решил в мединститут не поступать. Он единственный в семье понимал – еврею туда не пробиться, впрочем, как и в другие престижные институты. Служба в армии давала хоть некоторые шансы. Можно было податься куда-нибудь в азиатские республики вдали от центра, где «забота» о народе библии, была несколько слабее. Отец ругался, кричал, не верил и считал, что всё это сионистская пропаганда, а Ромка просто лентяй и бездельник.

В военкомате на медкомиссии капитан, осмотрев призванного, подумал: «Хорош», и его фамилию внёс в заявку погранвойск, не забыв поставить жирный вопросительный знак красным карандашом.

Военком Черешня, рассматривая списки цепким взглядом, зацепился за вопросительный знак, насупился и покраснел.

– Та куда ж, отого жидка на границу, а якщо стрибане за кордон? – закричал майор.

– Так мы его туда – до белых медведей. Куда же ему стрибать, – успокоил капитан.

– Добряче, – согласился майор и обтёр лысину носовым платком.

После учебки рядовой Кунцевич служил на самой северной границе Союза.

Небольшая казарма, окрашенная в оранжевый колер, стояла вплотную к невысокому холму. Зимой, а она здесь длилась десять месяцев, её заносило снегом выше трубы. Горячее дыхание дыма протаивало себе отдушину и курилось над образовавшимся холмом, как трубка эскимоса. Тогда солдаты дружно брались за лопаты, и здание начинало светиться ярким оранжевым глазом на фоне снежной белизны.

Старослужащего младшего сержанта Сашку Хлобыстина побаивались первогодки. Долговязый, с торчащим кадыком над просторным воротничком гимнастёрки, куда могла бы поместиться ещё одна шея, он медленно прохаживался по расчищен-

ной дорожке, и не поворачивая головы, наблюдал за работой солдат. Злые маленькие глазки следили за каждым подчинённым, не упуская случая отпустить злую, а чаще оскорбительную шутку. Служивые не любили Сашку, подозревая, что он стучит на них командирам.

Однажды Хлобыстин, отряхнув валенки от снега, сказал: «Наряду заступать в ночь. На дворе пурга, мороз – думаю, жидок не сдюжит».

Ромка спрыгнул с койки и несколько раз приговаривая: «Забудь это слово, падла», – так отделал долговязого, что тот полночи кряхтел, прикладывая к глазам пятаки, но жаловаться не стал.

С тех пор солдаты зауважали Ромку и перестали бояться Хлобыстина.

Ромка без дела не сидел. В свободное время успевал поработать на спортивных снарядах, почитать, а то и провести политинформацию, когда замполит был в отлучке. Словом, как приказал отец – служил откровенно.

В казарме у прохода, разделявшего два отделения, на втором этаже сдвоенных кроватей, находилась Ромкина койка. Ночью у двери, перелистывая устав, дремал дневальный. На противоположной стене висел портрет Сталина в маршальском мундире во весь рост. Тусклый свет лапочки на столе дежурного едва доходил до вождя. В сгустившихся сумерках золото пуговиц, погон и звезда героя продолжали таинственно мерцать. Когда Ромка, ворочаясь на узкой койке, поворачивался к лику полководца, ему казалось, что великий сверлит его злым жёлтым взглядом, внушая страх, любовь, отвращение. Его юное, неокрепшее самосознание, пропитанное елеем, обильно растекшимся по всему, что он читал и слышал, ещё не могло твёрдо определить свою позицию. Известные ему факты вражды к евреям уже не вмещались в категорию случайных, а всё больше и больше вторгались в жизнь его семьи и знакомых. «Неужели отец ничего не видит или осторожным словом пытается оградить меня от неприятностей? Значит, всё значительно хуже, а в письмах отец давал понять, что на самом деле происходит», – думал Ромка. Завернувшись с головой в одеяло, солдат ещё долго не мог заснуть.

Командир и замполит погранотряда любили перекинуться в карты, а когда затевали преферанс, звали Ромку. Он у них выигрывал и травил анекдоты. Офицерам особенно нравились байки, когда в них евреи казались смешными или жадными. Ромка

хохотал вместе с ними, но больше оттого, что офицерам не был понятен их двойной смысл.

Отец писал Ромке длинные письма с напутствиями честно служить любимому товарищу Сталину, партии и народу. Иногда отвлекался и рассказывал о семейных и других новостях.

Последнее письмо из дома он получил с оказией. Начав читать, Ромка побледнел, по спине поползли капли холодного пота, а сердце ухнуло куда-то к желудку. Страх за отца, родственников и за себя липкой пеленой окутывал сознание.

– Ты знаешь, у тётки Розы трагедия, – писал отец, – Светка провалилась на экзаменах в институт. По всем предметам получила пятёрки, а по сочинению тройку. Нет, ни одной ошибки не было, но не смогла отрыть образ. Как тебе это понравится, барышне восемнадцать лет, а она не смогла отрыть образ? И конечно её законно не приняли, а Соня плачет и думает потому, что Света еврейка. Такая дурость. Скажу по секрету, ещё говорит, что врачи не отравляли наших вождей, что это нонсенс. Я не знаю, что это значит, но понимаю, у Соньки полный мишигас. Да, вот ещё... наши враги на Западе всё сильнее распространяют слухи, что всех евреев будут вывозить, чтобы не злить русский народ. Капиталисты хотят разбить дружбу народов. Они не понимают, что дорогой товарищ Сталин этого никогда не допустит, и мы спокойно трудимся, для наших дружных народов и партии. Не дочитав до конца, Ромка осторожно сел на койку. Быстро скомкал листки и сунул в карман. Выскочив из казармы, понёсся в нужник, захлопнул дверь и закрыл на щеколду.

– Жидок обосрался, – выглянув в окно, прокомментировал Хлобыстин.

Изорвав письмо в мелкие кусочки, Ромка выбросил его в очко. Сообразив, что оно получено с оказией, немного успокоился и быстро написал письмо домой.

Он предупредил, что его переводят в другую часть, куда писать нельзя, и что здоров, служит стране и великому Сталину. С облегчением вздохнул и заклеил конверт.

1953 год. Зима бушевала над заставой, хотя было начало марта. Сугробы за ночь, как обычно, закрывали окна, а шквалистый ветер заносил снег через дымоходы. Поленья в печке шипели и отстреливались искрами.

Шестого марта заставу подняли по тревоге. Построив личный состав, командир медленно, часто останавливаясь, с трудом справляясь с дыханием, прочитал сообщение о кончине това-

рища Сталина. Бледное небритое лицо, дрожащий подбородок, расстёгнутый ворот выдавали крайнюю степень растерянности и страха. Он потёр лоб и, обращаясь к замполиту, тихо сказал:

– Продолжай, политрук, – и медленно поплёлся в штаб.

Старший лейтенант, напротив, был ухожен, подтянут, чётко отдавал команды, и горечь потери для одной шестой части суши, казалось, его не взволновала.

– Всем разойтись, Кунцевич, ко мне! – приказал офицер. – Вот что Роман, приказываю: в ленкомнате портрет Сталина снять, – он помолчал, Ромка побледнел, съёжился и, задержав дыхание, став меньше ростом, – обрамить чёрным крепом и прикрепить на торце казармы. Солдат выдохнул воздух, приняв прежний рост.

– Слушаюсь! – гаркнул Ромка и побежал в ленкомнату.

Солдаты отгребали снег, расчищали дорожки, а ветер снова и снова наметал сугробы, не давая служивым отдохнуть.

Взобравшись на крышу, Ромка оседлал конёк и почти ползком добирался до торца здания, сдирая кожу с локтей, ног и седла лица. Когда ослабевал ветер, товарищ Сталин, покуривая трубку, смотрел с полотна, то зло, то многозначительно улыбаясь. Кунцевич держал портрет на вытянутых руках, как на параде. Он боялся повредить или упустить окантованное чёрной бумагой с бантом изображение дорогого человека. Комбинация из дерева, холста и черной бумаги, потрескивая на ветру, билась о Ромкины руки, пытаясь вырваться, мешая солдату продвигаться вперёд. Превратившись в парус, наполненный ветром, портрет стремился вырваться из Ромкиных рук, таская его по крыше. А когда налетал шквал, он и вовсе зверел. Казалось, товарищ Сталин был живым, страшным и карающим, а не куском ткани, натянутой на раму. Великан управлял ветрами, судьбами и жизнью людей. От ужаса Ромка сжался в комок, держа над головой портрет. Его руки вросли в раму и одеревенели. Единственная мысль жгла мозг: «не упустить... не сломать... не порвать портрет вождя...». Ромка хорошо знал, – если даже в мыслях повредишь товарищу Сталину, тебя достанут бойцы невидимого фронта.

Очередной шквал все-таки сбросил Ромку с крыши. Он упал на спину, продолжая держать над собой целёхонький портрет лучшего друга советских пограничников. К нему подбежал старлей. Засунув руку за воротник, закричал:

– Жив, жив!

Солдаты сгрудились над ними.

– Всем десять шагов назад! – скомандовал замполит.

Ромка открыл глаза. Офицер пытался оторвать его руки от портрета любимого вождя, но ничего не получалось. Прижавшись к уху, прошептал:

– Эх, Кунцевич, пройдёт немного времени, и ты поймёшь, что падать следует так, чтобы намалёванный покойник оказался под задницей. Ромка поперхнулся. Офицер прижал палец к своим губам.

Давид Яновский

СОГЛАСНО ТАЛМУДУ

Лишь тот, пред кем ты виноват,
Тебя простить имеет право,
И не простят ни рай, ни ад
Убийце грех его кровавый,

Просить прощенья, смысла нет.
Песком засыпаны те уши,
Которые напрасный бред
Раскаянья могли бы слушать.

Забит сухой землёю рот,
И сердце червь безглазый гложет.
Мольба до сердца не дойдёт,
Рот ничего сказать не может,

Простить убийц не могут кости
Тех, кто погибли в Холокосте.
Лишь чёрный камень на могиле
Кричит «Запомни: их убили!»

* * *

Что сделано, то сделано. Молчи!
Не вороши опавших лет громаду,
С бессонницей беседа в ночи,
Судить посмертно прошлое не надо.

Не выясняй, кто прав, кто виноват.
Не раздувай ошибок дирижабли,
Ведь суждено нам много раз подряд
Невольно наступать на те же грабли.

И планов упоительных не строй.
Зачем давать для смеха Богу повод?
Рассеет жизнь мечтаний зыбкий рой,
Замучит память, цепкая как овод.

Не вдаль и не назад, – смотри под ноги,
Чтоб не споткнуться посреди дороги.

* * *

Птица счастья прихотлива и капризна:
Если где и сядет – ненадолго.
И напрасны все мольбы и укоризны,
Все уловки и расчёты - всё без толка.

Если счастье упорхнуло отчего-то,
Жди спокойно возвращения птицы.
Ты надейся и готовь к её прилёту
Место, где удобно ей садиться.

* * *

Как трудно даже самым близким
Услышать и понять друг друга!
Живём подобно василискам
Внутри очерченного круга.

В своей вселенной каждый заперт
Гордины чёрною дырою.
Не вырвется на волю капер
Из тихой гавани покоя.

Лишь изредка протуберанцы
Бурлящих чувств летят наружу,

И в их неукротимом танце
Мы видим подлинную душу.

СВЕЧА НА ВЕРАНДЕ

Тоскует на столе свеча,
Текут и застывают слёзы.
Застывших слёз литые розы
Сплелись в подобье калача.

Росток огня на тонкой ножке
Качается в прозрачной луже,
И стайкой мотыльки и мошки
Над пламенем отважно кружат.

ОСЕННЕЕ

Осенний лист легко слетает
С озябших клёнов и рябин.
Осенний снег мгновенно тает
Под натиском рифлёных шин.

Осенний дождь несёт простуду,
Осенний воздух густ и сыр,
Тоска осенняя повсюду,
Осенний сад убог и сир.

Осенний ветер мечет в стёкла
Песок и листья, дождь и снег.
Осенний луч мерцает блёкло,
Как взгляд из-под усталых век.

Осенних дум летят полотна
Подобно тучам в ноябре,
И только дети беззаботно
По лужам скачут во дворе.

МУЗЫКА

«Опять Шопен не ищет выгод»

Б.Пастернак

Опять рояль ломает пальцы
И буря рвёт тугие снасти.
Опять дрожат на струнных пяльцах
Распятые аккордом страсти.

Опять смычка шальные ласки
Кончаются любовным стоном,
И звуки сказочной окраски
Плывут над залом и балконом.

Душа на волю жадно рвётся
Из тесноты земного плена,
И дно бездонного колодца
Взлетает в небеса мгновенно.



Публицистика. Мемуары. Эссе

Карл Абрагам

**БЕРЛИНСКАЯ БОГЕМА
В ГОДЫ ВЕЙМАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(1919–1932)**

Памяти Марка Шейнбаума

Война проиграна. Монархия пала. Кайзер низложен. В Германии установилась парламентская республика. Первая демократическая конституция немецкого государства, принятая в Веймаре, вступила в силу. «Хлеба и зрелищ» требовал римский плебс от императора. Так было не только в древнем Риме. Так было во все времена и эпохи. Что касается послевоенной Германии, то с «хлебом» было довольно туго. Народ жил впроголодь. Вместо натуральных продуктов в магазинах часто продавали эрзацы. Очень скоро у берлинских вокзалов появились лоточники, продававшие горячие сосиски. Чем эти сосиски были нафаршированы, сказать трудно. Коричневую бурду в кафе именовали не иначе как «мокко». Пирожные делали из мёрзлой картошки. Очевидец пишет: «Берлинцы, как и прежде, курили сигары, и назывались они «гаванскими» или «бразильскими», хотя были сделаны из капустных листьев, пропитанных никотином. Всё было чинно, по-хорошему, почти как при кайзере».

Ну а «зрелищ» было более, чем достаточно. В 1927 году в Берлине работали 49 драматических театров, три оперных, три больших варьете и семьдесят пять кабаре. В 1928 году город располагал 16000 ресторанами и кафе, 220 барами и танцевальными площадками. В 1929 году в германской столице было триста шестьдесят три кинотеатра, сорок семь киностудий, выпускавших в год двести пятьдесят игровых фильмов.

Творческий потенциал учёных Германии в то время был необычайно высок. Только в Берлинском университете в те годы работало свыше сорока нобелевских лауреатов. В 1926 году при Прусской академии искусств была создана секция литературы, куда вошли Альфред Дёблин, Арно Гольц, Людвиг Фулда, Рикарда Гух и Томас Манн. Возглавил секцию Генрих Манн. В городе успешно работал целый ряд известных издательских домов: С. Фишера, Е. Ровольта, Б. Кассирера, Г. Кипенхойера и братьев Ульштайнов. Издавалось сорок пять утренних, двадцать дневных и четырнадцать вечерних газет. Широкое распространение получили радиовещание, кинофильмы и грампластинки.

Там, где сейчас высится «Европа-Центр», когда-то стояло огромное здание, построенное в неороманском стиле в самом конце 19 века по замыслу архитектора Ф.Г. Швехтена. До 1916 года в «Романском доме» находилась кондитерская, затем – кафе, вошедшее в историю берлинской богемы как «Романское кафе». Кафе стало местом встречи писателей и поэтов, актёров и режиссёров, художников и композиторов. Здесь вели ожесточённые споры журналисты и критики, здесь ожидали своего звёздного часа многие молодые дарования. Эрих Кестнер, автор известной книги для детей «Эмиль и детективы», назвал это кафе «залом ожидания талантов». Кафе находилось на первом этаже. Слева от входа располагался небольшой квадратный зал, в котором размещались двадцать столиков, справа – значительно больший по размерам прямоугольный зал, в котором было семьдесят столиков. Первый назывался «Бассейном для пловцов», т.е. для литераторов, уже заявивших о себе, второй – «Бассейном для неумеющих плавать», то есть для тех, в ком только проклюнулся дар писателя, поэта, художника. Каждый сверчок знал свой шесток. Считалось неприличным безвестным, начинающим писателям занимать место за столом в «Бассейне для пловцов». Молодые люди приходили сюда в надежде встретить друзей и меценатов. Второй этаж «Романского дома» был отдан под выставочный зал. Но по своему назначению это помещение использовалось редко. Чаще всего в нём играли в шахматы. На верхних этажах жили врачи, адвокаты и другая солидная публика. Наружная застеклённая веранда кафе существовала исключительно для туристов и любопытных. Туристам показывали «Романское кафе» как достопримечательность, подчёркивая, что кафе является «поперечным срезом» города.

Желанными посетителями в этом заведении были фотогра-

фы, представители прессы, репортёры, конференсье, киноактёры. Здесь можно было встретить не только будущих артистов, художников и литераторов, но и специалистов по бракоразводным делам, а также известных психиатров. Захаживали сюда и девицы не очень тяжёлого поведения. Илья Эренбург, несколько раз бывавший в Берлине, пишет: «На фасадах домов по-прежнему каменели большегрудые валькирии. В квартале, облюбованном иностранными мародёрами и новыми богачами, которых звали «шиберами» (спекулянтами – К.А.), помещалось «Romanisches Cafe» – приют писателей, художников, мелких спекулянтов, проституток». Ну что тут скажешь? Каждый видит то, что он хочет видеть. Мне кажется, что присутствие в этом заведении проституток, конечно же, не являлось типичной приметой данного кафе. В любом ресторане есть девицы, которые весь вечер сидят за стойкой бара и потягивают лимонад в ожидании, что их кто-нибудь «снимет». Что до Ильи Григорьевича, то он был и сам не прочь прошвырнуться по значным местам ночного Берлина (см. И. Эренбург «Люди, годы, жизнь», СП, кн. 3, стр. 16).

Кстати, вот стихотворение поэта-экспрессиониста Пауля Цеха, в котором автор выразил своё отношение к этому средоточию богемы. Оно называется «Романское кафе».

*В кафе, вблизи кирхи поминовения,
Завсегдатаи – молодые поэты,
И девицы еврейские с матерями,
Полногрудые, или только с прыщами.*

*Но поэты им по душе, как видно.
Из их общения книга рождается, –
стихи об эротике. Тем не менее,
книгу одели в сафьян с тиснением.*

*А когда поэты получают известность,
в кафе уж совсем бывать перестанут.
Женятся, на грудь им повесят награды,
бюргеру для реноме это ведь надо.*

*К жизни концу их объявят классиками
(увь, – это иная история!). Но
вернёмся в кафе, к кокашну, к богеме,
к премии Клейста, к девицам, к другой теме.*

Перевод Л. Бердичевского

«Романское кафе» как явление в культурной жизни города возникло не на пустом месте. До 1916 года берлинская богема обреталась в другом заведении, в «Кафе Запада», на углу Курфюрстендамма и Йоахимсталерштрассе, там где сегодня находится кафе «Кранцлер». Второе название кафе «Мания величия»; название, не имевшее никакого отношения ни к хозяину заведения, ни к его посетителям. Оно возникло по ассоциации с мюнхенской кофейней того же названия. В начале XX века под этим слоганом в Мюнхене прошёл карнавал художников, участники которого были затем приглашены в небольшое богемное кафе «Стефани». С тех пор к баварскому кафе прилепилось его второе название «Мания величия». С 1905 года в «Кафе Запада» выставляли картины художники-импрессионисты Макс Либерман, Вальтер Лейстиков и Франц Скарбина. Международный авангард был представлен произведениями Э. Мане, К. Моне, Василия Кандинского, А. Матисса и П. Пикассо. Этими выставками и прославилось кафе. Там же впервые был представлен новый вид искусства – кабаре, позаимствованный у французов.

Вот как современники описывают эту точку «общепита»: «Маленькое, низкое, плохо проветриваемое помещение, состоящее из двух комнат, соединённых между собой. На стенах дешёвые гобелены, провонявшая дымом штукатурка. Но именно эта теснота, недостаток вентиляции и создавали особый уют кафе. Это то, что привлекало сюда молодых художников Берлина. В своих мастерских им было неудобно, а зимой вдобавок ко всему ещё и безобразно холодно». Еда в кафе была вкусной, заведение славилось своей венской кухней. Официанты были одеты во фраки.

Это маленькое кафе посещали не только художники, но и литераторы. В 1901 году поэтесса Эльза Ласкер-Шюлер вышла замуж за искусствоведа Герварта Вальдена (псевд. Г. Левина). Большую часть свободного времени они проводили в кафе. Вальден сумел собрать возле себя известных поэтов и писателей: Эриха Мюзама, Рихарда Демеля, Альфреда Дёблина. Сюда можно отнести антиквара Пауля Кассирера с его женой, актрисой Тиллой Дюро. Здесь в 1914 году впервые встретились Леонгарт Франк, известный русскому читателю по романам «Оксенфуртский мужской квартет», «Слева, где сердце» и «неистовый репортёр» Эгон Эрвин Киш. В своих воспоминаниях Киш писал: «Мы вели ожесточённые бои о литературе с четырёх часов дня до пяти утра. Понятия не имею, когда мы писали свои книги».

Кстати, Эрвин Киш прославился тем, что первым опубликовал материал о полковнике генерального штаба австрийской армии Альфреде Редле, который в течение 12 лет успешно занимался шпионажем в пользу России. Однако, основная заслуга Эрвина Киша состоит в том, что он жанр репортажа поднял до уровня литературного произведения. После смерти его рассматривали как классика журналистики.

Примерно с 1907 года в «Кафе Запада» встречаются первые экспрессионисты (Георг Гейм, Эрнст Блас, Яков ван Ходдис, Альфред Лихтенштейн). По вечерам здесь играли в слова, слова-перевертыши, сочиняли стихи на заданные рифмы (буриме). Их писали на ещё не оплаченных счетах и на полях газет. Чтобы газеты не растаскивали (здесь не надо было платить за них), хозяин кафе, господин Паули завёл такой порядок: на каждой газете ставилась печать «Украдено в «Кафе Запада». За распределением газет и журналов следил уважаемый посетителями человек, кельнер, «рыжий Рихард». Оберкельнером кафе был господин Хан, совмещавший несколько должностей. Кроме непосредственных обязанностей, Хан был доверенным лицом наиболее влиятельных посетителей кафе и человеком, дававшим в долг. У него было тайное соглашение с некоторыми меценатами, которые молча за кого-то расплачивались, например, Пауль Кассирер за счета Эльзы Ласкер-Шюлер, братья Ульштайны – за Эриха Мюзама. Старое кафе перестало существовать в 1915 году.

Вернёмся к «Романскому кафе» и его посетителям. Интерьер кафе отличался удивительной бесвкусицей, сравнимой разве что с залом ожидания самого захудалого вокзала Германии. Еда была плохой, рассчитанной на случайных посетителей. Хозяин кафе говорил по этому поводу: «Постоянные клиенты едят в других местах, по крайней мере те, кто при деньгах. Те, у которых нет денег, заказывают яичницу из двух яиц, которую ещё и делят пополам». Можно было целый день сидеть в кафе за чашкой кофе, и только в редких случаях такому посетителю указывали на дверь. Перед ним ставилась табличка, на которой можно было прочесть: «Вас просят наше заведение после оплаты счёта покинуть и более сюда не возвращаться». Швейцар бдительно следил за тем, чтобы отлучённые от кафе больше в нём не появлялись.

Атмосфера в этом заведении была более деловой и прагматичной, чем в «Кафе Запада». Сюда приходили, обычно, на 2-3 часа, чтобы обговорить некоторые проекты, поиграть в шахматы, подискутировать. Журналист Ю. Шебера пишет: «Посетители

«Романского кафе» были не столь безрассудны, как завсегда таи «Кафе Запада». Они не декламировали отрывки из «Илиады», не сочиняли трилогии в гекзаметрах и не изображали на холсте идиллию а' la Raffael». В кафе много курили. Один из посетителей упоминает «зеркало, ослепшее от сигаретного дыма». С годами количество гостей становилось всё больше, а помещение более прокуренным. Постоянные посетители называли в шутку это заведение не Romanisches Cafe, а Rachmonisches, что в переводе с иврита значит *достойное сожаления*. Здесь обыгрываются два слова: Rachmon и Rauch (дым). Кафе располагало всеми томами энциклопедии Брокгауза, неизвестно какими путями попавшими туда. К услугам посетителей было два таксофона. Один почти всегда неисправный, у другого выстраивалась очередь не в меру возбуждённых журналистов, спешивших передать в газету свой материал. С некоторыми из них случались истерики.

Среди постоянных посетителей кафе большинство составляли писатели. Невозможно в короткой статье всех упомянуть и обозначить их заслуги перед литературой. Ограничусь лишь кратким перечнем наиболее известных писателей с их сочинениями, ставшими классикой. Среди них – драматург Карл Цукмайер, – автор пьесы «Капитан из Кёпеника». Ему же принадлежит сценарий к кинофильму «Голубой ангел», (по роману Генриха Манна «Учитель Гнус»), принесший мировую славу Марлен Дитрих. Музыка к кинофильму сочинил Фридрих Холлендер, много писавший для эстрады и часто посещавший знаменитое кафе. К числу завсегда таев кафе следует отнести доктора Альфреда Дёблина, описавшего жизнь берлинского дна в нашумевшем романе «Берлин, Александерплац». Гостем кафе был всемирно известный драматург и режиссёр Бертольд Брехт («Трёхгрошовая опера»), а также редактор «Еврейского обозрения» (1923) Арнольд Цвейг, автор романов «Новеллы о Клавдии» (1912) и «Вандсбекский топор», рукописный текст которого был переведен на иврит и издан в Палестине в 1943 году.

Остановимся несколько подробнее на фигуре Бертольда Брехта. Вот каким запомнился облик драматурга будущему лауреату Нобелевской премии по литературе, австрийскому писателю Элиасу Канетти: «Необыкновенно худой, с изголодавшимся лицом, выглядевшим благодаря кепке несколько перекошенным. Слова, которые он отсекал, были деревянными, без какой-либо эмоциональной окраски. Под колющим взглядом его чёрных глаз ты чувствовал себя некой вещью, а он оценщиком её.

Говорил мало, о результатах своей оценки никому не сообщал. Он выглядел значительно старше своих тридцати. Создавалось впечатление, что он всегда таким был. Носил чёрную кожаную куртку с таким же галстуком, в углу рта торчала сигара».

Дебют «Трёхгрошовой оперы» состоялся 31 августа 1928 года. До 1930 года в Германии прошло 10 000 представлений этого спектакля. Критика по-разному отнеслась к пьесе. Курт Тухольский, например, не только хвалил вещь, но и обвинил Брехта в том, что тот воспользовался в своём произведении отрывками из Ф. Вийона и Д. Р. Киплинга, не сославшись при этом на первоисточник, т. е. обвинив автора, по существу, в плагиате.

В числе завсегдатаев «Романского кафе» был поэт-экспрессионист Готфрид Бенн, стихи которого переведены почти на все языки мира. Первые публикации поэта появились в 1912 году. В том же году у него возник роман с Эльзой Ласкер-Шюлер, которая посвятила ему лучшие стихи о любви. Позднее, в письме к своему приятелю Ф.Б. Ёлце, Бенн сообщает: «Ja, sie war mal meine Freundin». Заметим, что поэтесса была старше Бенна на 17 лет.

Как известно, прокормиться литературным трудом во все времена удавалось совсем немногим, даже очень известным писателям. За 14 лет литературной деятельности ему удалось заработать 975 марок, в то время как месячное жалование первой скрипки небольшого оркестра составляло 1500 марок, дирижёра оркестра кинотеатра 4000 марок, актрисы среднего дарования 2000 марок в месяц. Врач по образованию, Бенн проработал несколько лет в клинике ординатором, а затем открыл собственную практику по кожным и венерическим болезням. Как военный врач прошёл обе Мировые войны. Некоторое время разделял идеологию нацистов. Очень скоро разочаровался в ней. В ответ на это власти запретили Бенну заниматься литературной деятельностью. В 1945 с приходом Красной Армии был арестован, но в связи с нехваткой врачей, выпущен на свободу.

Молодые люди, посещавшие кафе, часто бывали без средств. Многие не могли заплатить даже за чашку кофе. Не считалось зазорным попросить в долг. Другие без особых утрызений снести просили «угостить» их. Журналист Пауль Эрих Маркус (ПЕМ) рассказывает историю молодого человека, Самуила Вильдера (Billy Wilder), приехавшего из Вены без копейки, не имевшего ни рекомендательного письма, ни родственников в Берлине. Он с вокзала сразу же направился в «Романское кафе». Здесь

он выпросил себе чашку кофе, а затем напросился переночевать у Маркуса. Несмотря на свой юный возраст, Wilder зарекомендовал себя превосходным журналистом. Кроме этого, он прекрасно танцевал и прилично говорил по-английски, что позволило ему в качестве жиголо зарабатывать себе на хлеб. Покинув Германию в 1934 году, он, Билли, теперь уже Уайлдер, сделал блестящую карьеру как один из значительных кинорежиссёров Голливуда.

К числу самых выдающихся попрошаек кафе следует отнести кабаретиста Антона Ку. Его остроумные миниатюры об искусстве и политике были хорошо известны по выступлениям в театре на Кудамме. В «Романском кафе» он появлялся редко. Худой, с моноклем, он часто шлёпал себя ладонью по лицу. Любил заходить в ресторан гостиницы «Адлон», куда простым смертным вход был заказан. Там останавливались такие знаменитости, как Томас Манн, наезжавший в Берлин из Мюнхена, и Герхард Гауптман. Испытывая постоянную нужду, Антон Ку умудрялся пить и есть за счёт этих знатных господ, а то и просто просить в долг. Не следует забывать, что Ку был превосходным рассказчиком. Лучше, чем он, рассказывать анекдоты мог, пожалуй, только Э. Киш. Когда Ку спрашивали, как он рассчитывается в «Адлоне», он говорил: «Я им уже столько задолжал, что гостиница, как бы это сказать, уже принадлежит мне». Когда с деньгами было особенно сложно, он обращался к Максу Рейнхардту с просьбой предоставить ему сцену Немецкого театра в утренние часы. Его выступления на подмостках этого театра пользовались огромным успехом.

В двадцатые годы в Берлине родился новый вид кабаре, созданный из политически-агрессивных и скандальных песен. Тексты к ним сочиняли Вальтер Меринг, Курт Тухольский и Клабунд (псевд. Альфреда Геншке). Эта тройка была частым гостем «Романского кафе». Музыку писали известные берлинские композиторы, в том числе и соавтор «Трёхгрошовой оперы» Курт Вайль. Довольно часто кафе посещал будущий прозаик Эрих Мария Ремарк. Свой первый роман «На Западном фронте без перемен» он написал в 1928 году. Спустя два года в США вышел кинофильм по этой книге. Премьера фильма в Берлине состоялась в театре «Метрополь», что на Ноллендорфплац. Национал-социалисты сорвали демонстрацию, запустив в зал белых мышей и закидав помещение зловонными бомбами.

Среди многих неординарных личностей «Романского кафе» нельзя оставить без внимания имя поэта и прозаика Йоахима

Рингельнатца, писавшего юмористические стихи и короткие рассказы для эстрады. Человек интересной судьбы, Рингельнатц пользовался огромной популярностью не только среди жителей Берлина. Он объездил с концертами все большие города Германии. Этот человек владел тридцатью профессиями. Без ведома родителей он нанялся юнгой на парусное судно и за четыре года успел увидеть многие страны. Свои впечатления о нелёгкой жизни матроса он изложил в 1911 году в книге «Дневник юнги». Он известен не только как литератор, но и как художник. Достаточно сказать что в 2004 году его картина «Портовый кабачок», считавшаяся пропавшей, ушла с аукциона за 43300. В том же году в Германии была учреждена литературная премия его имени. Я интересовался у многих берлинцев, родившихся после Второй Мировой войны, знакомо ли им имя писателя, и каждый раз получал утвердительный ответ.



Романский дом в Берлине

В начале 1930 года в «Романском кафе» появилась пока ещё никому неизвестная поэтесса Маша Калеко. Первые её стихи были опубликованы годом раньше в журнале «Querschnitt». Она быстро сошлась с берлинским авангардом. После захвата власти нацисты совершили облаву на «Романское кафе». Маша была там с Вальтером Мерингом. Увидев людей со свастикой, она

предупредила его: «Уходите немедленно, иначе вас арестуют!». В ту же ночь Меринг улетел в Париж. А вот ещё одна подробность из её биографии: В 1959 году Маше Калеко должны были вручить литературную премию имени Т. Фонтане. Вместе с дипломом награждаемый получал 4000 немецких марок. Узнав, что в жюри сидит бывший эсесовец, она отказалась от премии: «Сожалею, но как еврейка я принять эту награду из рук нациста не могу». Её стихи высоко оценивали такие выдающиеся люди, как А. Эйнштейн, Герман Гессе и Т. Манн.

Известный немецкий издатель Бруно Кассирер сказал как-то: «Трудно себе представить какую-либо литературу без кафе. Человек в кафе совсем иной, чем за своим рабочим столом. Здесь проявляются затаённые мысли писателя и осуществляются его мечты». Слова эти, разумеется, нельзя понимать буквально.

Конечно, Б. Брехт сочинил «Трёхгрошовую оперу» не в кафе и не в ресторане, а в своей квартире на Шпихернштрассе, а Леонгард Франк писал свои книги не в «Романском кафе», а за своим рабочим столом в Груневальде. В порядке исключения следует назвать двух литераторов – Эриха Кестнера и Йозефа Рота, писавших свои книги и статьи исключительно в кафе. Э. Кестнер, известный не только своими книгами для детей, но и лирическими и остросатирическими стихами, появился в Берлине в 1927 году. До этого писатель сотрудничал в одной из лейпцигских газет. Был уволен оттуда за то, что позволил себе к 100-летию со дня смерти Бетховена поместить на её страницах фривольную заметку о композиторе. Попав в столицу, Кестнер очень быстро встал в один ряд с лучшими писателями современности. Кроме «Романского кафе», его можно было видеть в «Леоне» и в «Карлтоне». Именно там были написаны «Эмиль и детективы» и книга стихов «Сердце на талии». В годы нацизма Кестнер оставался в Германии. Его несколько раз допрашивали в гестапо, исключили из имперского союза писателей. Он был очевидцем, как его книги, «противоречащие немецкому духу», 10 мая 1933 года сжигали вместе с другими книгами на площади у оперного театра. Его именем названа одна из школ Петербурга.

Йозеф Рот, как сказали бы теперь, был человеком без определённого места жительства. Уроженец местечка Броды, что в Западной Украине, Рот появился на берлинском литературном небосклоне в начале двадцатых годов уже известным журналистом. В письме к Стефану Цвейгу он писал: «Я никогда не имел собственной квартиры, кроме трёх чемоданов у меня ничего нет». В

поисках материала для статей он объездил все крупные города Европы, работал по десять часов в сутки. Посещая Берлин, останавливался в гостинице «Am Zoo», писал либо в кондитерской «Schneider», либо в ресторане «Mampestube» (оба в двух шагах от дома). Свои очерки и книги писал, приняв изрядную дозу спиртного. Он вёл с посетителями ресторана непринуждённую беседу, как вдруг прерывал её словами: «Вы тут поговорите, а я тем временем немного поработаю». Этот постоянно странствующий репортёр оставил нам не только свои блестящие статьи, но и несколько романов. Среди них «Иов» (об истории одной еврейской семьи) и «Марш Радецкого». Писатель ратовал за бережное отношения к языку. Обращаясь к собратьям по перу, говорил: «не делайте салат из немецкого языка». С деньгами Рот обращаться вовсе не умел. Он прогуливал заработанное им с друзьями в ресторане, делал знакомым дорогие подарки, по-царски вознаграждал швейцара гостиницы, либо страшно нуждался, не имея возможности заказать себе даже чашку кофе. По сути, Рот был очень одиноким человеком. Вернувшись в 1926 году из поездки по Советскому Союзу, он записал: «Одиночество моё огромно и непереносимо».

Художники имели свой стол и были представлены такими именами как Макс Либерман, Макс Слефогт – один из ведущих немецких художников-импрессионистов (широко известен его «Автопортрет с супругой»), Отто Дикс – художник экспрессионист, сумевший в утрированной форме изобразить ужасы войны и нищету большого города, Эмиль Орлик, снискавший славу великолепного портретиста, и Георг Грос (ученик Орлика), один из основоположников дадаизма, автор серии графических работ «С нами Бог» с их острой пацифистской направленностью.

Зарубежные знаменитости считали своим приятным долгом посетить «Романское кафе», чтобы познакомиться с коллегами, а возможно, и завести деловые связи. Сюда захаживали Томас Стернз Элиот, Андре Жид, Синклер Льюис, Луиджи Пиранделло, из русских эмигрантов – Владимир Набоков, Марина Цветаева и уже упомянутый Илья Эренбург.

Излюбленным местом встречи актёров был ресторан «Шваннэке», который находился в двух минутах ходьбы от «Романского кафе» по Ранкештрассе 4. Берлинские театры были широко известны благодаря режиссёрам Максу Рейнхардту, Леопольду Эснеру, Юргену Фелингу и Эрвину Пискатору. Ресторан был не дешёвым, еда – превосходной. Хозяин ресторана Виктор Шван-

нэке сочетал в себе задатки актёра и ресторатора. Он играл в «Лисистрате» Аристофана и в «Игроке» (по Достоевскому). Шваннэке проявил себя и как режиссёр: в 1923 году им был поставлен «Пигмалион» Б. Шоу. Премьеру отметили в его ресторане.

Театральная публика собиралась, как водится во всём мире, в «Шваннэке» после вечерних спектаклей и не только пила и ела, но и разбирала «не взирая на лица» театральные постановки этого вечера. К 24 часам материал отправлялся в газету, которую разносчики получали в 6 часов утра. В ресторан их доставляли к 8 часам утра, к завтраку, после чего актёры и их поклонники отправлялись спать.

В 1925 году, отбывая тюремное заключение, Гитлер изложил на страницах книги «Mein Kampf» своё мировоззрение и свои маниакальные планы. До 1933 года книга издавалась 77 раз. Думающая часть нации – интеллигенция – не сомневалась, что Гитлер будет рваться к власти и попытается осуществить свой людоедский замысел по уничтожению евреев, цыган и превращению славянских народов в рабов. Но человечество не могло знать, какие масштабы примет этот бесчеловечный план. Ещё не было ни душегубок, ни газовых камер, ни печей крематориев, но люди, из чувства самосохранения, с приходом Гитлера к власти, а некоторые ещё раньше, стали покидать Германию. Большая часть упомянутых мною действующих лиц этого очерка эмигрировала в США. Некоторые остались в Рейхе и заплатили за это своей жизнью. Вот только два примера: поэт и прозаик Яков ван Ходдис (1887-1942) страдал психическим заболеванием. Первые признаки шизофрении проявились у него ещё в 1914 году. В 1933 году Ходдис интернирован в одну из психиатрических лечебниц Германии. В 1941 году последовала депортация. Погиб в концлагере Собибор (Польша) в 1942 году.

Поэт, драматург, публицист и ярый антифашист Эрих Мюзам (1878-1934) был одним из вождей Баварской Советской республики 1918 года. Осуждён за это на 15 лет тюремного заключения. В 1924 году амнистирован. После поджога Рейхстага арестован и помещён в концлагерь Ораниенбурга. В июле 1934 года забит эсесовцами до смерти, а затем повешен.

Широко образованный и разносторонне одарённый человек, Герварт Вальден (1878-1941) сделал свой выбор: он уехал из Германии, и будучи коммунистом, эмигрировал в 1932 году в Советский Союз. Работал там в качестве преподавателя Московского института иностранных языков. В 1938 году арестован. Спустя

три года умер в саратовской пересыльной тюрьме.

Роль «Романского кафе» в культурной жизни Берлина в последние годы Веймарской республики постепенно сошла на нет. Захват власти нацистами привёл к тому, что большинство завсегдатаев кафе вынуждено было покинуть Германию. В ноябре 1943 года во время бомбового налёта Романский дом был полностью разрушен. Через 16 лет на его месте возник Европа-Центр, привлекающий внимание горожан и туристов сегодня в такой же степени, как «Романское кафе» в годы Веймарской республики.

Literaturpura: 1. W. Feyerabend Berlin, Eine literarische Entdeckungsreise WBG, 2010, S. 219

2. P. E. Marcus (PEM) Heimweh nach dem Kurfürstendam Ullstein, 1986 S. 247

3. J. Schebera Damals im Romanischen Cafe Berlin, Das Neue Berlin, 2005, S. 125

Многие деятели немецкой культуры, упомянутые в статье, были евреями. Считаю необходимым перечислить их поимённо:

Блас, Эрнст (1890-1939) – поэт-экспрессионист.

Вайль, Курт (1900-1950) – композитор, написал музыку к «Трёхгрошовой опере», автор двух симфоний, кантаты и ряда произведений для ф-но.

Вальден, Герварт (собст. Г. Левин) (1878-1941) – писатель, музыкант, искусствовед.

Дёблин, Альфред (собст. П. Линке) (1878-1957) – врач и писатель. Автор книги «Берлин, Александрплац», сборника статей «Немецкий бал-маскарад».

Калеко, Маша (1907-1975) – поэтесса («Тетрадь лирических стенограмм» и др.).

Кассирер, Бруно (1872-1941) – издатель.

Киш, Эгон Эрвин (1885-1948) – журналист, принимал участие в войне республиканцев в Испании.

Ласкер-Шюлер, Эльза (1876-1945) – поэтесса, художник. Автор сборника стихов «Еврейские баллады» и «Мой голубой рояль», умерла в Иерусалиме.

Либерман, Макс (1847-1935) – крупнейший художник-импрессионист.

Лихтенштейн, Альфред (1889-1914) – поэт-экспрессионист.

Маркус, Пауль Эрих (1901-1972) – журналист.

Мюзам, Эрих (1878-1934) – поэт, драматург, публицист. Убит нацистами.

Орлик, Эмиль (1870-1932) – живописец, график, театральный художник.

Рейнхардт, Макс (собст. М, Гольдман) (1873-1943), выдающийся немецкий режиссёр.

Рот, Йосиф (1894-1939) – журналист, прозаик («Гостиница Савой», «Мятеж»). Умер во Франции.

Уальдер, Билли (собст. Самуил Вильдер) (1906- 2002) – выдающийся американский кинорежиссёр («В джазе только девушки», «Свидетельница обвинения» и др.). Обладатель шести «Оскаров».

Ульштайн (братья) – династия издателей.

Фишер, Самуил (1859-1934) – издатель.

Фулда, Леопольд (1862-1939) – драматург, переводчик. Покончил жизнь самоубийством.

Ходдис, Яков ван (собст. Г. Давидсон) (1887-1942) – поэт экспрессионист, Погиб в концлагере.

Холлендер, Фридрих (1896-1976) – композитор, автор многочисленных песен, написал музыку к 20 кинофильмам.

Цвейг, Арнольд (1887-1968) – прозаик («Спор о сержанте Грише», «Воспитание под Верденом» и др.). Президент Академии искусств ГДР.

Цех, Пауль (1881-1946) – поэт-экспрессионист, прозаик («Голгофа»), пацифист. Умер в Буэнос-Айресе.

Эснер, Леопольд (1878-1945) – режиссёр театра и кино.



**Леонид
Бердичевский**

БРУНО ШУЛЬЦ

*(Заметки о писателе
и художнике)*

В ряду крупнейших мастеров мировой культуры, обозначивших себя выдающимися достижениями одновременно в разных ипостасях своего творчества, по праву следует назвать и имя Бруно Шульца.

В последние годы, его литературные работы вызывают всё больший интерес читателей и исследователей. В зарубежной прессе его сравнивают с Ф. Кафкой и даже с Д. Джойсом (вопрос спорный!).

На русском языке были изданы его романы «Коричные лавки» и «Санаторий под клепсидрой», а также библиографический указатель его сочинений.

Однако, живописные и графические его работы, увы, малоизвестны. Скупые строки на страницах интернета не в состоянии заполнить эту лауну в мировом искусстве. Да и не все читатели являются пользователями интернета. Целью этих заметок является, хотя бы чисто информативно, познакомить читателей с этой стороной творчества Бруно Шульца.

Сперва хотелось бы привести наиболее важные вехи жизненного и творческого пути мастера, которые сформировали его талант, его жизненную позицию.

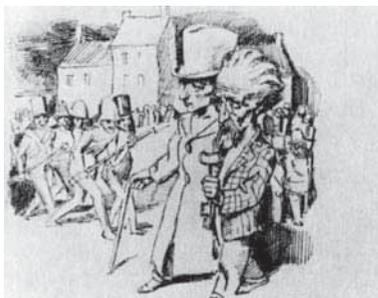
Бруно Шульц родился 12 июля 1892 года в Польше (ныне Украина), в городе Дрогобыче, в еврейской семье. Родители его, Яков

и Генриетта (девичья фамилия Гендель-Кумеркер), имели небольшую мануфактурную лавку, которая давала семье средства к существованию.

В 1902 году Бруно поступил в местную гимназию имени кайзера Франца-Иосифа, здесь же появляются и его первые рисунки. В 1910 году он предпринял попытку поступить в Академию художеств. Не будучи туда зачисленным, он был принят на архитектурный факультет Львовского технического университета, но из-за частых болезней так и не смог его закончить.

Рисования он никогда не бросал, занимаясь самообразованием, поисками своего стиля, своего творческого почерка. Позже, в 1914-15 годах проходил курс занятий в Вене. Возвратясь в Дрогобыч, преподавал рисование в Ягеллонской гимназии, одновременно участвуя в выставках сериями графических листов и портретов. Он неоднократно пытался получить систематическое художественное образование в Краковской академии искусств, где сдал экзамены и получил первую ступень

Его выставка вместе с Анной Кршимской и Станиславом Подгорским проходит в Кракове в 1931 году, он обращает на себя внимание зрительской аудитории и искусствоведов. Шульц получает известность и в кругах польской интеллигенции.



Появляются заказы от издательств и газет.

В 1931 году Шульц выставлял ряд своих серий на коллективной выставке «Друзья искусства» в Кракове. С 1933 года полностью переключается на литературную деятельность. Первая публикация – рассказ «Птицы». Принимает активное участие в целом ряде объединений и отдельных групп: «Сигналы», «Пион», «Студио», «Скамандер» и других. В 1934 году в издательстве Рой выходит первая его книга – роман «Коричные лавки» с предисловием Зофи Налковской и сборники рассказов «Книга» и «Гениальная эпоха». С 1935 года работает над романом «Мессия», однако, он остался незавершённым из-за надвигающейся войны. Получает признание, как крупный писатель новой формации. Дружит и сотрудничает с писателями, заявившими себя строителями новой литературы, новых тенденций в современной Польше. Достаточно назвать имена таких писателей ставших впоследствии мастерами слова, как Юлиан Тувим, Антоний Слонимский, Адольф Новацинский и другие.

В «Варшавских ведомостях» публикуются рассказы Бруно Шульца и стихи Войцеха Бэка, оказавшие влияние на молодых, начинающих авторов. Шульц перевёл на польский язык роман Ф.





Кафки «Процесс». В 1936 году в польском «Иллюстрированном ежегоднике» публикует свои эссе «Мифическая правдивость» и «Республика Мечты», которые носят политический характер. В 1937 году в издательстве Рой выходит основной роман Бруно Шульца «Санаторий под клепси-дрой», переведенный на немецкий язык и через год – ряд фрагментов «Осень» с предисловием видного критика того времени, Витольда Гомбровича.

К началу войны Шульц возвращается в Дрогобыч, продолжает работу в гимназии. К этому времени появляются его новые серии графических листов с узниками Дрогобычского гетто.

Гестапо и их пособники проводят погромы и массовые уничтожения еврейского народа.

19 ноября 1942 года Бруно Шульц был убит на одной из улиц Дрогобыча. Позже было установлено имя его убийцы, – это гестаповец Карл Гюнтер.

После войны Шульц был признан лучшим польским писателем. Его произведения выходят большими тиражами и переведены на многие языки мира.

Познакомившись с биографическими данными Бруно Шульца, нетрудно убедиться в том, что его бурная творческая деятельность, к сожалению, продолжавшаяся недолго, была насыщена целым рядом интереснейших находок и воплощений, со сво-



им почерком, своим видением мира, своим творческим дыханием.

В сохранившихся ранних работах Шульца есть карандашные – это отдельные портреты знакомых и друзей, а также несколько многофигурных композиций, выполненных в 1919 году. Они предваряют будущий цикл «Книга идолопоклонства», который был окончен в 1924 году.

Многие из них можно считать поисками дальнейших литературных образов для его книг.

Все работы подписаны, что определяет их подлинность. Многие посвящены культуре женщины, где мужчины, обслуживают их желания и прихоти. Женщины демонстрируют власть над мужчинами и искреннее наслаждение от своего превосходства. Символом эротизма служат то туфля, то чулок, а порой обнажённая натура. Мужчины в униженных позах, сопровождают их, или парят рядом. Этот



цикл напоминает, входящий в моду экспрессионизм. Часто, в качестве персонажа, присутствует сам автор. Встречаются человеческие образы, напоминающие животных. Вероятно фоном его работ служили, виды родного города.

Напрашивается аналогия с работами Франсиско Гойи, с его циклом «Капричос. Сон разума рождает чудовищ». Несомненно, Шульц знал эти работы и был под их влиянием.

Исследователь жизни и творчества Бруно Шульца, Ежи Фицовский, писал: «...его творчество находилось между побуждением и вымыслом, между физиологией и злым духом... поражение оборачивается триумфом, а небо выглядит пропастью зла».

К сожалению, находки немецких экспрессионистов почти не



знакомы Шульцу, ибо Дрогобыч был в стороне от центров цивилизованного мира. Однако, репродукции некоторых работ Ф. Ропса, Э. Мунка, Л. Кирхнера встречались в литературно-художественных журналах.

Многие рисунки Шульца позднее вошли в качестве иллюстраций в его книгу «Санаторий под клепсидрой» (Клепсидра – водяные часы). Сперва автор включил графику в виде дополнения к роману, т. е. комментария.

Роман «Коричные лавки» остался без иллюстраций: вероятно, Шульц много думал над ними, но не успел этого сделать. Единственная виньетка к нему служит лишь украшением, и не более.

Сохранились небольшие фрагменты работ Шульца на еврейскую тематику. Шульц предназначал их в качестве иллюстраций к неоконченному роману «Мессия». На них кривые улочки с перекошенными домами, собственно, галицийский штетл. Явно спорящие хасиды в традиционных лапсердаках, раввины при обсуждении священных книг, группы молящихся евреев за столами с менорой. Некоторые, предположительно, библейские сюжеты. И

во всех композициях наблюдается присутствие самого художника, как неотъемлемого героя происходящего. Он очень скрупулёзен в деталях, но ничего лишнего в рисунках не видно, только конкретика подчёркивающая сюжет.

Мы смело можем отнести графику Шульца к разряду чисто-го экспрессионизма, к которому Шульц пришел самостоятельно. Живописные работы Шульца, к сожалению, погибли во время оккупаций, сперва Советского Союза, а затем и вермахта. Увы... Может быть, где-то ещё и обнаружатся его работы.

Существуют ещё и фрески Шульца в Дрогобыче, выполненные во время войны.

Следует вспомнить, что задолго до войны, художник уже обращался к технике фрески. Им расписаны плафоны в сиротском доме. Однако, эта работа бесследно исчезла. Есть упоминания, что Шульц, расписывал также стены здания польской полиции. По распоряжению гестаповца Феликса Ландау он расписал детскую комнату мотивами сказок. И здесь персонажи своих росписей, он наделил чертами знакомых.

В качестве иллюстраций к обложке и этим заметкам предлагаем его рисунки, из каталога выставки Шульца «Schulz. Das graphische Werk» München 1992, и разных книг о том тяжёлом времени, изданных в Польше и в Германии.

Регина Лихтман

ЧЕРТОВСКИЙ МОЙ СКРИПАЧ

(Продолжение. Начало см. в альманахах «До и после» №№14 и 15)

Часть третья

После моего назначения на должность директора меховой фирмы, приносившую семье стабильный и достаточно высокий доход, Яша, довольствовавшийся до того хоть и частыми, но нерегулярными концертными выступлениями в сопровождении пианиста да парой-тройкой учеников в одной из музыкальных школ, решил из самолюбия тоже озаботиться поисками постоянной работы. В огромном берлинском комплексе «Европа-Центр» для досужих туристов, желавших вдохнуть аромат ночной жизни бывшей столицы, ежевечерне гостеприимно распахивал двери ночной клуб «Красная роза».

Программа посещения включала в себя плату за вход, сам размер которой мог бы быть своеобразной достопримечательностью, а также, как теперь модно говорить, «дресс-контроль», шампанское по триста с лишним марок за бутылку, шоу-варьете и неприменный стриптиз в ненавязчивом сопровождении маленького оркестра.

В затемнённом зале на триста человек, в приглушённом свете красных бра, давалось по три часовых представления в вечер, последнее из которых заканчивалось далеко за полночь.

Владелец заведения, молодой человек импозантной наружности, заключал со всеми артистами контракты только на один месяц, чтобы они не успевали надоест публике, да ещё с правом расторжения этих договоров уже через две недели, если оказы-

валось, что номер не пользуется успехом. Продление контрактов было большой редкостью и называлось в актёрской среде «очередными месячными».

Вот в этот-то элитный кабак, вспомнив свой богатый опыт музицирования в одесском ресторане «Театральный», и отправился наниматься на работу мой муж. О его триумфах в «Фолькспабе» хозяин был уже наслышан, и потому с лёгким сердцем подписал с ним первый контракт.

В первый же рабочий день Яша выяснил, что большинство артистов делят одну гримёрную на двоих, так как отдельных комнат на всех не хватает, и начал присматривать себе коллегу посимпатичнее, чтобы его очаровать и повесить свой заслуженного вида фрак в его гримуборной. Облюбовав себе жертву в лице стройного молодого шатена, он церемонно представился, и как смог, то есть на идише в сопровождении отчаянной жестикуляции, дал ему понять затруднительность своего положения. Тот же, назвавшись Олафом, посмотрел на него как-то странно и вежливо ответил:

– Извините, но боюсь, в моей уборной вам будет не совсем удобно: у меня много костюмов. Я ведь веду это шоу.

Яша удивился и немного обиделся, почувствовав себя незаслуженно отвергнутым: да сколько же костюмов может быть у артиста для одного шоу? Три, ну от силы пять... И, когда через некоторое время представление началось и на сцену вышла изящная, с феноменальным вкусом одетая блондинка, с искусно наложенным тонким макияжем, чтобы объявить первый номер, он решил, что этот Олаф, который тем временем куда-то как сквозь землю провалился, оказывается, не только зазнайка, но ещё и лгун – ведь говорил, что это он будет вести конферанс!

Шёл номер за номером, иллюзионист сменял женщину-змею, а его – эквилибрист, и каждого объявляла новая ослепительная красавица в шикарном туалете. Наконец, очередная дива в шляпе со страусовыми перьями объявила Яшу:

– А сейчас – русский медведь из Одессы со скрипкой!

Он вышел на сцену, одарил публику сверкающей двумя золотыми зубами драгоценной улыбкой и заиграл свой коронный «Чардаш» Монти, после чего, насладившись плодами шумного и вполне заслуженного успеха, отправился обратно за кулисы. Тут-то он и столкнулся нос к носу с ярко накрашенной томной красотой в котелке и в «богемном» фраке, как у Минелли в фильме «Кабаре», которая выходила объявлять очередной номер. Только

благодаря её мужскому одеянию Яша с изумлением узнал, наконец, Олафа; оказалось, что будучи звездой травести-шоу, входившего в программу, это действительно он вёл весь конференс, меняя голос и виртуозно перепридумываясь к каждому новому выступлению. Он же и завершал каждое ревью – стриптизом, выходя на сцену в особенно пышном туалете, и медленно, пластично и грациозно танцуя, освобождаясь один за другим от его предметов. Когда в финале он демонстрировал разогретой шампанским публике внушительных размеров бесспорное доказательство своей истинной половой принадлежности, от изумления и восторга та просто редела. Яша от удивления дар речи потерял: ведь ничего подобного в Стране Советов мы не только не видывали, но даже и о самом существовании трансвеститов не подозревали.

Слух о диковинном зрелище разнёсся благодаря ему по «русскому» Берлину моментально, и вскоре не осталось, кажется, ни одной добропорядочной еврейской эмигрантской семьи нашего поколения, глава которой не посетил бы «Красную розу», чтобы попробовать с деланным осуждением запретный плод. Опасения эти были небеспочвенны: часто я бывала там, чтобы уберечь мужа от соблазнов «гнезда разврата», таких, как игра в карты на интерес в ожидании выхода на сцену и флирт, пусть и невинный, с молоденькими актрисками – уж я-то его знала! Почтенные отцы семейств понимали, что по роду своих занятий я знакома практически со всеми их жёнами и любовницами, и опасались с моей стороны проявлений женской солидарности. Стандартным благовидным предложением посетить злочасное место было желание якобы послушать волшебную Яшину скрипку, а доказательством супружеской благонамеренности – типовые аргументы:

– Да ну что ты! Да там же сама Инна будет! Да чего уж там дорого? Она же проведёт... Да какое там шампанское – ты же знаешь я только водку пью, а её там нету. Какие шлюхи?! Я ж только тебя люблю!

Конечно, зал был всегда полон, и я никого не смогла бы провести бесплатно, даже если бы и захотела, несмотря на то, что у Яши был такой успех, что он оказался единственным, кроме Олафа, артистом, «месячные» которого продлились в конечном итоге целых четыре года кряду, а роскошная афиша с его физиономией украшала вход в кабаре. Это заведение стало для его карьеры своеобразным трамплином: люди туда приходили

самые разные, но всех их объединяло одно – они были очень состоятельны.

Яша часто играл там собственное сочинение, написанное ещё в Одессе, сырбу, экзотика и виртуозность которой приводила публику в восторг, и его стали часто приглашать на частные концерты и корпоративные вечеринки, которые очень хорошо оплачивались. А однажды в ночной клуб пожаловали два известнейших голливудских режиссёра и кинопродюсера – двоюродные братья Менахем Голан и Йорам Глобус. Они только что приобрели права на экранизацию романа Исаака Зингера (к слову, единственного лауреата Нобелевской премии по литературе, писавшего на идише) «Волшебник из Люблина». Услышав Яшину сырбу, они тут же захотели её купить для фильма.

Однако возникли некоторые сложности. Незадолго до этого у Яши на гамбургской фирме грамзаписи «Уленшпигель» вышла пластинка, на которой эта пьеса была записана, и треть авторских прав принадлежала, согласно контракту, издательству. Узнав об этом, продюсеры просто заказали ему оригинальную музыку к этому фильму. Когда через неделю они пришли к нам домой и я впервые увидела, как, оказывается, выглядят и ведут себя настоящие финансовые воротилы Голливуда, я была поражена. Оба были маленького роста, более чем небрежно одеты, во время прослушивания музыки задумчиво погружали пальцы себе то в уши, то в нос, а если общались с собеседником стоя, то держали его за пуговицу. Меня Бог миловал: я была одета в платье на «молнии». Когда они, с чисто детской непосредственностью почёсываясь в интимных местах, прослушали свежесочинённую для фильма пьесу, которую Яша назвал «Бурлеск», их вердикт был краток:

– Всё! Уже куплено!

Вот когда, наконец, оказался к месту Яшин идиш! Они говорили на этом языке не хуже него, так что быстро было достигнуто соглашение, что Яша не только напишет музыку к фильму, но и будет сам исполнять её в кадре. «Вот я и попал в Голливуд», – потирая руки, говорил мой муж.

Этих людей я видела ещё дважды. Во второй раз это было, когда я пошла посмотреть съёмку многолюдного эпизода с Яшиным участием и с удивлением наблюдала, как тщедушный, одетый в потрёпанные джинсы, кроссовки и бейсболку Голан грубо орёт по-английски в мегафон на три сотни человек, включая моего супруга, участвовавших в сцене, и как все эти люди беспрекос-

ловно подчиняются его воле. Третья же встреча произошла на берлинской официальной презентации фильма, и я их не сразу узнала. Их словно подменили: оба в безукоризненно строгих дорогих костюмах, и от приглашённых на просмотр крупных промышленников и банкиров, – потенциальных инвесторов в дальнейшую «раскрутку», внешне отличались лишь ростом.

К сожалению, серьёзных материальных вложений в широкий прокат фильма не последовало, и он получил распространение в основном на видеокассетах; впрочем, авторские отчисления от продаж этих кассет поступают понемногу до сих пор. Я же разрывалась в это время между работой и необходимостью присматривать за двумя детьми, за которыми нужен был, как я считала, глаз да глаз – за мужем и сыном.

Боря рос; он вступил уже в так называемый «трудный возраст». Скрипка была заброшена, и ей на смену пришло увлечение рок-н-роллом, который он, к слову сказать, танцевал прекрасно, но со всеми вытекающими отсюда последствиями. Боря не пропускал ни одного рок-концерта, признавал в качестве обуви исключительно туфли на толстой платформе, а брюки – только клёш, и я, ежедневно контролируя по утрам с балкона отбытие сына в школу, всегда удивлялась, как же он успевал, покинув квартиру с «нормальной» причёской, соорудить в лифте на своей голове такой кок, которому позавидовал бы сам Элвис Пресли. Когда же он заявил о своём желании играть на бас-гитаре, Яша ответил, что учиться играть можно на любом инструменте, важно лишь, чтобы занятия были профессиональными и регулярными, и устроил его в ближайшую музыкальную школу. Довольно скоро Боря достиг таких успехов, что его преподаватель сказал, что на бас-гитаре дальше учиться нет смысла, нужно переходить на контрабас. И вот он пришёл с урока и попросил купить ему этот инструмент. Так, дескать, учитель сказал. Я была в шоке. Сколько раз во время гастрольных автобусных переездов я видела, что музыканты других специальностей могли и подремать, положив ноги на соседнее кресло, и прогуляться налегке. И только несчастные контрабасисты не смыкали глаз, сидя на заднем сидении, бережно предохраняя от падения свои «шкафы»: положить их было некуда, так как они просто никуда не помещались. Людей, которых к игре на этом инструменте вынуждала судьба, я просто жалела. Тех же, кто добровольно выбирал для музицирования этот инструмент, я всегда считала немного больными на голову, и оттого жалела их особенно. А тут вдруг это несчастье

случилось с моим единственным сыном! «Шкаф» – инструмент не из дешёвых: уж больно он большой. Любой краснодеревщик скажет вам, что одной только ценной древесины, используемой для изготовления одного контрабаса, хватит с лихвой на десять скрипок. И это, не считая работы. Однако, находившийся в тот момент у нас в гостях Яшин друг, прекрасный скрипач и концертмейстер одного из лучших берлинских оркестров, пропуская очередную рюмку, философски заметил:

– Что ж, если уж настоящий рок-н-ролл, то контрабас намного дешевле, чем наркотики! А уж преподавателя я найду. Есть у меня в оркестре нужный человечек.

Так Боря начал брать уроки у концертмейстера группы контрабасов симфонического оркестра берлинского радио. Поскольку маэстро нигде не преподавал, довольствуясь огромной по тем временам зарплатой солиста оркестровой группы, занятия были частными. Подходящий же контрабас был куплен по случаю почти за бесценок: цена его не превышала размера месячной социальной помощи семьи из трёх человек.

Яшина работа в «Красной розе» могла бы продолжаться ещё очень долго, и тогда в его жизни не случилось бы того главного, что ему в ней действительно удалось.

Он прекрасно зарабатывал и пользовался неизменным успехом, особенно после того, как приобщился к искусству вокала, исполняя песню собственного сочинения «Берлин на Чёрном море». Текст написал для него Петер Шнайдер. Песня была на немецком языке, которым автор владел, мягко говоря, не вполне. Именно поэтому она производила на слушателей неизгладимое впечатление. Однако судьба распорядилась иначе: пришло время закрывать заведение на капитальный ремонт, и Яше пришлось подыскать себе другую работу.

Прямо под зданием вокзала «Зоологический сад», в огромном полуподвальном помещении, как раз открылось другое кабаре, куда Яша и устроился. По сравнению с «Розой» здесь был совсем другой стиль: много света, роскошные зеркала в чёрных рамах, изысканное оформление.

Помню, под Новый год зеркальные колонны зала оказались с отменным вкусом декорированы выписанной из какого-то прекрасного далёка свежей сиренью, чудесное волшебство аромата которой кружило голову и было в снежном берлинском декабре почти неправдоподобным!

Владелец этого кабаре мечтал привлечь сюда русскую публи-

ку, и она, надо сказать, приходила охотно: здесь была настоящая кухня. Подавались горячие блюда в качестве закуски, а яркое освещение позволяло демонстрировать друг другу бриллианты и прочие свидетельства достигнутого материального благополучия (у всех, впрочем, купленные в одних и тех же магазинах, и потому примерно одинаковые).

Русская публика, однако, неизменно приносила сюда собственную водку, а также куски холодца с чесноком и хреном, холодные котлеты и прочую немудрёную снедь. Хозяин делал вид, что этого не замечает, однако обстоятельство это его очень огорчало, и вовсе не оттого, что он терял часть своей прибыли: он просто печалился, что для этой суперэлиты, сверкавшей золотом пальцев, модными блузками, платьями, сумками, оригинальными зажигалками и белоснежными зубами, скромная кухня его заведения явно была недостаточно изысканной. Надо признаться, что подобных «свидетельств благополучия» и у меня к тому времени скопилось предостаточно. В ушах пришлось протыкать ещё по одной дырке для второй пары бриллиантов.

Я тоже имела, чем похвастаться, но посещала кабаре чуть ли не каждый вечер по той причине, что контроль мой за мужем на новом месте его работы не прекращался.

По Берлину сразу пошли слухи, что я так часто там бываю потому, что у меня с владельцем заведения бурный роман, чему тот был несказанно рад: посещаемость его кабаре резко возросла за счёт наплыва моих «подруг», эти слухи и распространявших. Им было интересно лично присутствовать, когда «рогоносец» будет избивает работодателя. Зрелище было бы и впрямь захватывающим: ведь хозяин был выше ростом, а Яша зато имел несомненное преимущество в весе плюс опыт выживания в Советском Союзе, так что исход такого поединка был бы непредсказуем.

Когда через некоторое время сплетницы убеждались, что слухи эти просто абсурдны в силу нетрадиционной сексуальной ориентации работодателя, разочарованию их не было предела – сколько денег зря проедено, сколько пропито понапрасну! А за вход?! Яша же, по обыкновению, только смеялся. А вот мне было не до смеха. То у моего мужа коллеги трансвеститы, то у его работодателя «с ориентацией» возникает потребность платить ему месячную зарплату, которой позавидует начальник отделения крупного банка. Да и с голоду в случае чего не помрём...

И вот я принялась методично и нудно его «пилить»: дескать, уже такой возраст, что скоро на приличную работу и не примут,

да сколько можно блистать по кабакам, имея «месячные», которые в любой момент могут и кончиться... Пора обрести стабильность и респектабельность – сын же растёт!

Западный Берлин был в те времена анклавом, со всех сторон окружённым коммунистической ГДР. Все западногерманские граждане обязаны были платить специальный налог, позволяющий поддерживать уровень безработицы в этом городе практически на нуле. Тот, кто работал, получал более высокую зарплату, чем его «коллеги» в остальных федеральных землях. Поэтому Яша без особого труда получил место преподавателя скрипки в музыкальной школе берлинского района Кройцберг, где ему сразу дали 25 учеников в классе, которым прежде руководил его бывший одесский ученик, перешедший в музыкальный театр, и приступил к трудовой деятельности на ниве музыкальной педагогики.

Деятельность эта давалась ему ох как не легко. Начнём с того, что, когда я в своё время посещала восьмимесячные языковые курсы, он тоже пошёл туда учиться, но только один раз. То ли он сразу осознал бесперспективность для себя этой затеи, то ли решил, что пусть ему ещё спасибо скажут, что он говорит на идише. А, может быть, просто захотел проверить, насколько соответствуют слухи, злокозненно распространявшиеся по Берлину моими «одноклассниками», что на меня положил глаз преподаватель немецкого, а я так прилежно «делаю уроки» потому, что втайне отвеваю ему взаимностью.

Так или иначе, теперь в основу его оригинальной преподавательской методики невольно легли язык жестов, личный показ и несколько несложных междометий. Впрочем, вскоре он освоил и пару настоящих исконно немецких слов, кратких, но ёмких, и для преподавания музыки совершенно необходимых. Так, если ученик играл приемлемо, Яша поощрял его словом «гут», хотя, конечно, гораздо чаще дети слышали от него – «шайсе». Все они своего нового учителя прекрасно понимали, и любили за краткость, прямоту и простоту в общении. Ему прощали, что он совершенно не запоминал, и тем более не мог выговорить их имена и фамилии.

Кроме того выяснилось, что мой муж напрочь лишён педагогического терпения, и к тому же страдает редчайшей формой аллергии – физиологической непереносимостью плохой игры на скрипке. Услышав фальшь, он испытывал непереносимый зуд, и был вынужден незаметно чесаться. Поскольку чесаться прихо-

дилось почти на каждом уроке, он ухитрялся под тем или иным благовидным предлогом избавляться от тех учеников, игра которых наносила наиболее ощутимый ущерб его здоровью, так что вскоре от двадцати пяти человек в его классе осталась едва ли половина. Удивительно, но, несмотря на это, директор школы не только не избавился от самого Яши, но и поручил ему вести курс скрипичного ансамбля. Яшиной радости не было предела: ведь теперь его язык жестов оказался официально узаконен. И, отныне, он мог с полным правом оставаться величественно многословным.

Поначалу его ученики играли в унисон. Чтобы их заинтересовать и не отпугнуть от совместного музицирования «занудной» классикой, он специально для своего ансамбля написал попури из известных привлекательных мелодий, назвав его «От Баха до «Истории любви».

И действительно, ученикам это очень понравилось. Они занимались с удовольствием, усердно работая над своими партиями. А Яша уже сочинял для них новую мелодию. Так и повелось: пока ансамбль учил одну пьесу, его руководитель писал новую, и через некоторое время у них сложился небольшой, но совершенно оригинальный репертуар.

И вот однажды Яша вместе со своим пианистом были приглашены выступить на Всемирном женском конгрессе. В огромном современном зале берлинского Конгресс-Центра собрались две с половиной тысячи делегатов. Яшино выступление было принято очень тепло, и поэтому, когда он обратился к концертному агенту, отвечавшему за культурную программу, с просьбой предоставить ему ещё несколько минут, тот ничего не имел против.

На сцену вышло шесть молодых скрипачей, среди них – очаровательная негритянка. Их наставник отличался от них возрастом, наличием живота и исполнительским мастерством. Ансамбль исполнил нечто совершенно необычное, экзотическое. Это был зажигательный феерический танец на молдавские темы, та самая сырба в Яшиной аранжировке, рефреном которой был возглас «я ка ша», что в переводе с молдавского значит «такова жизнь». Успех был ошеломляющим: две с половиной тысячи человек, аплодируя стоя, устроили овацию. Пришлось играть ещё два произведения. Так произошло первое публичное выступление ансамбля, получивший название «Я-Ка-Ша». Оказалось, что в этом названии зашифровано и имя его создателя, хотя сам он тогда об этом и не подозревал.

Часть четвёртая

[242]

Дип16 / 2012

После неожиданно шумного успеха ансамбля на женском конгрессе Яша почувствовал, что такое музицирование и такой репертуар – дело весьма перспективное. В конце концов, «Чардаш» Монти или классику играли многие, и превосходно, так что этим пресыщенную отличными академическими концертами местную публику удивить было трудно. А вот создать мобильный по составу ансамбль с совершенно оригинальным, экзотическим репертуаром и особым живым стилем исполнения и общения, а лучше сказать, взаимодействия с публикой – значило занять пустовавшую до сих пор нишу на немецкой музыкальной сцене, и стать в этой области первым, а потому лучшим.

Яша официально зарегистрировал авторские права на свои произведения и аранжировки, решив, что будет отныне играть только свою собственную музыку, и тогда его исполнение будет просто не с чем сравнивать, и оно, таким образом, всегда будет вне критики. После этого он занялся расширением состава ансамбля, чтобы в нём были не только играющие в унисон скрипачи, но и другие инструменты: пора было переводить деятельность коллектива на профессиональную основу.

Музыкантами «Я-Ка-Ша» становились не только бывшие и нынешние Яшины ученики. Он и раньше, увидев играющего на тротуаре или в вестибюле метро уличного музыканта, непременно останавливался его послушать, и всегда давал ему денег, независимо от качества исполнения, считая, что неимущим коллегам нужно обязательно помогать. Теперь же он начал слушать таких музыкантов с большей заинтересованностью, и, если игра ему нравилась, приглашал в свой ансамбль. Через некоторое время скрипичная группа, для которой Яша начал к тому времени расписывать отдельные партии, пополнилась аккордеоном, ударником и двумя гитаристами. Боря же, несмотря на свои четырнадцать лет, начал работать, играя на контрабасе и бас-гитаре с виртуозностью, которая на тот момент казалась невероятной для его юного возраста.

В результате в ансамбле оказалось более двадцати музыкантов девяти разных национальностей. Это был во всех смыслах мультикультурный коллектив, куда входили и отпрыски семей потомственных интеллигентов, и представители крайне левой молодёжи, жившие коммунами в пустующих домах и в знак протеста против буржуазного общества принципиально разгуливав-

шие в лохмотьях и босиком (при этом зачастую их папы были – финансисты или предприниматели), и студенты, и даже панки. Неудивительно, ведь это было время, когда сам будущий министр иностранных дел Германии, бывало, швырял по молодости камни в полицейских! Всю эту разношёрстную публику объединяло одно – любовь к музыке, и Яша ко всем ним относился по-отечески: кому то он покупал по необходимости приличную одежду, кому-то мог перед концертом в принудительном порядке самолично вымыть голову, как когда-то стриг ногти своим оркестровым духовикам. Однако приучить их к порядку и дисциплине было делом не лёгким.

В подвале нашего дома первоначально предусмотрено было нечто вроде общей «комнаты отдыха», где по идее домового управления могли собираться и общаться друг с другом все жильцы. Идея эта, однако, популярностью у жильцов явно не пользовалась: за «общение» полагалась небольшая доплата, поэтому помещение простаивало пустым.

Яша арендовал подвал под репетиционную базу для «Я-Ка-Ша», а также для своих и Бороных занятий. Регулярные репетиции стали непреложным правилом; чтобы ни случилось, раз в неделю, по вторникам, все члены коллектива должны были явиться, а если кто-то не приходил, тот не допускался к последующему концерту.

Яша придумал оригинальный способ борьбы с опозданиями. К началу репетиции я обильно заваривала чай, а он собственноручно сооружал целую гору вкуснейших бутербродов. Всё это доставлялось в подвал на огромном блюде. Опоздавший хоть на десять минут, мог быть уверен, что это блюдо благодаря неформалам и нигилистам окажется к его приходу пустым, так что даже самые отпетые анархисты вскоре привыкли появляться к назначенному часу с немецкой пунктуальностью.

А концертов становилось всё больше и больше. После успеха ансамбля на женском конгрессе агентство, организовавшее там Яшино выступление, стало активно предлагать «Я-Ка-Ша» для дальнейших концертов, как корпоративных и частных, так и на престижных концертных площадках. Всем музыкантам были пошиты яркие, необычные костюмы. Каждый концерт представлял собой прежде всего шоу, в которое неизменно вовлекалась и публика. Начиналось оно оригинальным «выходом»: на сцену или прямо в зал. С двух сторон высыпали молодые люди с инструментами в руках, на ходу зажигательно играя сырбу, и уже это было

очень необычно и красиво. В ходе выступления они спускались в публику; очаровательные скрипачки по очереди, не переставая играть, опускались на колени перед отдельными слушателями, влюблённо глядя им прямо в глаза и играя будто бы только лично для них. Если в зале были столы, музыканты могли начать на них танцевать (невероятно, но особенно легко это получалось у самого Яши). Это не было заранее срежиссировано – все эти трюки они импровизировали прямо по ходу шоу в зависимости от возможностей помещения. Ближе к финалу части публики раздавали бубны и погремушки, так что она под Яшины призывные возгласы «митмахен, але цузамен!» получала возможность принимать активное участие в действии. Остальная же её часть была к тому времени так заведена, что танцевала и выкрикивала «я-каша» вместе с артистами, так что всё это напоминало под конец, скорее бурный карнавал, чем концерт. Естественно, после этого последовало сразу несколько новых приглашений. Известность «Я-Ка-Ша» росла, как снежный ком. Ансамбль начал регулярно появляться на экранах телевидения в популярных шоу, а в газетах и журналах появились статьи и рецензии об успехах этого коллектива. Яша получал заказы на музыку к кинофильмам и театральным постановкам. Так, например, «Я-Ка-Ша» целый год проработал малым составом в берлинском «Шиллер Театре», где шла пьеса Николая Эрдмана «Самоубийца», а по телевидению показали тринадцатисерийный фильм с Яшиной музыкой. Были напечатаны красочные афиши с яркой картиной и, аллегорически, со мной в Яшином сердце, которая была за весьма умеренный гонорар заказана известной берлинской художнице Наташе Унгехойер. Эта рекламная афиша оказалась настолько удачной, что после концертов она охотно раскупалась в качестве сувенира. В связи с возникшим спросом эти плакаты неоднократно приходилось допечатывать. Более того, когда вышла третья Яшина пластинка, которая называлась «Такова жизнь», она украсила и её конверт, и если я где-нибудь и видела в Западном Берлине очереди – то за этими пластинками, которые, как и афиши, я продавала после Яшиных выступлений, как горячие пирожки. Помню, когда один молодой человек, с виду вроде совершенно нормальный, купил сразу десять штук, я не могла скрыть недоумения и спросила:

– Скажите, а зачем вам столько?!

Тот посмотрел на меня с ещё большим удивлением, и ответил:

– Как зачем? Для подарков, конечно!

На постере было броско напечатано: «Яков из Одессы – Чертовский скрипач». Такое сценическое прозвище, известное всему Берлину, закрепилось за Яшей ещё со времён работы в «Фолькспабе», кажется, с лёгкой руки Петера Шнайдера, и, было растиражировано газетами. Единственным недостатком афиши было то, что в таком виде её, конечно, нельзя было использовать, если концерт проводился в церкви. Но Яша и тут легко вышел из положения: в таких случаях богохульный текст заклеивался сверху скромным благочестивым сообщением «Братец Яша из Одессы».

Яшин скромный вклад в рекламу многократно окупался, и я ещё раз могла убедиться в его безошибочном деловом чутье.

В качестве лирического отступления расскажу об одной Яшиной особенности. Я уже упоминала, как в той, прошлой жизни, он на моих глазах выгодно перепродал только что купленную скрипку, чем вызвал моё комсомольское негодование, о его, удивившей меня, фразе «лучшая скрипка – это проданная», и о его даре выискивать на барахолке и выторговывать за бесценок предметы настоящего антиквариата. Узнав его немного ближе, я поняла, что это связано с его безудержным азартом. Азартность проявлялась во всём; ему нужно было играть и выигрывать, начав дело, доводить до победного конца. А иначе он просто не мог.

Надо сказать, что понимание это далось мне дорого, потому что поначалу его азарт проявлялся в нездоровой и абсолютно неприемлемой для меня форме. Теперь уже можно признаться: ещё в Одессе, вскоре после того, как мы стали парой, я узнала, что Яша играет не только на скрипке... Когда я впервые пришла к нему в коммуналку, знакомиться с моей будущей свекровью, меня поразила бедность их двух комнат, где не было ничего сколько-нибудь ценного, хотя Яша получал в своём оркестре ставки концертмейстера, директора и солиста. Кроме того, я знала, что незадолго до нашего знакомства он вернулся в Одессу из Хабаровска, и, несмотря на то, что там он несколько лет проработал аж на пяти разных окладах, его маме пришлось продать рояль, чтобы оплатить ему обратный билет. «Куда же он деваает деньги?» – недоумевала я.

И вот однажды, перед самым отъездом в Среднюю Азию, я зашла за Яшей в филармонию, и ещё издали увидела, что он беседует с незнакомым мне мужчиной, и между ними происходит какой-то «крупный разговор». Внезапно в руке этого человека блеснул нож, приставленный к Яшиной груди... Разумеется, я

была просто в шоке, и потребовала от жениха немедленных объяснений. Он признался, что играет в карты и имеет долги, один из которых сегодня и приходили из него «выбивать». Зная, что в уголовной среде за не отданный вовремя карточный долг убивают, я выяснила у Яши, сколько в общей сложности и кому он должен, и оплатила всю эту сумму из своих сбережений, взяв с него клятву больше никогда не брать в руки карты.

Однако здесь, в Берлине, имея очень хорошие заработки, он продолжал втихую предаваться своему пороку. Я узнала об этом совершенно случайно от его же друга, вызванного Яшей из Канады поработать по контракту в «Красной розе», который и шепнул мне по секрету, что мой муж играет и ухитрился проиграть за это время около десяти тысяч марок, что его надо срочно спасать. В случае надобности Яша брал займы даже у моих ближайших подруг. Оказывается, его страсть давно была им известна, но, зная его глубокую порядочность, они безропотно давали ему тайком от меня в долг. Я была возмущена до предела, и объявила ему, что с этого момента между нами всё кончено – я забираю Борю и ухожу. Он был в ужасе и отчаянии, молил о прощении, я же приняла твёрдое решение, и была непреклонна. Но тут вмешались наши друзья, убеждавшие меня, что человеку надо дать шанс, а один из них передал мне Яшину фразу: «если она уйдёт, я пропаду». И я сдалась.

Действительно, с этого дня Яша ни разу в жизни, ни при каких обстоятельствах не притронулся к картам. Но ведь его врождённый азарт никуда не делся, и его нужно было направить в иное русло. Такой сублимацией стали для Яши берлинские блошинные рынки, неизменным завсегдатаем которых он стал. Страстный рыболов покупает дорогостоящие снасти и лицензию на отлов определённой рыбы. Он бросает дом и семью, отправляется за тридевять земель туда, где эта рыба водится. Готов вставать ни свет, ни заря, чтобы часами, испытывая массу неудобств, сидеть с удочкой, уставившись на поплавок, или до изнеможения раз за разом забрасывать спиннинг, никогда не зная наперёд, клюнет ли она, или же ему на крючок в этот раз будет попадаться лишь никчёмная мелочь. Если же ему удастся поймать крупный экземпляр – он по-настоящему счастлив! Разумеется, точно такую же рыбу он мог просто заказать и купить в ближайшем магазине, с гарантией, что она к его приходу там окажется наверняка, сэкономив при этом массу времени, сил и средств. Но это было бы так обыденно! В этом нет ни азарта, ни тревожных волнений

неизвестности, ни предвкушения радости обладания. Нет будоражащего ощущения игры с Фортуной.

Материальное положение Яши позволяло ему к тому времени покупать самые лучшие вещи в самых фешенебельных бутиках, что он и делал в будни, одаривая меня подарками. Но по выходным он поднимался чуть свет, как на праздник, и отправлялся к семи часам утра на барахолку. Он знал в лицо всех постоянных торговцев. И они его тоже знали и радостно приветствовали: ведь он часто помогал им открывать и распаковывать коробки и раскладывать товар на столах. То, что Яша делал это не совсем бескорыстно, имея тайную цель быть первооткрывателем содержимого этих коробок, им и в голову не приходило.

Он продолжал коллекционировать фигурки музыкантов и танцоров, искал цветное стекло Галле, покупал скрипки, старинные ноты и книги. С моей нелёгкой руки у него появилось новое увлечение, но об этом потом. Когда же он наткнулся на безделушку, не входившую в круг его интересов, но которую можно было с выгодой продать, он непременно покупал её. И даже какие-нибудь жалкие двадцать марок, вырученные от её реализации, делали его счастливым, как если бы в прошлой, советской жизни, он выиграл на тридцатикопеечный лотерейный билет целый рубль! Это счастье не могло омрачить моё мелочное брюзжание.

Часам к десяти он оказывался на следующем блошином рынке, а к полудню, бывало, и на третьем.

В случае невезения на первых двух барахолках, он скупал там всё, что ни попадя, лишь бы не оказаться с пустыми руками. Нагруженный как вол, «усталый, но довольный», Яша возвращался домой к обеду, к моменту пробуждения любимого Бори (если, конечно, перед дверью комнаты сына не стояли предательские женские тапочки...). В рабочие дни только репетиции и концерты могли отвлечь его от чтения объявлений «продам» в газетах и от походов по аукционам и распродажам забытых вещей.

Как-то раз, явившись домой, из очередного такого похода, Яша будничным тоном сообщил мне, что нашёл интересную коллекцию музыкальных инструментов, и уже договорился о её покупке, и поэтому ему нужны деньги – девяносто тысяч марок. Я решила, что он, наверное, спятил. У меня к тому времени были, конечно, скоплены на чёрный день тридцать тысяч, но они были вложены в банк на срочный депозит, и я ни за что на свете не согласилась бы с ними расстаться, тем более ради какой-то заведо-

мо бредовой авантюры моего сумасшедшего мужа. Я принялась, как только могла, увещевать его, взывать к здравому смыслу и отговаривать – уж я-то знала, что купить здесь можно практически всё, что угодно, и потому очень трудно что-либо продать. Но всё было бесполезно; Яша отвечал лишь, что уверен в том, что делает, и это обеспечит нас на всю жизнь. Я поняла, что на этот раз ставка очень высока, и она сделана! В итоге я наотрез отказалась трогать свой вклад, но всё же пошла в банк и оформила на те же тридцать тысяч самый краткосрочный кредит под залог... Яшиной скрипки Пика. Остальные шестьдесят тысяч он моментально занял у друзей. Когда вся нужная сумма собралась, он вывалил деньги на стол и стал пересчитывать. Крупные купюры густо покрывали весь стол, Ни до, ни после этого я не видела такую «кучу денег», понимая с тоской, что всё это великолепие сейчас исчезнет навсегда, и мне ещё долго придётся расхлёбывать последствия своего преступного попустительства «маленьким мужским слабостям». А Яша тем временем деловито сортировал бумажку к бумажке, складывая их в ровные одинаковые пачки. На мои душевные терзания он внимания не обращал: ему не терпелось поскорее овладеть взамен кучи денег кучей деревянного хлама.

Через пару часов весь пол в большой комнате оказался усеян виолончелями, скрипками, разнообразными смычками в футлярах и без, с волосом и без, и даже альтами, и мой муж принялся разбирать свои сокровища. Внешний мир на несколько часов перестал для него существовать; каждый инструмент он протирал тряпочкой, любовно выискивал, где какая трещинка, где какая царапинка, много ли на механике ржавчины, а если были струны, то настраивал инструмент и пробовал его на звук. Он вёл себя как ребёнок, оставленный без присмотра в магазине игрушек, и, наблюдая за ним, я только скорбно качала головой...

Каково же было моё изумление, когда уже через неделю Яша продал две скрипки и торжественно вручил мне тридцать тысяч марок:

– Первый долг – тебе. Наконец-то я не буду зависеть от тебя материально!

Очень скоро он рассчитался со всеми своими кредиторами, и ещё много лет, даже уже после Яшиной смерти, в наш дом приходили люди выбрать себе инструменты по рукам и по карману. Тогда-то я, наконец, поняла, что в деловых вопросах он всегда даст сто очков вперёд любому, и больше с ним никогда не спо-

рила. Поэтому, когда Яша заказывал Наташе Унгехойер картину, это было не тщеславной прихотью покрасоваться в роли мецената, как могло показаться со стороны, а продуманным вложением в рекламу начатого бизнеса, которое, как и всегда у него, сразу же себя оправдало.

(продолжение следует)

Ася Процко-Вайсберг

«КНИГИ ЧТО КАШТАНЫ...»

Берлин, 2006 год.

Город готовился к чемпионату мира по футболу. По Унтер ден Линден меняли коммуникации, расширяли тротуары, асфальтовые покрытия.

Ожидался наплыв болельщиков и туристов. У Бранденбургских ворот соорудили информационный центр в виде футбольного мяча. На лужайке у Рейхстага отдыхали, как будто ненадолго снятые, гигантские футбольные бутсы. Футбол – достояние народа. Не проходите мимо!

На Жендармен Маркт вдоль Концертхалле, двигались большие, яйцевидной формы, макеты слоговых названий звуков: «что-то слышится родное...»

Но больше всего я ждала открытия доступа к памятнику сожжённым книгам...

Площадь у здания Оперы – Бебельплац – долго реконструировалась.

Наконец, работа завершена. На тротуаре Унтер ден Линден, между Оперой и корпусом Гумбольдт – Университета возвысилась стопка больших пластиковых макетов книг. Площадь пуста и лишь небольшая группа людей, глядя под ноги, подсказывала: «Вот, здесь!»

В центре бетонного покрытия вмонтирована рама с толстым стеклом. Сквозь него видна комната с пустыми книжными стеллажами. Рядом – бронзовая плита с текстом: «На этой площади 10 мая 1933 года студенты – нацисты жгли книги». И пророческая цитата из трагедии Генриха Гейне «Альмансор»: «Там, где жгут книги, будут жечь и людей».

Я заглянула в иллюминатор покрытия. Он освещался элек-

тричеством и ярким солнечным светом. Трудно было что-либо рассмотреть. Но инсталляция израильского архитектора М.Ульмана притягивала, я удостоверилась в этом, когда снова пришла сюда вечером. Вечерние сумерки не мешали освещению подземелья.

В центре Бебельплац, где когда-то сжигали книги, ясно стали видны подземные пустые полки. В моём воображении полки исчезли, пространство заполнилось людьми. Их масса задвигалась, закружилась... Кто они?

Куда их гонят? Вот они: «Профессор Мамлок», «Еврей Зюсс», «Братя-разбойники», «Мамаша Кураж», «Донна Клара», «Мальчик Мотл», «Тевье-молочник». Здесь и «Буревестник»...

Предлагают «Розы в кредит», просят «Жизнь взаймы». Весь людской поток мчится к «Чёрному обелиску», где «Три товарища» пьют свой мартини.

Где-то идёт «Иудейская война» и набатом, из чёрного репродуктора, звучит: «На западном фронте без перемен». Снова шепчу: «Где жгут книги, будут жечь и людей».

Прохожу мимо стопки пластиковых книг. Врезаются имена авторов на корешках томов: Гёте, Шиллер, Гейне, Т. Манн, Брехт, Эйнштейн, Фрейд. А наверху Анна Зегерс и вдруг, Гюнтер Грасс. Странно. Ну, Зегерс. К этому времени ею было написано много книг, но Грасс был ещё слишком юн «Это же инсталляция» – по-ясняют мне мои внуки – студенты. Вот ещё один урок истории. Немецкий писатель Оскар Мартин Граф, присутствовавший при сжигании книг, не обнаружив своего имени, был возмущён этой несправедливостью, и направил жалобу в Министерство пропаганды. После чего и его книги были сожжены. Кто знает, может быть, он вспомнил слова великого Вольтера, сказанные после того, как одна из его книг была приговорёна иезуитами к сожжению: «Книги что каштаны, – чем больше их поджаривают, тем их охотнее покупают».

Людмила Тайц

ЛИЧНЫЕ СЧЁТЫ

У меня, как и у большинства евреев моего поколения, а особенно поколения моего отца, – тех, кто воевал, есть свои личные счёты с нацистами.

Мои мама, бабушка, дедушка, моя любимая тётя были эвакуированы из Москвы в Омск, где прожили многие годы, работая на военном заводе. Маме исполнилось 19, а тётя была ещё девчушкой 14 лет. Они по две смены не отходили от станков, где делали детали к танкам, и прожили годы эвакуации в доме, за перегородкой, рядом с козой, «так было теплее», – смеялась мама, рассказывая о жизни в эвакуации.

Хозяйку звали Ньюша, и мама убирала огромный её дом, варила на всю их семью обед, потом бежала на завод к станкам. Они оставили хорошую квартиру в центре Москвы, зато спаслись, и никто из московской родни не пострадал. Родне моего отца не так повезло.

До войны вся их большая семья жила на Украине – в Умани. У отца были красавицы – сёстры, Люся и Лиза. Они не захотели уезжать из Киева в 1941 году. Дедушка и бабушка помнили солдат немецкой армии Первой мировой войны, их уважительное отношение к евреям и украинцам. Они до последнего часа не верили сообщениям о зверствах нацистов на захваченных территориях. Вся родня уговаривала их уехать из Киева с поездом для беженцев, но они этого не сделали. Когда их взяли в плен и погнали в Германию, то первыми, кого расстреляли, были мои тётя – сестры отца Люся и Лиза.

Отец мне много о них рассказывал, у нас до сих пор хранится фотография тети Люси. На фотографии девушка необычайной

красоты, с огромными лучистыми карими глазами, в которых испуг, удивление, страх, какое-то предчувствие беды. На доверенной фотографии ей двадцать, но кажется, что она уже тогда предвидела судьбу, что с ней случится через пару лет. Так и произошло.

Выдали её украинцы-соседи, с которыми она долгие годы жила в Умани.

В первые месяцы войны погиб Семён – брат-близнец моего отца. Многие его родные погибли в Бабьем Яру. Говорят, что имена их занесены в книгу-мемориал жертв Бабьего Яра, составленную американо-еврейско-украинской комиссией. Если я когда-нибудь окажусь в Киеве (мне этого очень хочется), то найду книгу и поищу фамилию моей родни – Файнбергов.

Давид Яновский

С немецкого

Рут Андреас-Фридрих

(из дневника)

ОДИН ИЗ ШЕСТИ МИЛЛИОНОВ

Берлин, вторник 27 сентября 1938г.

Когда я в начале второго (ночи) заглянула в кафе Хиллера, то нашла там Генриха Мюзам. Он сидел за столом, покрытым кучей бумаг, и писал. Письма к самому себе - наверное также и ко мне. Как каждый вечер. С тех пор, как из издательства его вышвырнули из-за неарийского происхождения, он с помощью трамвая открывает для себя Берлин, размышляет о том, почему он не нравится женщинам, и разбрасывает свой ум, свой шарм и свою энергию в пустоту. Он был у нас редактором. Теперь он живёт на страховку, которую получает за несчастный случай на транспорте, и ждёт Четвёртого Рейха.

Ждёт, ждёт и не находит выхода. Он нравится мне, доктор Мюзам. Мы говорим на одном языке. Когда мы сидим за столом напротив, мы почти любим друг друга. Только поцеловать его мне совсем не хочется. Но это я ему никогда не решусь сказать. Нельзя обижать людей, которым и без того плохо. Доктор Мюзам некрасив. Когда он задумывается, его нос набухает и блестит. Его волосы разделены на пряди, а костюм всегда измят. Порой мне кажется, что его надо только хорошо проветрить. Но его никто не проветривает. Около трёх он отвёз меня домой. В такси я

старалась быть очень деловой. Потом, когда я осталась одна, мне было стыдно за мою деловитость.

Берлин, суббота 15 октября 1938г.

Кажется, всё чудесным образом успокоилось (после Мюнхенского соглашения). Однако, когда я вчера вечером встретила у Хиллера доктора Мюзам, у него было озабоченное лицо; он уставился сосредоточенно на свои пивные подставки, разбросанные между бокалами и полупустыми тарелками, и вздохнул; «Мне эта тишина не нравится. Тишина ещё меньше, чем буря». Его неисправимый пессимизм немного рассердил меня. «Всё время только брюзжать тоже не имеет смысла. Чем вы опять недовольны?»

«Никакого недовольства! Только логические выводы. Видите ли: что делает диктатор, когда нет достижений? Я имею в виду видимые достижения. Он чувствует себя несостоятельным. Только короли или либеральные президенты государств могут себе позволить поживать на лаврах. Тираны всегда под давлением. Они всегда мечутся между осанной и распятием. Для того, чтобы они сами могли свободно дышать, другие должны затаить дыхание. Массам нужны хлеб и цирк. Раз внушительный внешнеполитический номер завершён, из ящика должен выскочить клоун. Вы знаете, кто этот клоун? Это немецкий еврей! Агасфер заполняет паузу. Агасфер должен снова быть козлом отпущения. Как уже было тысячи раз в мировой истории. Поверьте мне: они его так разрисуют, что никто не разглядит под гримасой плачущего лица.

Еврей во всём виноват. Бейте его! Топчите его! Смейтесь над ним! Над бедным человеком, получающим пощёчины. «Да, но каким же образом?»- «Каким образом? – рассердился Мюзам и вытер пот с носа. – «Разве вы ослепли? Разве вы не видите, что готовится, набухая, под крышкой этого котла? Как витрины «Штюрмера» (антисемитская газета) дюжинами выскакивают из-под земли? Как одно антисемитское мероприятие догоняет другое? Изъятие евреев из тела немецкого народа. Смешанные браки между немцами и евреями запрещены. Еврей не может быть гражданином Рейха. Полное исключение из культурной жизни. Никаких еврейских писателей, художников, артистов, работников газет и кино. Сначала нас отстранили. Теперь нас изолировали. А за изоляцией приходит уничтожение. Оно сле-

дует, как «Аминь» в церкви. Он налил в бокал белое испанское вино и усмехнулся. «Если бы мы не были в этой любимой стране сотни лет дома!»

О Боже, как мне понятен этот плач! В Америке каждый приезжий в следующем поколении становится американцем. В России – русским. Почему? Потому, что его формирует ландшафт на котором он живёт. Потому что его формирует язык, на котором он разговаривает. Не только кислая капуста, которую он ест, не только снег, который зимой лежит на его крыше, но даже облака, которые бегут над ним, воздух, которым он дышит. Даже то как в той местности, где он живёт, хоронят мёртвых, продают на базаре рыбу, выражают любовь и ненависть. Сто лет есть венский струдель – это имеет большое значение. Кто сто лет ходит по бранденбургскому песку, любит его больше всего на свете.

«Родина там» – сказал Мюзам – где на стене написано «Паула – дура». Где ты играл в камушки и в сыщиков и разбойников. И все Гитлеры на свете не могут этого отнять!»

Когда мы ехали в такси домой, я забыла, что мне, собственно, не нравится целовать его и я целовала. Много раз. Потому что мне было жалко...

Берлин, среда, ноября 1938г.

По дороге в редакцию я заскочила на минутку наверх к Мюзаму. Он сидел за пишущей машинкой и перепечатывал письма. Детские письма, которые он сам когда-то писал. К своим родителям, к своей няне, к другу юности, который уже давно уехал в Америку. Разложенные по годам связки лежали на столе. «Любимая, хорошая мамочка» – прочла я мимоходом. – «Он умрёт» – спросила я его. «А если умрёт, то что потом?» (Речь идёт о немецком дипломате Эрнсте фон Рате, смертельно раненом в Париже евреем Гриншпаном. Это убийство нацисты использовали для организации Хрустальной ночи). «Конечно, он умрёт. Иначе всё это не имеет смысла. Чтобы отомстить, надо сначала его оплакать. Чем больше скорби, тем фантастичней ненависть. Разве вы не знаете, что политические инциденты происходят только тогда, когда для них всё до мелочи подготовлено. Когда все предписания опубликованы, все меры предосторожности приняты, все мероприятия обсуждены. Нет сомнений: иудейская война у ворот. Я, со своей стороны, думаю остаться пацифистом. Даже еврей не может сделать больше, чем умереть». Он опять повер-

нулся к своей машинке. «Любимая, хорошая мамочка», напечатал он серьёзно и внимательно. Что тут можно сказать?

«До свиданья» пробормотала я, сознавая своё бессилие. На улице я услышала крик продавцов газет:

«Состояние Эрнста фон Рага ухудшилось!»

Берлин, суббота, 8 июля 1939г.

Завтра вечером мы будем в Париже. Наконец, опять говорить, а не шептать. Без иносказаний, не оглядываясь боязливо по сторонам. Я ещё раз была у Генриха Мюзам. Никогда не знаешь, что может произойти во время отсутствия. Он всё ещё не нашёл выхода. Печатает свои детские письма и философствует – мудро, как Будда – о времени.

«Вы действительно решили остаться здесь?» – спросила я. Он посмотрел на меня. «А куда же мне деться? Быть несчастным в Канаде? Быть вырванным с корнем в Соединённых Штатах? Отчаявшимся от тоски на Филиппинах? Не говоря о том, что ни Филиппины, ни Соединённые Штаты, не говоря о рае переселенцев, Канаде, не хотят принять меня в свои объятия». Он усмехнулся. «Есть такая степень чувства привязанности ко всему здешнему, которая исключает любые мысли о бегстве. Если меня не заставят насильно...» «Боже сохрани! Боже сохрани!» сказала я испуганно. «Сплюньте! Тысячелетний Райх ещё не кончился!» «Таких людей, как он, не надо уговаривать, сказал Андрик (муж автора дневника), когда я ему рассказала о нашем разговоре. «Он погибнет, если его пересадить. Наверное, он пройдёт всё до конца. Пожелаем ему, чтобы они подольше оставили его в покое».

Берлин, суббота, 23 августа 1941г.

Мы побеждаем, побеждаем, побеждаем. И каждая победа делает Гитлера всё высокомерней. Геббельс уже провозглашает его «гениальнейшим полководцем всех времён». Обожествление его личности принимает уже устрашающие формы. «Наш час пробил,- говорит Генрих Мюзам. «После таких успехов он может позволить себе всё».

Берлин, пятница, 3 июля 1942г.

Теперь дошла очередь до Генриха Мюзам. Мы встретились в последний раз среди упакованных чемоданов и испуганных оби-

тателей дома. «Возвращайтесь», выдавила я из себя. Он усмехнулся, мудро, как Будда и мягко, как Лао – Тсе. «Я вернусь... Мы все вернёмся. Наверное, не так. Но всё же как-нибудь». Он нагнулся ко мне и его глаза оказались вплотную возле моих... «До свидания», сказал он медленно, с ударением на каждом слоге. И внезапно я поняла, что мне хочется его целовать.

Сегодня! Завтра! Каждый день! «Вы не уходите», прошептала я. «Вы... Вы всегда с нами!» «Будь здорова», сказал он и поцеловал меня в губы.

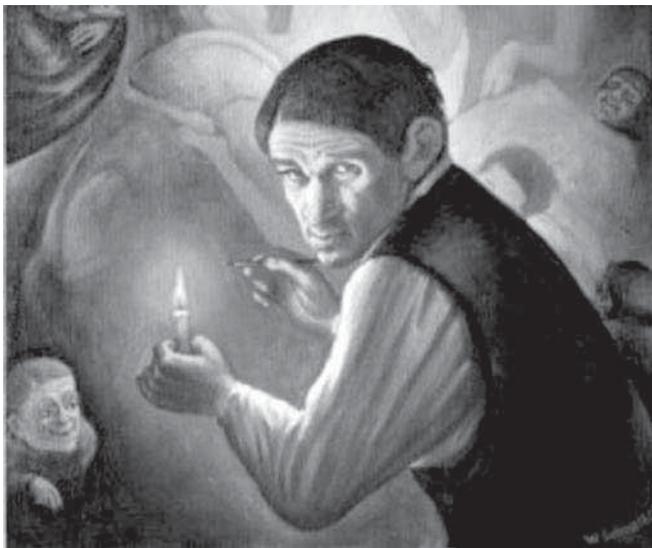
В среду, 1 июля 1942г, Генриха Мюзаму транспортировали в Терезин. В гетто для привилегированных евреев. Потому что он был крещён и у него была деревянная нога.

Берлин, воскресенье, 12 ноября 1944г.

Из Терезина пришло тайное сообщение. Генриха Мюзаму больше нет. Когда после многих месяцев стойкого выживания он заболел редкой болезнью, – врачи диагностировали у него спинальный полиомиелит – его отправили в Освенцим. Терезин – образцовый лагерь. Инвалидов, бесполезных едоков, там нельзя держать. В Освенциме его бросили в газовую печь. Генрих Мюзам. Мой лучший друг. Почему я не целовала тебя чаще? Он умер! Парализованный. Умер мужественно, как солдат.

Примечание переводчика

Генрих Мюзам, дальний родственник Эриха Мюзаму, родился в 1900г. Получил юридическое образование. Работал журналистом, а после редактором отдела искусства, литературы и науки в издательстве Ульштайнов. В июле 1942г был депортирован из Берлина в Терезин. а в октябре 1944г из Терезина в Освенцим, где вскоре погиб в газовой камере. Всю свою короткую жизнь он безответно любил Рут Андреас – Фридрих, автора приведенного выше дневника.



Новые переводы

Новые переводы

[260]

ДипП16 / 2012

Леонид Бердичевский

С польского

Владислав Шленгель

ЕВРЕЙСКОЕ ОКНО

Наше низкое еврейское окно,
в парк Красинского проклянуто оно,
.
где промокли все деревья под дождём,
утром, в сумерки лиловые и днём.

Я – еврей, и в этом вся моя вина,
в парк не смею посмотреть я из окна.

Если вдруг нарушу я запрет,
не видеть мне больше в жизни белый свет.

Нам внушают, что мы черви и кроты,
мир должны воспринимать из темноты.

Исполнять должны мы подневольный труд,
а иначе в порошок нас всех сотрут.

Всё иное навсегда запрещено,
но особо: не выглядывать в окно...

Но когда на день опустит шторы ночь,
страх пытаюсь на мгновение превозмочь,

чтоб припасть к окну, увидеть силуэт,
угасающей Варшавы мрачный цвет,

запах города родного бы вдохнуть
прежде, чем уйти в последний путь,

башню Ратуши, знакомые дома,
разглядеть не помешает даже тьма,

театральной площади квадрат,
входа главного закопченный фасад.

Позволяет всё увидеть из окна
верный друг, – всегда лукавая луна.

Остриём своим мне в сердце ночь впилась,
но свой взгляд не отведу я, не страшась.

В городской пейзаж гляжу, в тревожный мрак,
забывая, что хозяйничает враг.

Впечатлений много, хватит на потом,
я прощаюсь, будто закрываю дом.

Засыпая, я безудержно шепчу:
«Отзовись, Варшава, я помочь хочу!»

Вот, по городу роялей слышен звук,
и гремят аплодисменты тысяч рук.

Позабыв о страшном горе и тоске,
как довесок неожиданный в пайке,

будто хочет он унынье растолочь,
«Полонез» Шопена разрезает ночь,

клавикордов звуки чётки и ясны,
чтоб воспрянуть от зловещей тишины.

Понимаю: это Бог послал с небес
этот, всем необходимый, «Полонез»

Как давно поведал нам один мудрец,
даже радости присущ всегда конец.

Да, окончен этой ночи яркий всплеск,
и в рояли возвратился «Полонез».

Хоть душа моя вконец воспалена,
отхожу я от еврейского окна.

СТАНЦИЯ ТРЕБЛИНКА

По маршруту Тлуш-Варшава
от вокзала Ост,
едешь прямо и направо,
объезжаешь мост.

Шесть часов всего в дороге
тащат поезда.
Путь простой, но очень строгий –
к смерти – вот, беда.

Станция едва заметна,
ёлки три растут.
И название конкретно,
Треблинкой зовут.

Нету кассы и багажных
мест в помине нет.
За миллион не купишь даже
ты назад билет

И родные не встречают
на платформе той.
Тишина висит над краем
мрачной пустотой.

Ёлки скукою объаты.
Станционный столб
молчалив. Витиевата
надпись, словно долг:

Испражненьем кровавым наполнены лужи,
этим цветом пестрят полевые дороги.
Животы лошадей разорвались, и стужа
подняла лошадиные тощие ноги.

Задохнулось при ветре холодном их ржанье.
У восточных ворот всё утихло, и скоро
блѣклый глянец возник при зелёном мерцанье,
тонкой лентой, как призрак, исчезла Аврора.

Нора Гайдукова

С немецкого

Роза Ауслендер

ИДЕТ ДОЖДЬ

Осенью
дома
безродны.

В каком-то
из них ты блуждаешь.

Со стенами
говоришь о Весне.

Окно
натянулось
на радугу.

Приходят чужие.
они ищут квартиру.
их влажные шаги
отдаются в твоём
пульсе

ты говоришь со стеной
о чужой
Весне.

Идет дождь.

Эрих Кестнер

ЭКЗЕМПЛЯР ОСЕННЕЙ НОЧИ

Ночью улицы так пустынно.
Только где-то вдали
Промелькнула машина,
Пёстрые осенние листья
Гоняются друг за другом.

Листья спешат и вертятся,
Хотя ветра и нету.
Как лоскутки сплетутся,
Следуя тайным законам,
Хотя уже мертвые вроде.

Ночью улицы так пустынно.
Лампы уже не сияют.
Но что-то там происходит,
Чему не хочется помешать.
Можно было бы слушать рост травы,
Если б трава прорастала на улицы.

Небо так холодно и далеко.
На молочно-белую улицу упал снег.
Слышны свои собственные шаги,
Как будто шаги другого.
Ты идёшь, а как будто вас двое.

Ночью улицы так пустынно.
Люди уже улеглись.
Они спят спокойно и крепко.
Но завтра они здесь будут
Снова встречаться друг с другом

Елена Зельгер

С немецкого

Райнер Мариа Рильке

ОСЕННИЙ ДЕНЬ

Пора! Довольно летних снов,
довольно света!
Исчезни, стрелка солнечных часов.
Эй, вейся ветер по коридорам лета!

Всевышний! Прикажи дозреть плодам.
Дай пару дней, наполненных весельем,
Медовой сладостью и винным новосельем.
Всевышний! Уготовь покой и нам.

Кто не достроил – не достроит дом.
Кто одинок – пребудет так до срока,
Холодным вечером под лампой одноокой,
За письмами скучая перед сном,
Уединения пронзённый током.

Станислав Львович

С немецкого

Иоганн Вольфганг Гёте

«ЕЖЕДНЕВНИК (Das TAGEBUCH)

Окончание. Начало в альманахе

«До и После» № 15

XVIII

О, свадебных ночей обильные постели,
Подушки, что раскинулись широко,
Ковры любовных ласк и суеты веселий,
И покрывало с крыльями из шёлка!
А птички в клетке дружно свистели,
Не пробуждая рано нас без толку!
Вы, знали нас, и нас же защищали,
Содействуя в любви, меня не утомляли.

XIX

И в счастье этом часто мы зверели,
В святых правах семейных всё блудили,
На нивах спелых, в чаще камыша ли
Везде, где дерзости друг другу разрешали
В мгновенье ока, мы ни капли не устали
И бравого холопа службу повторяли!
Раб гнусный! Пробудись во сне лежащий!
И счастье возврати – мошенник вящий!

Но Господин свои имеет заморочки –
Уж не приказывать, а только презирать...
Однажды там, в тиши глубокой ночи,
Вознёсся он, великолепьем покорять.
Вот путник встал, желаньем полон очень,
Не жажда – лишь ночь бы скоротать.
Он наклонился ниже – спящую поцеловать,
Стоит, раздрай свой продолжая ощущать.

XXI

Кто в силах, сможет оживить
Те образы, где каждый дорогой,
Чтоб с юным пылом в яви возродить?
Их чистый улаждающий огонь...
Но поначалу муки пережить,
Хоть ныне силой не обижен никакой;
Преодолев все страхи, тихо, и не вдруг,
Перешагнул запретный милый круг.

XXII

Сидит и пишет он: «К заветным близок я вратам
Но так нужна была отсрочка – хоть часок...
Я был в отменном месте, там
Я заново тебе сердечный дал зарок...
В конце придёт пора таинственным словам:
БОЛЕЗНЬ – ХРАНИТ ЗДОРОВЬЕ НАШЕ ВПРОК.
Книжонка данная должна вам показать
Всё лучшее, о чём старался я смолчать».

XXIII

Вот петушок пропел... В мгновение девица,
Покров отбросив – в свой корсаж стремится.
И, видимо, неловкость ощутив,
С опаской, глазки долу опустив,
Из глаз его такую навсегда исчезла,
Но зримы в памяти красоты чудо-тела.

Рожок почтовый... Он в карету устремился
И к более любимой покатился...

XXIV

А так как от поэтов ждут
Морали и высоких поучений,
То я хочу – надеюсь, что поймут –
Излить поток душевных песнопений:
«Идёшь по жизни – камни там и тут,
Но переносим эти столкновенья.
Два рычага вращают землю вновь –
Обязанность и вечная Любовь!»

Генриетта Ляховицкая

С польского

Антоний Слонимский

ЭЛЕГИЯ МЕСТЕЧЕК ЕВРЕЙСКИХ

Нет уже, нет больше в Польше еврейских местечек.
В Хрубешёве, Карчёве, Бродáх, Фаленицах
Тщетно ищешь ты в окнах зажжённые свечи,
Не услышишь напевов у дощатой божницы.

А пожитки евреев на помойках спалили,
Кровь с песком, все следы были убраны сразу,
И извёсткой с подсинькой чисто стены белили,
Как на праздник большой или после заразы.

За местечком былым, тёмной ночью белея,
Одинока луна над дорогой, нагая.
Мне по крови родня – поэтичны евреи,
Но им здесь не найти двух золотых лун Шагала.

Луны те над другой обитают планетой –
Улетели в испуге пред молчаньем понурим.
Нет уже тех местечек, где портной был поэтом,
Часовщик был философ, брадобрей – трубадуром.

Нет местечек, где звуки святых песнопений
С польской песней сливались так неразделимо,
Где евреи седые под садовою сенью
Горевали по стенам Иерусалима.

Нет уже тех местечек, промелькнули как тени.

Перевод «Элегии», как и переводы других стихов польских поэтов, опубликованные в нескольких альманахах «До и после», возник благодаря Марку Шейнбауму, для которого польский язык был родным. Марк не ограничивался подстрочниками. Прежде всего он неустанно отыскивал близкие ему по духу стихи лучших поэтов Польши. Особое внимание он уделял произведениям, темой которых была Катастрофа польского еврейства. И судьбы самих поэтов волновали его. Так, передавая мне «Элегию» Слонимского, он сопроводил текст и подстрочник сведениями об авторе, взятыми из Википедии, но обещал дополнить их из польских источников... Кончина Марка смяла все планы... Но и год спустя помню, как мы говорили с ним о судьбе этой яркой личности.

Антоний Слонимский /Antoni Słonimski (15.11.1895 – 04.07.1976) родился и умер в Варшаве. Однако для польского еврея совпадение места рождения и смерти никак не может означать спокойную оседлую жизнь, особенно, если штрих между датами пролегает через две мировые войны!

В 1917 поэт окончил Академию изящных искусств в Варшаве. Был одним из создателей литературного кабаре «Пикадор» и организаторов поэтической группы «Скамандр». За первой книгой стихов «Сонеты», 1918, последовали поэтические сборники, фантастические романы, пьесы. В 1939 – 1940 жил в Париже; после капитуляции Франции – в Лондоне, где появились сборники его антифашистских стихов. После войны оставался в эмиграции. До 1948 руководил секцией литературы ЮНЕСКО, затем эмигрантским Институтом польской культуры. В 1951 вернулся в Польшу. В 1954 подверг острой критике учебники по истории литературы; из-за этого на его сочинения был наложен запрет. На волне так называемой Оттепели в 1956 был избран председателем Союза польских писателей, после ликвидации которого в 1959 партийным руководством был инициатором «Письма 34-х» против культурной политики ПОРП, протестовал против антисемитской кампании 1968 года.

В роду Слонимских поэт был далеко не единственным среди разносторонне одарённых интеллектуалов, носителей высокой культуры в разных странах. Его отец – врач – послужил прототипом доктора Шумана в романе Пруса «Кукла». Дед, Хаим-Зелик Слонимский (1810-1904) был в Польше видным еврейским

издателем, литератором (на иврите), популяризатором науки и изобретателем. Кстати, прадед Антония Слонимского – изобретатель вычислительной машины Абрам Штерн. Дядя, Иосиф Зеликович Слонимский (1860, Варшава – 1933, Париж) – еврейский филолог и педагог, автор ряда учебников на идиш по изучению иностранных языков. Антоний Слонимский – троюродный брат американского музыковеда, лексикографа, композитора, дирижёра и пианиста Николаса Слонимского (1894, Петербург – 1995, Лос-Анджелес) и советских писателей и литературоведов Слонимских: Александра Леонидовича (1881, Петербург – 1964, Москва) и Михаила Леонидовича (1897, Петербург -1972, Москва) – одного из видных участников петроградской литературной группы «Серационовы братья».

Валерий Матэ́тский

С немецкого

*Райнер Мариа Рильке***ОСЕННИЙ ДЕНЬ**

Пора, о Боже! Лето велико.
Накрой же тенью солнечные блики,
пусть ветры здесь безумствуют легко.

Наполни амброй поздние плоды;
ещё два дня благоуханья юга;
пусть чаша переполнится у друга
вином блаженства с запахом мечты.

Кто без гнезда, тот обречён один
бег жизни измерять до приговора
судьбой за руку пойманного вора,
терзающего авторучкой сплин,
в осенне-обнищавших коридорах.

ОСЕНЬ

И падают, падают безднами листья,
увядших за тучами вышних садов;
и так негативен падения зов,

Земли тяжелой в полночный покров,
где звёзд одиночества множатся кисти.

Мы падаем все, как титана рука.
И так обречённо повсюду паденье.

Но есть тот – один, кто конечность движенья
Так нежно куёт в бесконечных веках.

[275]

ДнП16 / 2012

Новые переводы

Феликс Фельдман

С немецкого

Райнер Мариа Рильке

БАРС

Потухший взгляд от частокола клетки,
и чудится, что прутьям нет конца,
и что за частоколом только плети,
и нет за клетью мира и Творца.
Могучий ритм пружинистого шага,
как танец смерти в замкнутом кругу.
Зажата воля, скована отвага
и дух свободы омертвел в мозгу.
Лишь иногда беззвучно сквозь ресницы,
к зрачкам прорвется, в напряженьи мук,
мир подневолья в образе темницы
и в сердце сгинет, как угасший звук.

Андреа Мозер

БЕЛЬМО

Я сам себе свое бельмо.
Не я здесь. Лишь оно само.
Я остаюсь, себе незрим –
меня здесь нет, – один лишь грим.
Меня лишь можно созерцать,

а кто захочет, и понять.
Не все узреть – покрыто мглой,
доступен только верхний слой.
Я на себя смотрю в трюмо,
гляжу не я, – глядит бельмо.
Бросаю на других я взгляд,
в итоге, – тот же результат.

КОЛЛАПС

Коллапса глубинные токи
не там, где бурлит круговерть.
В рутинность процессов истоки
охотно нам хочется верить.
Мы круг получаем в верченьи,
в бурлящий вступаая поток.
Коллапс наступает в забвеньи,
что хаос – коллапса исток.
Лишь только в движеньи возможно
извлечь из былого урок.
С уроком придет непреложно
коллапса очерченный срок.
Себя понимать в одночасье
из прошлых времен наперёд –
зовет человечество счастьем,
которое всех нас ведёт.

Давид Яновский

С немецкого

Хайнц Калау

ОПЫТ

Кружится голова,
огонь сжигает тело,
и сердце никогда
так сильно
не болело.

Будь счастлива!
Прощай!
Не встретимся мы вновь,
зато узнал я,
что способен на любовь.

Теодор Шторм

* * *

Хоть слово скорби с губ твоих
И не слетит, наверняка,
Но то, о чём молчат уста,
Расскажет бледная рука.

С руки я не спускаю глаз.
Её терзает боли жало,
Ведь в ночь бессонную она
На сердце раненом лежала.

Теодор Фонтане

БАРБАРА АЛЛЕН

[279]

Осень, прекрасная осень была,
Жёлтые листья опали.
Тяжко Джон Грехем в те дни заболел:
Влюбился в Барбару Аллен.

Вскоре гонцы отыскали её
И сказали ей у порога:
«Болен тобою наш господин,
Спаси его, ради Бога!»

В замок Грехема леди вошла,
Прошла по паркету зала,
Возле постели она замерла,
«Джон Грехем, я здесь!» - сказала.

«Я звал тебя. Осень в моей душе.
Жёлтые листья опали.
Что на прощанье скажешь ты мне?
Я при смерти, Барбара Аллен».

«Джон Грехем, я вот что тебе скажу:
Я любила, а ты меня предал.
Ты деньги и земли всем раздавал,
А мне ничего ты не дал.

Джон Грехем, хоть ты меня полюбил,
Я больше тебя любила,
Но надо мною смеялся ты
И этого я не забыла.

Местами теперь поменялись мы
На уступах любви каскада.
Раньше была я, увы, внизу,
А теперь наверху, и рада».

Она ушла. На обратном пути
Колокола зазвучали.

Она сказала: «Звонят по нему,
По нему и Барбаре Аллен.

Мама, ты мне приготовь постель
В земле, под ивой в саду.
Сегодня Джон Грехем из жизни ушёл,
А завтра за ним я уйду».

Автор неизвестен

УШЕДШИЕ

Они ушли, все эти люди.
Их нет. Их никогда не будет.
И мы не в силах объяснить
Ни жизнь, ни смерть, и только нить
Догадок и видений вьётся.
Она поэзией зовётся.



**Марк
Шейнбаум**

(03.07 1928 – 30.07.2011)

Говорить о Марке Шейнбауме как об умершем невозможно.

Он много лет тяжело болел, однако, жалоб от него никто не слышал. На вопрос о здоровье отвечал: «Могло бы быть и лучше».

Несмотря ни на что, ежедневно работал, приковав себя к компьютеру прочнее, чем к кислородному аппарату, без которого не мог дышать.

Он родился в Галиции, с детства владел языками идиш и польским, на всю жизнь сохранив страсть к истории и культуре восточно- европейского еврейства. Отсюда рождались его рассказы, переводы, мемуары, которые пользовались успехом в Германии, Израиле, на Украине и других странах.

Он был постоянным автором альманаха «До и после». В предисловии к его книге «Не наступите на Монтеня» есть такие слова: «Его перо основательно и точно, как скальпель. Он словно чувствует, что не имеет права на ошибку. В его работах присутствует цвет доброты». Его регулярные публикации и переводы с нетерпением ожидали читатели «Еврейской газеты». В альманахе «Иерусалимский библиофил» помещены его статьи о евреях-букинистах г. Львова

и об издательском доме Ульштайнов. Словом, о нём можно писать много. Уцелев в годы войны, он стал прекрасным детским хирургом г.Ровно, спас жизнь сотням детей. На его похоронах выступали его почитатели и ученики, объединённые силой, благородством и обаянием его личности.

Память о нём не угаснет в сердцах тех, кто знал и ценил его.

Клуб литературы и искусства

*Редколлегия нашего Альманаха предлагает
вниманию читателей последнее стихотворение
покойного Марка Шейнбаума.*

ПАМЯТЬ

О, память моя! Как ты много вместила, –
что праведным было, и грешным что было.

Что в праздник и в будни со мною случалось,
что в юности было, о чём лишь мечталось.

Весной не спалось: будоражила зрелость, –
всё видеть на свете уж очень хотелось.

Бродить по Парижу, и плыть в Гибралтаре,
по звёздам гадать мне, с красоткою в паре.

Но дни уносились, ныряя в недели,
и годы безжалостно в пропасть летели.

Морщины лицо постепенно покрыли,
и юность мою все мечты позабыли.

О том, что случалось, о том, что мечталось,
хотелось бы мне, чтобы что-то осталось.

А что в моей памяти свято хранится,
хочу возратить я. хотя бы крупницей.

Улыбку бы мамы, приветствие друга,
и лепет дочурок во время досуга.

Июль 2011 года

ОГЛАВЛЕНИЕ

Востребовано временем	4
Zeitgemäß angefordert	6

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Марина Авербух	10
Борис Альтшулер	20
Людмила Белоусова	30
Леонид Бердичевский	42
Михаил Верник	51
Нора Гайдукова	58
Марлен Глинкин	61
Виктория Жукова	78
Елена Зельгер	93
Константин Кербель	98
Игорь Коган	107
Генриетта Ляховицкая	116
Станислав Львович	120
Валерий Матэтский	128
Вениамин Палагашвили	134
Анжелла Подольская	139
Сергей Пышный	160
Надежда Райниг	164
Татьяна Устинская	179
Феликс Фельдман	183
Галина Фирсова	189
Бронислава Фурманова	198
Михаил Эненштейн	200
Давид Яновский	207

**ПУБЛИЦИСТИКА.
МЕМУАРЫ. ЭССЕ**

Карл Абрагам	212
Леонид Бердичевский	226
Регина Лихтман	233
Ася Вайсберг-Процко	250

Людмила Тайц	252
Давид Яновский	254

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Леонид Бердичевский	260
Нора Гайдукова	265
Елена Зельгер	267
Станислав Львович	268
Генриетта Ляховицкая	271
Валерий Матэтский	274
Феликс Фельдман	276
Давид Яновский	278

IN MEMORIUM

Памяти Марка Шейнбаума	281
------------------------	-----

